

Неугасимая лампада — Ширяев Б.Н.

"Неугасимая лампада" — вершинное творение Бориса Ширяева. Книга впервые издана в Нью-Йорке в 1954 году. Не лагерные ужасы описывает в ней соловецкий узник, не зверства начальников над заключенными — это все отодвинуто на второй план и как бы приглушено, на переднем же проявляются утешение и спасительные "жемчужины духа", не дающие человеку потерять дарованный ему Господом облик. *Роман*

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. В СПЛЕТЕНИИ ВЕКОВ.

Глава 1. СВЯТЫЕ УШКУЙНИКИ

Глава 2. ПЕРВАЯ КРОВЬ

Глава 3. СОЛОВКИ В 1923 ГОДУ

Глава 4. БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА.

Глава 5. И МЫ - ЛЮДИ

Глава 6. ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН

Глава 7. ЗАРНИЦЫ С ЗАПАДА

Глава 8. "ХЛАМ"

Глава 9. "СВОИ"

Глава 10. ПОД ОХРАНУ ДЬЯВОЛА

Глава 11. ПТИЦА-ГАГА И КРЫСА-АНДАТРА

Глава 12. "НОВЫЕ СОЛОВКИ" И "СОЛОВЕЦКИЕ ОСТРОВА"

Глава 13. КАК ЭТО НАЧАЛОСЬ

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ЛЕТОПИСЬ МУЖИЦКОГО ЦАРСТВА.

Глава 14. ФРОЛКА ГУНЯВЫЙ

Глава 15. ХЛЕБУШКО "В ПОТЕ ЛИЦА"

Глава 16. ЦАРЬ ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ

Глава 17. ИГОЛКА - СТО РУБЛЕВ!

Глава 18. ВСЕ В ВОЛЕ ГОСПОДНЕЙ

Глава 19. УМЕРЛИ, КАК ЖИЛИ

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. СИХ ДНЕЙ ПРАВЕДНИКИ.

Глава 20. ПРЕДДВЕРИЕ

Глава 21. ПРИХОД ОТЦА НИКОДИМА

Глава 22. “УТЕШИТЕЛЬНЫЙ ПОП”

Глава 23. ВАСИЛЕК – СВЯТАЯ ДУША

Глава 24. ФРЕЙЛИНА ТРЕХ ИМПЕРАТРИЦ

Глава 25. ДУШУ ЗА ДРУГИ ПОЛОЖИВШИЙ

Глава 26. МУЖИЦКИЙ ХРИСТОС

Глава 27. СКАЗЫ КАМНЕЙ

ЧАСТЬ ПЯТАЯ. НА ТРОПЕ К КИТЕЖУ.

Глава 28. САМОЕ СТРАШНОЕ

Глава 29. СХИМНИК УМЕР

Глава 30. ЛАМПАДА ТЕПЛИТСЯ

Глава 31. ПАВШИЙ НА КЕРЖЕНЦЕ

Глава 32. ЗВОН КИТЕЖА

Глава 33. СЕДЬМОЙ АНГЕЛ

Посвящаю светлой памяти художника Михаила Васильевича Нестерова, сказавшего мне в день получения приговора: «Не бойтесь Соловков. Там Христос близко».

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. В СПЛЕТЕНИИ ВЕКОВ.

Глава 1.

СВЯТЫЕ УШКУЙНИКИ

Над гребными колесами привезшего нас на Соловки парохода алела полукругами ясно заметная издалека надпись “Глеб Бокий”; но плоха ли была краска или маляру нехватило олифы, – присмотревшись, вблизи можно было прочесть другую, скрытую под ней, крепко, глубоко всосавшуюся в оструганные еще на монастырской верфи доски – “Святой Савватий”. Есть годы, скручивающие тугим, неразрывным узлом столкнувшиеся во времени века, сплетающие в причудливый до невероятия узор прошлое с будущим, уходящее с наступающим. В них то сходятся,

то расходятся, обрываются и снова возникают нити человеческих жизней, разворачивается ткань сомкнутых поколений, но, лишь отойдя на грань положенного срока, можно разобраться в загадочных извивах их узоров. Такими я вижу теперь Соловки первой половины двадцатых годов, последний монастырь – первый концлагерь, в котором прошлое еще не успело уйти и раствориться во времени, а предстоящее слепо, но упорно прощупывало, пробивало свой путь в жизнь, в бытие. Соловки – дивный остров молитвенного созерцания, слияния духа временного, человеческого с Духом вечным, Господним. Темная опушка пятисотлетних елей наползает на бледную голубизну студеного моря. Между ними лишь тонкая белая лента едва заметного прибоя. Тишь. Покой. Штормы редки на Полуночном море. Тишина царит и в глуби зеленых дебрей, где лишь строгие черницы-ели перешептываются с трепетно-нежными – таких нежных нигде, кроме Соловков, нет – невестами-березками. Шелковистые мхи и густые папоротники кутают их застуженные долгой зимой корни. А грибов-то, грибов! Каких только нет! Кряжистые, похрустывающие грузди, подосинники – щеголи красноголовые, боровики – купцы московские, тугие – не уколупнешь, робкие белянки, укрывшиеся под палой, пахнущей сладимой прелью листвой, стыдливые, как невесты на выданье, а к осени – ватаги резвых, озорных опенок лезут, толкаясь, на пни и валежник... Остров невелик, длиной 22 версты, шириной 12, а озер на нем 365, – сколько дней в году. Чистые, ясные, студеные, битком набиты они стаями шустрых, игорливых ершей. Донья – каменистые; круглые, обточенные веками булыжники пригнаны плотно друг к другу, словно на московской мостовой. В полдень видно всё, что творится на дне, каждый камешек, каждую рыбешку... Дебря Соловецкая мирная. Святитель Зосима вечный пост на нее наложил: убоины всем тварям лесным не вкушать, а волкам, что не могут без горячей крови живыми быть, путь с острова указал по своему новгородскому обычаю. Волки послушались слова святителя, поседали весной на пловучие льдины и уплыли к дальнему Кемскому берегу. Выли, прощаясь с родным привольем. Но заклятия на них святитель не наложил. – И вы, волки, твари Божие, во грехе рожденные, во грехе живущие. Идите туда, на греховную матерую землю, там живите, а здесь – место свято! Его покиньте! С тех пор лишь робкие, кроткие олени да пугливые беляки-зайцы живут на святом острове, где за четыре века не было пролито ни капли не только человеческой, но и скотской горячей крови. Множество древних сказов записано узорной вязью древнего полуустава на пожелтелых листах соловецких летописей, разметанных налетевшей на Святой остров непогодью и снова собранных по темным подклетьям пришедшими в монастырь новыми трудниками. Множество чудесных былей рассказывали и чернецы, оставшиеся на Соловках по skonчании монастыря. Много, уже забытое на Руси, они еще помнили. Недаром чутко слушавший народную молвь поэт писал: Господу Богу помолимся, Древнюю быль возвестим. Так в Соловках нам рассказывал Инок честной Питирим... Теперь иноки эти – рыбаки на службе у лагерного управления, а отец Софроний даже советский чин имеет: начальник рыбоконсервного завода. Один лишь он знает стародавнюю тайну засола редкостной соловецкой сельди. Другой такой в мире нет: жирная, нежная, во рту тает, не уступит ни белорыбице, ни осетровой тешке. В древние времена обоз такой сельди по первопутку из Кеми в Москву уходил – к самому царю. Жаловал Тишайший монастырскую рыбицу и вкушал ее на Филипповки, а к Великому посту она уже вкус свой теряла, черствела. Об этих обозах в “кладовых листах” не раз писано, а в “рухольных” – ответные царские дары мечены: златотканые ризы парчевые, золотые панагии и чаши, убранные самоцветами, заморского венецейского мастерства, шелковые платы, покровы и плащаницы, вышитые нежными перстами дочерей царских, Московских великих княжен. Кое-что из этого и теперь осталось, стоит за стеклом в бывших палатах архимандрита – теперь антирелигиозном музее. Там же и раки с мощами святителей Зосима и Германа. Открыты у них лишь главы да персты нетленные, а Савватий закрыт – нетленен весь. Соловецкие монахи – особенные. Других таких по всей Руси не было: не в молитве, а в труде спасались. Обычай этот древний, от самих святителей повелся, когда они первый храм Господен на Соловках воздвигали из валунов и палого бурелома. Храм тот был во славу святого Преображения Господня учрежден и стоял он на том самом месте, где теперь Преображенского собора алтарь. Только намного он теснее алтаря был. Более двенадцати чернецов в себя не вмещал. Так в истинных древнего писания Житиях сказано. Ладья же, на которой святители на остров прибыли, в ту же ночь волею Господней сама назад к матерому берегу уплыла и там на причал стала. Таково было дано знамение: святителям на острове оставаться и далее на Полночь не идти, новым же трудникам во имя Господне с Руси на той ладье прибывать и трудом души свои оберегать от бесовского мирского искушения и напастей. Иеромонах Никон, что монастырским гончарным заводом раньше управлял, рассказывал, как он с подначальными трудниками и к службе Божией только раз в году поспевал, на Светлое Христово Воскресение. Тропарь же, ирмосы и псалмы пели каждодневно, глинку замешивая и печь растопляя. – Телесное тружение – Господу служение, обители – слава и украшение, бесам же блудным – поношение, – поучали богомольцев чернецы и сами пример показывали. От монахов и богомольцы тот обычай переняли: придет человек помолиться, отстоит молебен у мощей святителей-тружеников, да и останется на год сам потрудиться во славу Угодников Божиих. По обету многие трудились год, два и три, покаяния усердного и просветления духа ради. Ими, трудниками Земли Русской, возведены и неодолимая волной Муксомомская дамба – стена на море, и нерушимые стены Соловецкого кремля, мало чем Московскому уступающие: длиною округ верста три четверти, толщею же превыше московских. Сложены они из непомерных валунов по указу благочестивого государя Феодора Иоанновича, радением Бориса Годунова, Правителя Царства, ближнего боярина и царского шурина. Петр-император, посетивший Соловки, тоже здесь потрудился: выточил на голландском станке и сам вызолотил резную сень над архимандритовым местом в Преображенском соборе. Висит теперь и она в том же музее. Обычай сильнее времен. Он нижен на себя годы, как нить – скатные бурмицкие зерна. Сменились века, рухнуло Московское царство, нет более и благоверных его царей, а идут к Святому острову трудники со всей Земли Русской, и нет им конца-краю. Тугим узлом закручены

бездременные годы, и в невиданном разноцветии сплелись в нем пестрые нити людских жизней. Когда последний Соловецкий архимандрит уводил чернецов в Валаам в 1920 году, иные из них по древности лет или по усердию остались в обители и с ними – схимник-молчальник, в глухой дебре, в затворе спасавшийся. Проведала о том новая власть и раз, в весеннюю пору, подкатил на коне к схимниковой печуре-землянке сам начальник новый Ногтев со товарищи. Пил он сильно и тут хмельной был, сбил затвор и в печуру... бутылку водки в руке держит. – Выпей со мной, распросвятой отец опиум! Попостился – пора и разговеться! Теперь, брат, свобода! Господа Бога твоего отменили декретом... – стакан наливает, старцу дает и матерится по-доброму. Встал старец от своей лампы и молча земной поклон Ногтеву положил, как покойнику, а поднявшись, на открытый свой гроб указал: “помни, мол, там будешь”. Переменился Ногтев в лице, бутылку за дверь кинул, сел на коня и ускакал. Пил потом месяц без перестану, старцу же приказал паек выдавать и службу к нему из монахов назначил. Сплелись две нити из двух веков и вновь разошлись по своим путям, указанным свыше. А немое речение старца сбылось: году не прошло, как нагрянула из Москвы комиссия, дознались, что Ногтев серебряных литых херувимов с иконостаса спекулянтам продал, и расстреляли его, раба Божьего. Провидел смерть его старец. Дано ему было то, как святителю Зосиме, узревшему обезглавленными новгородских бояр на пиру у Марфы Борецкой, Посадницы. Древнее житие святителя об этом так повествует: когда обитель уже обширною стала и притекли к ней многие люди со всея Руси, тогда земли Полуночные – Беломорские, Кемские, Пермские, Сорока, Кола и Печора, вплоть до самого Каменного пояса, под рукою Московского царя не были. Господин Великий Новгород ими владел; пенили его дерзкие ушкуи волны широких полуночных рек, собирали его вольные дружинники – ратники и ставленные на вече тиуны дань с темных, диких лесных людей: куны, лису чернобурую, соболя... Таким ратником-землепроходцем и святитель смолodu был, а после, когда воздвиг обитель, пошел он к светлому Ильмень-озеру, чтобы там на вече грамоты на новые земли испросить. С великою честью приняли старца Новгородские бояре. Наслышан был Господин Великий Новгород о славе его подвига. Не только землями монастырь наделили – всем Кемским берегом, Колой и Сорокой, – но поставили и утвердили на вече: архимандриту его все народы тех стран под своею высокою рукою держать, суд им творить и собирать с них дань в обительскую казну. Встречать же того архимандрита в его волости превыше, как князя и посадника, но как владыку митрополита: во все колокола бить и путь ему от моря до палат алым сукном стлать. В те годы всем Новгородом, пятами его и концами посадница Марфа Борецкая правила и, провожая старца в далекий обратный путь, созвала она на пир всех бояр. На пиру том отверзлись очи святителя и узрел он грядущее; видит: сидят за столом бояре – все без голов... Так и сбылось. Посек гордые головы грозный Московский царь, попалил огнем Новгородское торжище и подворья, но жалованную обители честь, земли, ловы и соляные варницы утвердил большою печатью Московского царства. Закопали Ногтева в бору, на том самом месте, где в стародавние времена воевода Мещеринов схоронил мятежных иноков соловецких, петлю им удавленных. Тоже давно это было; в царствование Тишайшего, по приказу Никона-патриарха. Монастырь тогда новопечатных книг не принял. Мало того: старцы обители соборно обличительное послание патриарху написали. Суров и непреклонен был Никон. Самому царю властью своею патриаршей указывал он путь. Тверд был и архимандрит-игумен: слово свое супротив патриаршего поставил, ересиархом нарек Никона и грамоты о том по всем северным обителям разослал. Никон стрельцов от царя истребовал, отдал их под начал своего патриаршего боярина Мещеринова и двинул ратную силу на Святую обитель. Не устранился ее игумен, затворил окованные железом ворота перед патриаршим воеводой и выкатил пушки на кремлевские стены. Снова воспрянула супротив Москвы вольности Новгородской гордыня, и многие годы стоял под стенами Соловецкого кремля воевода Московского патриарха, “собинного” друга царя... Землянки, в которых жили патриаршие стрельцы, видны и теперь за монастырским кладбищем, на самой опушке бора. От них лишь ямки остались. Устояла бы и дале твердыня древнего благочестия, но не судил того Господь. Некий чернец, имя его в Житиях не указано, переметнулся к Мещеринову и указал ему тайный ход, под стеною кремля к озеру Святому прорытый. По тому ходу в кремль вода под землю шла. Темною ночью, потаенно вошли тем ходом в обитель патриаршие стрельцы, схватили архимандрита в его келье и, часу не теряя, на то же утро увезли в железах к патриарху. Крови однако пролить на Святом острове и Мещеринов не посмел: петлю наиболее упорных старцев передумал. Иноки, оставленные в живых, истинный честной крест на могиле умученных поставили, и горели небесным огнем невидимые свечи округ того креста в ночь на Светлое Христово Воскресение. Засветится ли такая свеча на могиле Ногтева – неведомо. Соловецкая обитель зачалась в буйные времена новгородских ушкуников. Сбивали они свои струги на Ильмень-озере и шли на них, кто – на полночь, к Студеному морю-океану, кто – на восход, к дикой гряде Каменного пояса; то сами в ладьях плыли, то их на себе волокли; просекали неизведанные дебри и пустыни; брали под руку Господина Великого Новгорода весь, мерю, чухлому и других сумрачных, скуластых лесных людей, рубили городцы из нетесанных смолистых бревен и шли, шли, шли... Но была тогда и иная ушка. Она рождалась не под набатным гулом вечерового колокола, но под сладостными напевными звонами Софии Премудрости Божией. Не на поиск новых земель, не за прибыльной рухлядью, рыбьим зубом и пушистыми мехами зверя полуночных дебрей слал ее этот звон, но за тем, что во стократ дороже, за тем, чего не купить было на шумном торжище Новгородском, за познанием света Премудрости Божией, сокрытого в безмолвии пустыни. Шли, искали и находили... Такими ушкунниками были и соловецкие первосвятители Герман, Зосима и Савватий, приплывшие по Полуночному морю на безмолвный дотол остров. Первым словом человеческим, сказанным на берегах его, было: – Хвалите имя Господне ныне и присно и во веки веков. Аминь! – повествуют древние рукописные Жития, уцелевшие от сокровищ книжной палаты Соловецкого архимандрита. Упал вечевой колокол, сорванный грозной рукой Московского царя. Он – временный, земной, человеческий. Но пели свою горную песнь звонницы Святой Софии. Они – вечные, Божеские. Им отзывались из ясной озерной глубины незримые

колокола Преображенного града Китежа, им вторили деревянные била первого храма Соловецкого, сложенного из валунов и нетесанного буреломом, во имя светлого Преображения. Алчущая и жаждущая преображения Духа своего Святая Русь пела хвалу Создавшему горы и дебри, моря и океаны, Сотворившему человека по образу и подобию Своему Светлого Преображения Духа искали на Соловках святые ушкуйники. Потому и главный собор был воздвигнут там во имя Преображения Господня. В 1922 году Преображенский собор сгорел. Его сожгли первые большевистские хозяева острова, чтобы скрыть расхищение ценностей, украшавших его древний пятиярусный иконостас и оставленных в ризнице ушедшей на Валаам братией. В те годы зарево великого пожара стояло над всей Русью. Новые хозяева жгли украшавшие ее сокровища Духа. Сотворенное человеком – видимое – сгорало. Сотворенное Богом – невидимое – жило. Оно – вечно. Четыре века со всей Руси притекали трудники к стенам Соловецкой обители. Земные, отягченные злобой, грехом, изъязвленные, смрадные, покрытые гноем и струпьями в душах своих, сбрасывали они тяготу своих грехов, бремя земной юдоли у гробниц Святителей Соловецких, омывались покаянными слезами, и многие, в жажде светлого преображения трудились во имя Божие, кто год, кто три, кто пять. Иные оставались тут навек и погребены на острове. Века сплетаются. Оборвалась золотая пряжа Державы Российской, Святой. Руси – вплелось омоченное в ее крови суровье РСФСР, а в них обоих в тугом узле – тонкие нити жизней новых соловецких трудников, согнанных метелью безвременных лет к обугленным стенам собора Святого Преображения. О них – эта запись безвременных лет.

Глава 2.

ПЕРВАЯ КРОВЬ

Вот, наконец, они, страшные Соловки, расскажем об ужасах которых мы жадно внимали в долгие, тягучие часы бытырской бессонницы. Вот они, проникновенные, молитвенные Соловки, о которых повествовала тихоструйная молвь странников, молитвенников и во Христе убогих Земли Русской. Святой остров Зосимы и Савватия, монастырь с созерцателями-монахами, нежным маревом бледных берез и тысячами трудников покаянных, притекавших сюда со всех концов Святой Руси... И теперь... тянутся сюда новые трудники и тоже со всех концов Руси, но уже не Святой, а поправшей, разметающей по буйным ветрам свою святую душу, Руси советской, низвергнувшей крест и звезде поклонившейся. Тяжелый девятидневный путь, от Москвы до Кемпи, в специальном арестантском вагоне – позади. Девять дней в клетке. Клетки – в три яруса по всей длине вагона; в каждой клетке – три человека, в коридор – решетчатая дверь на замке, там шагает взад и вперед часовой. В клетках можно было только лежать. Пища – селедка и три кружки воды в день. Ночью кого-то вынесли из вагона; потом узнали: мертвеца, чахоточного, взятого из тюремной больницы. Подходим к острову. “Глеб Бокий” дал уже три сигнальных свистка. На носу парохода сотни каторжан сбились в плотный, вонючий, вшивый войлок. Мы еще не успели перезнакомиться, узнать друг друга. Среди втиснутой в трюм и на палубу тысячи лишь изредка мелькают знакомые лица. Вот мои сотоварищи по лежачему “купе” в “особом” вагоне, рядом с ними генерального штаба полковник Д., полурусский, полушвед, выпрямленный, подтянутый и здесь, а около него – ящик, самый обыкновенный деревянный ящик, но из него вверх торчит взлохмаченная голова, а с боков – голые руки. Это шпаненок, ухитрившийся на Кемском пересыльном пункте проиграть с себя все. Блатной закон не знает пощады: проиграл – плати. Не знает пощады и ГПУ: остался голый – мерзни. Ноябрь на Соловках – зима. Руки шпаненка посинели, ноги отбивают мелкую дробь. Рядом со мной французский матрос в невероятно грязном полосатом тельнике и берет с помпоном. Он словоохотлив, и я уже знаю его историю: прельстившись “странною свободой”, он бежал, спрыгнув через борт пришедшего в Одессу французского корабля, и попал... на Соловки. Поеживаясь, поет “Мадлен”, но жизнерадостности не теряет. Ко мне протискивается сидевший в той же, что и я, камере Бутырок корниловец-первопоходник Тельнов, забытый при отступлении больным в Новороссийске. Его лицо непрерывно подергивается судорогой – старая контузия, память о бое под Кореновкой. – Дошли до точки! Дальше что? Что дальше? Глаза всех прикованы к смутным еще очертаниям вырисовывающегося в тумане острова. Порыв ветра приподнимает туманную пелену, и с неба прямо на ставшие ясными стены монастырского кремля падает сноп лучей. Перед нами вырастает дивный город князя Гвидона на фоне темных, еще не заснеженных елей. Золотые маковки малых церквей высются над окружающими их многобашенными стенами, теснятся к обгорелой громаде Преображенского собора. Он обезглавлен... Над усеченным куполом колокольни – шест; на нем – обвисший красный флаг. Красный флаг, свергнувший крест, стал на горнее место над сожженным храмом Преображения. Но кругом еще Русь, древняя, истовая, святая. Она в нерушимой крепости сложенных из непомерных валунов кремлевских стен; она устремляется к небу куполами уцелевших монастырских церквей, она зовет к тайне темнеющей за монастырем дебри. Кажется вот-вот выйдут из пены прибоя тридцать три сказочных богатыря и пойдут дозором по берегу... Но вместо них к пристани приближается отряд вооруженных охранников в серых шинелях и остроконечных шлемах. Соловки, видимо, готовы к приему нас. – Выходи по одному с вещами! Не толпись у сходней! Стройся в две шеренги! Казалось бы, куда и зачем торопиться? У каждого впереди долгие годы на острове. Но привычка берет свое: на сходнях давка, чей-то мешок шлепается в воду, у кого-то выхватили из рук сумку и он истошно орет. Толчея и на берегу. Наконец, построены, хотя, вместо шеренги, причудливо извиваются какие-то зигзаги. Приемка начинается. Перед рядами “пополнения” появляется начальник, вернее владыка острова – товарищ Ногтев. Этому человеку предстояло в течение всего первого года нашего пребывания на Соловках играть особую, исключительную роль в жизни каждого из нас. От него, вернее от изломов его то похмельной, то пьяной психостенической фантазии зависел не только каждый наш шаг, но и сама жизнь. Но тогда, в первые дни по прибытии на остров, мы еще не

знали этого. И он, как и его помощник Васьков, были для нас просто чекистами, одними из многих, в лапах которых мы уже побывали и принуждены были оставаться еще долгие годы. – Здорово, грачи! – приветствует нас начальство. Оно, видимо, в сильном подпитии и настроено иронически-благодушно. Руки Ногтева засунуты в карманы франтовской куртки из тюленьей кожи – высший соловецкий шик; как мы узнали потом. Фуражка надвинута на глаза. Некоторое время он скептически озирает наш сомнительный строй, перекачивается с носков на пятки, потом начинает приветственную речь. – Вот, надо вам знать, что у нас здесь власть не советская (пауза, в рядах – изумление), а соловецкая! (Эта формула теперь широко растеклась по всем концлагерям). То-то! Обо всех законах надо теперь позабыть! У нас – свой закон, – далее дается пояснение этого закона в выражениях мало понятных, но очень нецензурных, не обещающих нам, однако, ничего приятного. – Ну, а теперь, – заканчивает свою речь Ногтев, – которые тут есть порядочные, – выходи! Три шага вперед, марш! В рядах – полное недоумение. Кто же из нас может претендовать на порядочность с точки зрения соловецкого чекиста? Молчим и стоим на месте. – Вот дураки! Непонятно, что ли? Значит, которые не шпана, по мешкам не шастают, ну, там, попы, шпионы, контра и такие-прочие... Выходи! Теперь соловецкий критерий порядочности для нас ясен. Парадоксально, но факт. Вырванные из советской жизни, как враги ее основ, осужденные и заклеенные на материке множеством позорных кличек, здесь, на острове-каторге мы становимся “порядочными”. Но что сулит нам эта “порядочность”? Большая половина прибывших шагает вперед и снова смыкается в две шеренги. На этот раз линия фронта значительно ровнее. Чувствуется, что в строю много привыкших к нему. Ногтев снова критически осматривает нас. Он, видимо, доволен быстрым выполнением команды и находит нужным пошутить. – Эй, опиум, – кричит он седобородому священнику московской дворцовой церкви, – подай бороду вперед, глаза – в небеса, Бога увидишь! Приветствие окончено. Наступает деловая часть – приемка партии. Ногтев вразвалку отходит к концу пристани и исчезает за дверью сторожевой будки, из окна которой тотчас же показывается его голова. Перед нами нач. адм. части Соловецких лагерей особого назначения Васьков, человек-горилла, без лба и шеи, с огромной, давно небритой тяжелой нижней челюстью и отвисшей губой. Эта горилла жирна, жирна, как боров. Красные, лоснящиеся щеки подпирают заплывшие, подслеповатые глаза и свисают на воротник. В руках Васькова списки, по которым он вызывает заключенных, оглядывает их и ставит какие-то пометки. Сначала идет переключка духовенства. Вызванные проходят мимо Васькова, потом мимо выглядывающего из будки Ногтева и сбиваются в кучу за пристанью. Наблюдение за проходом духовенства, видимо, доставляет Ногтеву большое удовольствие. – Какой срок? – спрашивает он седого, как лунь, епископа, с большим трудом ковыляющего против ветра, путаясь в полах рясы. – Десять лет. – Смотри, доживай, не помри досрочно! А то советская власть из рая за бороду вытянет! Подсчет духовенства закончен. Наступает очередь каэров. – Даллер! Генерального штаба полковник Даллер размеренным броском закидывает мешок за плечо и столь же размеренным четким шагом идет к будке Ногтева. Вероятно так же спокойно и вместе с тем сдержанно и уверенно входил он прежде в кабинет военного министра. Он доходит почти до окна и вдруг падает ничком. Мешок откатывается в сторону, серая барашковая папаха, на которой еще видны полосы от споротых галунов, – в другую. Выстрела мы сначала не услышали и поняли происшедшее, лишь увидев карабин в руках Ногтева. Два стоявших за будкой ш паненка, очевидно, заранее подготовленных, подбежали и потащили тело за ноги. Лысая голова Даллера подпрыгивала на замерзших кочках дороги. Труп оттащили за будку, один из шпанят выбежал снова, подобрал мешок, шапку отряхнул о колено и, воровато оглянувшись, сунул в карман. Переключка продолжалась. – Тельнов! Я сидел с ним в одной камере Бутырок и слушал его сбивчивые, несколько путаные, но полные ярких подробностей рассказы о Ледовом походе. Поручик Тельнов не лгал, он не раз видел смерть в глаза. Трудно испугать угрозой смерти того, кто уже проходил страшную грань отрешения от надежды на жизнь. Но теперь он бледнеет и на минуту замирает на месте, устремив глаза на торчащее из окна будки дуло карабина. Потом быстро, размашисто крестится и словно прыгает с разбега в холодную воду. Пригнувшись, втянув голову в плечи, он почти пробегает двадцать шагов, отделяющих строй от будки. Пройдя ее, распрямляется и снова размашисто крестится. Все мы глубоко, облегченно вздыхаем и чувствуем, как обмякают наши, напряженные до судорог, мускулы. – Следующий!.. – выкрикивает мою фамилию Васьков. Меня! Кровь отливает от сердца и чугунным грузом падает в ноги. Они не повинуются, но я знаю, что нужно идти. Стоять на месте нельзя. – Да воскреснет Бог, и да расточатся враги Его! – шепчу я беззвучно. Дуло карабина продолжает торчать из окна. Между мною и им какая-то незримая, но неразрывная связь. Я не могу оторвать глаз от него и держащей его волосатой красной руки с толстым указательным пальцем лежащим на спуске. Эту руку я рассмотрел тогда до малейшей складки на сгибах коротких пальцев, до рыжеватого пуха, уходящего под обшлаг тюленьей куртки. Ее я не забуду всю жизнь. Но я иду. Дуло все ближе и ближе... Вот поднимается... нет... показалось. Ничего нет в мире, кроме этого дула, лежащего на подоконнике. Осталось десять шагов... восемь... шесть... пять... Красная волосатая рука заслонила весь мир. Она огромна. В ней – жизнь и смерть. Каждая секунда – вечность. Четыре шага... Зажмуриваюсь и прыгаю вперед. Бегу. Должно быть, роковая черта уже пройдена. Открываю глаза. – Да! Рядом со мною Тельнов. Окно будки позади. Из него по-прежнему торчит карабин. Васьков выкрикивает новую фамилию, не мою, теперь не мою! Было страшно? Страшнее урагана немецкой шрапнели? Страшнее резки проволоки под пулеметным дождем? Был не только страх смерти, но отвращение, ужас перед гнусностью этой смерти от руки полупьяного палачу смерти безвестной, жалкой, собачьей... Ощущение бессилья, поработченности, плена ни на секунду не покидало глубин сознания и делало этот страх нестерпимым. Но, кончено! Я жив! – Радость жизни наполняет всего меня. Она разливается по жилам, пьянит, заставляет ликовать, животно, по-дикарски... Жив! Жив! Я не знаю, что будет завтра, через час, через минуту, но сейчас я жив. Дуло карабина и держащая его рука – позади. Больше выстрелов не было. Позже мы узнали, что то же самое происходило на приемках почти

каждой партии. Ногтев лично убивал одного или двух прибывших по собственному выбору. Он делал это не в силу личной жестокости, нет, он бывал скорее добродушен во хмелю. Но этими выстрелами он стремился разом нагнать страх на новоприбывших, внедрить в них сознание полной бесправности, безвыходности, пресечь в корне возможность попытки протеста, сковать их волю, установить полное автоматическое подчинение “закону соловецкому”. Чаще всего он убивал офицеров, но случалось погибать и священникам и уголовникам, случайно привлечшим чем-нибудь его внимание. Москва не могла не знать об этих незаконных даже с точки зрения ГПУ расстрелах (многие из заключенных продолжали оставаться пбд следствием и в ссылке), но молчаливо одобряла административный метод Ногтева: он был и ее методом. Вся Россия жила под страхом такой же бессмысленной на первый взгляд, но дьявольски продуманной системы подавления воли при помощи слепого, беспощадного, непонятного часто для его жертв террора. Когда нужда в Ногтеве миновала, он сам был расстрелян, и одним из пунктов обвинения были эти самочинные расстрелы. Через 15 лет так же расплатился за свою кровавую работу всесоюзный палач Ягода. Вслед за ним – Ежов. Участь “мавров, делающих свое дело”, в СССР предпрешена.

Глава 3.

СОЛОВКИ В 1923 ГОДУ

И в давно ушедшие времена бывали такие, что не своей волей проходили за тяжелые, окованные железом ворота Соловецкой обители. Привозили их туда с гербовыми листами, именными указами архимандриту. В них прописано было, как именовать и как содержать присланных: в железах ли, в затворе или с братией купно, с именами или безымянно. Случалось, что имена их самому архимандриту известны не бывали, а в листах значилось: “указанные персоны”. Когда братия уходила с острова, то древние книги и рукописи, – много было их в “книжной палате” архимандрита, – схоронили в потаенном месте. Может быть, закопали в землю, а может – и в стену замуровали. Оставшимся чернецам то место указано не было. Но хозяйственные книги чуть ли не за три века и часть монастырского архива остались. Половина их, а возможно и больше, погибла от огня, остальное было свалено в подвалы и в “рухольную клеть” монастыря, где уже лежали многие тысячи икон и иконок древнего дониконианского, и нового письма. Новые пришедшие трудники нашли эти листы, книги, тетради и даже свитки, разбирали их ночами, после работы в лесу, и потом поместили в антирелигиозный музей. В этом архиве и значились некоторые узники ушедших веков Соловецкого монастыря. В конце недолгого царствования второго Петра, по навету врагов своих – вошедших в силу Долгоруких – привезен был на Соловки первый граф Толстой, Петр Андреевич, заключен был в угловую кремлевскую башню и прожил в ней более десяти лет. При воцарении дочери Петровой о старике вспомнили. Долгорукие тогда уже сложили свои головы на плахе. Присланный на остров гвардии сержант объявил узнику царицыну милость: все отобранное в казну имение, чины и ордена вернуть, а самому быть, где пожелает. Но старец не захотел вернуться в суетный Санкт-Петербург. Преобразилась черная душа предавшего на муки и смерть горемычного царевича, принял он ангельский чин и в покаянии, слезах скончал свои дни. В уцелевших от пожара и расхищения листах соловецких записей значатся и другие узники. Вины их не указаны, и можно лишь догадываться, что при Екатерине попадали сюда иные вольтерьянцы-богоотступники и кое-кто из братьев-каменщиков, но не в затвор навечно, а покаяния в грехах ради, по церковному суду. Через год-два их отпускали. Последним Соловецким узником был последний кошевой атаман Запорожской Сечи Петр Кальнишевский. Пробыл он в заточении вплоть до восшествия на Российский престол императора Николая Павловича. Сто один год ему был, когда пришло помилование и он, как Толстой, не захотел вернуться в суетный, ставший чуждым ему мир, но пострига не принял и, скончавшись, похоронен был не на братском кладбище, а одиноко, в стенах кремля. Его могила нетронута и по сей день. На ней лежит тяжелая каменная плита с полустертой надписью. Первые узники Соловецкой каторги – Соловецких лагерей особого назначения – СЛОН-ОГПУ прибыли на разоренный остров в 1922 году. Это были в подавляющем большинстве офицеры Белых армий, вольно или невольно оставшиеся на территории бывшей Российской Империи, ставшей тогда РСФСР. Они пробыли здесь недолго. Через месяц ими забили до отказа две гнилых баржи, вывели на буксире в море и потопили вместе с баржами. Но тропа была проложена, и по ней потянулись новые и новые толпы. Прибывали и одиночки. Главным образом сюда шли “казры” – заподозренные в контрреволюции (уличенных, конечно, расстреливали на месте), но была и шпана, и “лежавые” провинившиеся чекисты. Соловецкая песня рассказывает об этом времени так: ...И со всех углов Советского Союза Едут, едут, едут без конца... Всё смешалось: фрак, армяк и блуза. Не видать ни у кого лица... В 1923 году, кроме немногих оставшихся там монахов, на Соловецком, Анзерском, Заячьем и Конде – четырех островах каторжного архипелага – было лишь два-три человека, прибывших туда по своей воле. Охрану берегов нес Соловецкий особый полк (СОП) – мобилизованные. Им командовал Петров, комиссаром при нем состоял Сухов. Оба заслуженные красные партизаны гражданской войны, оба сильно пили, вследствие чего и были упрятаны подальше от глаз. Первым начальником СЛОН был Ногтев, попавший туда по той же причине и позже там же расстрелянный. Он был прост и малограмотен, во хмелю большой самодур: то “жаловал” без причины, отпуская с тяжелых работ, одаривал забранными в Архангельске канадскими консервами, даже спиртом поил, то вдруг схватывал карабин и палил из окна по проходившим заключенным... Стрелял он без промаха, даже в пьяном виде. Топивший в его комнатах печи уголовник Блоха рассказывал, что по ночам Ногтев сильно мучился. Засыпать он мог только будучи очень пьяным, но и заснувши, метался и кричал во сне: – Давай сюда девять гвоздей! Под ногти, под ногти гони! До Соловков он был помощником Саенко, знаменитого харьковского чекиста времен гражданской войны. Его заместителем и после него вторым начальником СЛОН, тогда ставшим УСЛОН, был латыш Эйхманс, тоже

проштрафившийся чекист, откомандированный на Соловки за хищения и растраты. Он был иного типа: интеллигентный (бывший студент Рижского политехникума), деловитый, энергичный, он делал карьеру на революции, дал промах на прежней службе, а потом на Соловках старательно и умно выслуживался. Вернуться на материк ему все же не удалось. По неизвестным причинам он был переведен лет через пять начальником лагеря на Новую Землю и там расстрелян. ГПУ строго хранит свои тайны. При Эйхмансе кровавый хаос Ногтева постепенно замыкался в твердую, четкую систему советской каторги. Такими же “почетными” ссыльными были и остальные вельможи Соловецкой сатрапии первых лет: нач. адм. части тупой, звероподобный Васьков и нач. 1-го отд. УСЛОН грубый, но добродушный Баринов. Даже нач. санитарной части М. В. Фельдман, жена члена верховной коллегии ОГПУ, была сослана туда собственным мужем для охлаждения ее африканских страстей. Она закончила свои дни в стиле всей своей жизни: была убита ревнивым поклонником в Пятигорске. Но на Соловках о ней сохранилась добрая память: мягкая, культурная, окончившая Женевский университет, она многим облегчила тяжелые годы и казалась светлым лучом в сумраке соловецкой безотрадности. Такие же провинившиеся чекисты занимали все крупные должности в управлении, из них состояла внутренняя охрана и комплектовался комсостав 15-ти арестантских рот (16-я рота – кладбище на соловецком жаргоне). Каторжное население Соловков в первые годы их существования колебалось от 15 до 25 тысяч. За зиму тысяч семь-восемь умирало от цинги, туберкулеза и истощения. Во время сыпнотифозной эпидемии 1926-27 гг. вымерло больше половины заключенных. Но с открытием навигации в конце мая ежегодно начинали приходиться пополнения, и к ноябрю норма предыдущего года превышалась. Роты были разнохарактерны и по составу, и по режиму, и по быту. Первые три составляли “трудовой пролетариат” и были на привилегированном положении: размещались по 5-6 человек в бывших монашеских кельях, светлых, теплых, чистых, имели пропуск за ворота кремля. В них концентрировались рабочие местных производств, оставшихся от образцового монастырского хозяйства: верфи, литейно-слесарной мастерской, канатного, гончарного, кирпичного заводов. Четвертая и пятая роты – хозяйственные, тоже со смягченным режимом. Шестая – духовенство. Она была сформирована позже уже во время правления Эйхманса, и создавалась в силу необходимости. До того времени на кухни и продовольственные склады назначались каторжане разных категорий, но все неизбежно проворовывались: голод – не тетка. Это надоело Эйхмансу, и практичный латыш решил сдать все дело внутреннего снабжения лагерей корпоративно духовенству, до того рассеянному по самым тяжелым уголовным ротам и не допускавшемуся к сравнительно легким работам. Духовенство приняло предложение, епископы стали к весам, за складские прилавки, диаконы пошли месить тесто, престарелые – в сторожа. Кражи прекратились. В 10-й роте группировались наиболее привилегированные спецы и служащие управления. Они жили сравнительно свободно. Зато 11-я рота была тюрьмой в тюрьме: помещения на ночь запирались. Три последние роты – самые тяжелые. Они были размещены в наскоро приспособленных развалинах Преображенского собора, холодных, темных, грязных, с нарами в три яруса. Бесперывный шум сбитых сюда двух-трех тысяч человек, полное господство уголовников, тяжелые работы в лесу, на торфяных болотах и в море – вязка плотов. Через эти роты в обязательном порядке проходили все новоприбывшие, и многие застревали в них. Смертность здесь превышала 50 проц. Счастливы, после долгих мытарств, попадали в отдаленные командировки: в Савватиевский скит – главную стоянку рыбаков, на Муксолюму, где помещался скотный двор и было огородное хозяйство, и в разбросанные по островам малые скиты. Там, вдали от начальства, жилось вольнее. Женщины помещались отдельно в “женбараке”, вне кремля, а на маленьком Заячьем острове, в полуверсте от пристани, был штрафной женский изолятор. Традиция затейливо протянулась через оборванный век: но с Заячьего острова молились Соловецким святыням женщины-паломницы, не допускавшиеся на самый остров. В каторжные времена на “Зайчиках” был только один мужчина – семидесятилетний еврей-бухгалтер из ЧК Моргулис. Любовь была строжайше запрещена на Соловках, и преступления против этого запрета жестоко карались; Ромео шел на Секирку, Джульетта – на Зайчики. Кормили непрерывно и неизменно похлебкой из голов трески. Хлеба, очень плохого – полкило. Жиров не было совсем. Цинга и туберкулез развивались быстро, и с необычайной силой. Заболевший редко задерживался в лазарете более месяца перед последней путевкой в “шестнадцатую роту”. Там его ждала всегда разверстая братская могила. Особенно страдали от этих болезней шпана, уголовники, здоровье большинства которых было уже расшатано водкой и кокаином. В эти первые годы первой советской каторги ГПУ еще не уяснило себе экономических выгод широкого применения рабского труда. Система концлагерей зародилась здесь же, на Соловках, но несколько позже. Тогда же Соловки были просто каторгой с жесточайшим режимом, царством полного произвола, бойней, в которой добивались последние явные и многие возможные враги советизма, а также свалкой для нетерпимого в столицах уголовного элемента. Непосильный для большинства двенадцатичасовой тяжелый труд был лишь методом массового убийства, но не служил еще целям эксплуатации и коммерческой выгоды. Все вновь прибывшие проходили сначала общие работы: лесозаготовки, торф, вязку плотов. Норма выработки: срубить, очистить от сучьев и вытащить на дорогу 10 деревьев в день выполнялась немногими, сильнейшими. Невыполнение урока иногда сходило с рук, но чаще влекло за собой задержку в лесу на морозе на несколько часов, а то и на всю ночь. Многие замерзали. Замерзали и в старой монастырской дощатой голубятне, куда за отказ от работы запирали в мороз в одном белье. Летом за то же преступление ставили “на комарики”: привязывали голыми на ночь в лесу, где комаров, “гнуса”, носились тучи. За преступления против дисциплины и лагерных правил полагались “Секирка” или “Аввакумова щель”, о них – особый рассказ. На работах, особенно ночных, пристреливали часто. Но били очень редко. Случаев избиения казра я не помню. Шпане попадало. С общих работ просачивались на производства. Там было легче. Наиболее ловкие интеллигенты быстро приспособивались к соловецкой обстановке и пролезали в “чиновники” управления, прорабы, табельщики и т. д. Это давало возможность облегчить быт, получить лучшее

помещение (пища была еще одинакова для всех), пропуск за ворота и другие блага. Капля воды отражает в себе океан. Соловки отражали в себе все основные черты тогдашней жизни Советского Союза, население которого, болезненно отрываясь от старого уклада, еще только приспособлялось к новым уродливым формам. На Соловках было тесно, и поэтому борьба за жизнь была особенно заострена. Было холодно и голодно – трения, укусы, уколы, неразрывные в быту с этой борьбой, ощущались особенно болезненно. Темпы развития новых советских бытовых форм на Соловках даже обгоняли союзные: тюремная замкнутость, безграничный произвол, полное презрение к человеческой личности и ее правам, постоянная беспредельная лживость, вездесущий, всемогущий “блат” – узаконенное мошенничество всех видов, хамство, перманентный полуголод, грязь, болезни, непосильный, принудительный, часто бессмысленный труд – всё это доводилось до предела возможного. И вместе с тем, среди этой напоздавшей мути безвременных лет, на Соловках того периода еще вспыхивали зарницы высокого жертвенного подвига, отблеска осознанного до глубин души долга, светочи чистой Христовой любви, каких уже не было позже, в годы, описанные И. Солоневичем (“Россия в концлагере”), и тем более в той беспросветной зловонной мути, в которой погрязал еще позже М. Розанов (“Открыватели белых пятен”). Ближе всего к описываемому мною периоду очерк Г. Андреева “Соловецкие острова”. Тем не менее, все три упомянутых автора писали правду: менялись времена – менялись люди. Последние нити старой Руси тогда еще вплетались в новую советскую жизнь. Соловецкие каторжане “первых призывов” были осколками Великого Рухнувшего. Они не прошли еще шлифовки НЭПа, переплавки пятилеток, их сознание не было еще истерто в порошок дробилкой советской пропаганды, жерновами звериного, скотского советского быта – “житухи”, они не были еще теми “мизерами”, размельченными личностями, в которых неуклонно и неотвратно превращает русских людей победивший социализм и неразрывная с ним жалкая, мелочная и страшная именно своей мелочностью борьба за “местечко под солнцем”, за сто граммов колбасы, за полметра дополнительной жилплощади... На Соловках это столкновение – связь двух эпох – переживалось острее и резче, чем “на воле”, ибо здесь концентрировались протестующие, которые там были рассеяны, но и здесь и там на смену человеку шел гомункулус, механизм; брюхо напирало на сердце, но сердце еще билось... На Соловках первых лет их существования это биение было слышнее, потому что сюда стекали последние капли крови из рассеченных революцией жил России.

Глава 4.

БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ

На Соловках первой половины двадцатых годов, до стабилизации концлагерной системы, не было ни одного заключенного, осужденного по суду, иначе говоря, имевшего за собой в какой-либо мере доказанное, хотя бы с советской точки зрения, преступление. Все каторжане всех категорий, от уголовной шпаны до высших иерархов церкви, были сосланы туда по постановлениям верховной коллегии ОГПУ, особого совещания при ОГПУ и местных троек по борьбе с контрреволюцией, т. е. внесудебным порядком. Уголовники: воры-рецидивисты, притонодержатели, проститутки-хипесницы и просто бродяги осуждались по ст. 49-й старого уголовного кодекса РСФСР, как “социально-опасные”, на основании их прежних приводов, недоказанных подозрений или просто задержанные при частых в то время облавах. Уличенные в краже шли под “суд народной совести” и получали короткие сроки исправдома, где находились в значительно лучших условиях. Крупные воры и бандиты встречались на Соловках единицами. Поймать их было нелегко, при тогдашней организационной слабости ГПУ и УРО (уголовного розыска), а пойманные охотно принимались на службу в те же учреждения в качестве агентов, следователей, палачей, инспекторов. Начальником банд, отдела Московского ГПУ был некто Буль, в прошлом атаман крупной бандитской шайки, широко известный в уголовном мире “мокрятник” (убийца); его помощник Шуба – тоже бывший бандит. Позже, по миновании надобности, всех их, в том числе и Буля, расстреляли. Аналогичный метод подбора ссыльных на Соловки был и на другом конце каторжного спектра – в среде “политических”, к которым тогда причислялись только члены социалистических партий. Армянские дашнаки, бакинские муссаватисты, не говоря уже о членах несоциалистических партий – кадетов, октябристах и монархистах – в этот разряд не попадали. “Политические” на Соловках до 1926 г. жили отдельно, в Савватьевском скиту, в значительно лучших условиях, работ не несли и пользовались помощью и покровительством представительницы Международного Красного Креста в СССР М. Андреевой, бывшей жены М. Горького. Крупные партийцы – социалисты-революционеры, меньшевики и бундовцы – попадали в строго замкнутый Суздальский изолятор, на Соловки же шли рядовые, по большей части примкнувшие к одной из социалистических партий лишь во время революции. Основную массу соловецких каторжан того периода составляли “казры”, осужденные по подозрению в контрреволюции, а рамки этого понятия были расширены до безграничности. Наиболее определенными группами “казров” были офицерство (как белое, так и приявшее революцию) и духовенство. Но, кроме них, в этот разряд попадали самые разнообразные лица: камергеры Двора, тамбовские мужики, заподозренные в помощи повстанцам, директора крупных фабрик в прошлом и кавказские мстители-кровники; фрейлины и проститутки, юнцы, осмелившиеся танцевать запрещенный фокстрот, лицеисты, собравшиеся в день своей традиционной годовщины, китайцы-разносчики, матросы-анархисты, отставные генералы, их денщики; профессора, финансисты, валютчики, вернувшиеся из эмиграции сменовеховцы, заблудившиеся в РСФСР иностранцы... кого только не было! Термины “бывший” или “знакомый с NN” служили ГПУ вполне достаточным основанием для ссылки. Улика же в активной контрреволюции или хотя бы тень ее вели не на Соловки, а к расстрелу. Действенными, активными контрреволюционерами на Соловках можно считать лишь офицеров Белых армий. Кстати сказать, эти офицеры были амнистированы декретом Ленина после

победы над генералом Врангелем, но всё же их ссылали и истребляли. Потенциальными, пассивными “казрами” были все соловчане, включая значительную часть шпаны и даже некоторых репрессированных чекистов. Уродливость советской “юриспруденции” доходила до невероятных гротесков. Эстрадный куплетист-еврей Жорж Леон был сослан за... антисемитизм. В его репертуаре были одесские еврейские песенки, которые он исполнял с акцентом. Кому-то из власть имущих это не понравилось, и Жорж Леон поехал на Соловки, но здесь, в лагерном театре, с успехом пел те же песенки под аплодисменты не только лагерного начальства, но и вер. ховного владыки, приехавшего туда члена коллегии ОГПУ Глеба Бокия. Брат большевицкого публициста и писателя Виктора Шкловского Владимир, самоуглубленный философ, абсолютно чуждый политике, был дружен с православным священником и принял от него на хранение подлежавшие “изъятию” крест и чашу. Это узналось, и еврей В. Шкловский был осужден как тихоновец, православный церковник. Императорский, а позже красноармейский офицер В. Мыльников получил 10 лет по делу о “заговоре Преображенского полка”; хотя единственным знакомым ему преобразенцем был пор. Висковский, учившийся с ним вместе в 3-й московской гимназии и после окончания ее ни разу с ним не встречавшийся. На Соловках того времени гораздо труднее было найти человека, знающего конкретно предъявленные ему обвинения, хотя бы иллюзорные, чем абсолютно не представляющего – за что же, собственно говоря, он сослан? В этом стиле велось тогда и предварительное следствие, значительно отличавшееся по форме от последующих периодов: и следователь и последственный были вполне уверены как в полной вздорности обвинения, так и в неизбежности репрессии. Поэтому следователь не стремился ни к выяснению деталей, ни к раскрытию сути дела. Было совершенно достаточно выяснить личность “бывшего” и узнать десяток фамилий его знакомых, – “дело” было состряпано, обвиняемый получал сообщение от прокуратуры о привлечении его по таким-то статьям, а потом – столь же краткий, содержащий лишь номера статей, приговор “заочного внесудебного решения” коллегии или особого совещания... и он был на Соловках, где по словам песни: ...попы, шпана, каэры доживают век. Там статья для всех найдется, был бы человек!.. Человек в те годы еще находился, и даже в достаточном количестве. Начиная с 1927-28 гг., тип “казра”-интеллигента в советских концлагерях начал исчезать. Резервуар иссякал. На Медведке, на Беломорском канале (период, описанный И. Солоневичем) “казра” уже сменял “вредитель”, незадачливый или проворовавшийся хозяйственник, экономическая “контра”, “хвостисты темпов развития” и т. д. Это действовала пятилетка. Коллективизация бросила в концлагери гигантскую волну раскулаченных крестьян. Позже специфика концлагерного типа окончательно утратилась. Различие между концлагерным и вольным принудителем стерлась (период, описанный М. Розановым). Человек-личность уходил в прошлое. Его место занимала безликая рабсила, робот-каторжник, “гражданин” эпохи победившего социализма.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА.

Глава 5.

И МЫ - ЛЮДИ

В одной из первых партий 1923 года на Соловки прибыл провинциальный актер Сергей Арманов. Кремль того времени по своему внешнему виду был далек от того кипящего своей особой, каторжной жизнью муравейника, в который он превратился в 1925 году. В центре его мрачно чернели обгорелые купола громады Преображенского собора, двory были завалены мусором и обломками... Сорванные двери, разбитые окна... Пожарище... Первый революционный захватчик мощного, богатого и образцово благоустроенного монастыря – Кемский земельный отдел Архангельского совдепа – прежде всего занялся грабежом богатств, накопленных трудолюбивыми монахами за 400 лет, но не успел вывезти и половины, как пришел приказ Москвы передать острова ГПУ. Новый хозяин шутить не любил и упускать свое “наследство” тоже не собирался. Грабители прибегли к старому испытанному способу – подожгли монастырь, чтобы замести след. Сильно пострадал замечательный пятиярусный иконостас работы суздальских мастеров XVII века, погибла в огне большая часть архива с грамотами Московских царей и Новгородских посадников, многие ценности ризницы, но толстые, навек сложенные стены жилых корпусов устояли. Они спасли от огня и палаты архимандрита, его малую домовую церковь и сводчатую, темную трапезную братии. В эту трапезную и попали прибывшие. Если бы сценический талант Сергея Арманова был равен хотя половине его великой, пламенной любви к театру, то он, Арманов, несомненно, превзошел бы в славе своей и Тальма, и Гаррика, и Мочалова... Вся вселенная представлялась ему лишь огромной сценой, на которой Великий Режиссер разыгрывает нескончаемую трагедию. Даже сидя под следствием в Бутырках, он ухитрился и там в набитой доотказа общей камере, составить нечто вроде труппы-варьетэ с танцорами, певцами, декламаторами и китайским фокусником. Новоприбывшие наскоро сбивали нары из обгорелых досок, а в воображении актера Арманова уже горели огни рампы в глубине трапезной, где еще стоял крепко въевшийся за двести лет в стены запах неизменной монастырской ухи из трески. Наутро, когда дежурный конвоец заорал во всё горло: “На поверку становись! Живо!” – перед ним вынырнула из темноты тощая длинная фигура. – К врачу, что ли? Потом заявишь! Становись! – К начальнику лагеря. – А ты кто будешь растакой-сякой? – Известный артист Арманов! – прозвучал гордый ответ. – Знаем... Здесь все артисты... Становись? – Театр устрою! Это было сказано так уверенно и внушительно, что произвело впечатление. В полдень Арманов уже излагал свой план начальнику отделения Бариннову, а вечером

шнырял по темным коридорам, спотыкался о валявшие там бревна и доски, падал, чертыхался, наступал на чьи-то руки и ноги, но неумолимо, упорно искал желавших играть на сцене без освобождения от работы, после 10-12 часов тяжелого труда на морозе. И нашел. Репетировали, вернувшись с работ и наскоро похлебав баланды из головок соленой трески. Собирались на репетиции туго, порою с руганью, но, начав повторять за суфлером, режиссером и главным актером Армановым слова роли, просыпались, оживали; распрямлялись спины, загорались глаза. Электростанция еще ремонтировалась, света не было. В келье горел единственный, добытый тем же Армановым огарок. Культурно-просветительная часть административного аппарата тоже не была еще организована. Она создавалась позже, после первого спектакля, как надстройка над уже начатой "снизу" культурной работой. Часть актеров выбыла после первых же репетиций: одни сами бросили, другие оказались никуда не годными. Арманов нашел им замену, и через две недели на замшелой кремлевской стене, около главных ворот, красовалась первая на Соловках, тщательно, с соблюдением всех тонкостей театральных традиций, выписанная разведенным химическим карандашом афиша: *СОЛОВЕЦКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ И КОМЕДИИ* 1. МЕДВЕДЬ Миниатюра А. П. Чехова Участвуют: АРМАНОВ, Овчинников, Рахман 2. СТАКАН НЕФТИ Злободневный политический гротеск Н. Б. Участвуют: АРМАНОВ, Климов, Красавцев, Чекмазов 3. Грандиозный разнообразный дивертисмент Кавказские танцы. Хор сибирских бродяг. Цыганские романсы. Куплетист Иван Панин в своем репертуаре. Соло на балалайке – виртуоз Лепеша. Участвует вся труппа Вход по билетам Худ. рук. С. АРМАНОВ Режиссер С. АРМАНОВ Дирекция С. АРМАНОВ Начало в 7 часов вечера Единственный раз в жизни Сергея Арманова осуществилась его заветная мечта: его фамилия красовалась на афише, написанная крупнейшими буквами. Потом лагерное начальство запретило выделять кого-либо из артистов. Но в тот знаменательный день Арманов, несомненно, заслуживал лаврового венка. Им было сделано всё: сцена из опрокинутых шкафов, в которых хранилась прежде посуда трапезной, декорации из побеленных известкой мешков, из них же занавес, грим из клюквы и сажки, пудра из отсеянной муки... Даже текст "Медведя", который он записал по памяти, с некоторыми, правда, дополнениями... но, думается, простит их ему никого не осудивший при жизни автор! Вторая пьеса была взята из случайно нашедшегося у кого-то номера журнала "Синяя блуза". Героем его был "фашист" Детердинг. Нужна ли была эта афиша в концлагере, где каждый случайно пущенный слух разносится мгновенно по арестантской "радио-параше"? Нужна. Перед ней беспрерывно толпились, читали, перечитывали, уходили и снова к ней возвращались, находя в ее чтении какое-то непонятное наслаждение. Нигде так не любят, не ценят своего театра, как на каторге. Нигде так не гордятся им и актеры и зрители. Это видел еще Достоевский на представлениях "Кедрила-обжоры". Видел и понял. Но не сказал: почему. Театр на каторге – экзамен на право считать себя человеком. Восстановление в этом отнятом праве. Афиша – диплом на это звание и для актера и для зрителей. Вот почему перед нею толпились. – И мы – люди. Всё-таки, как-никак, а – люди. Несмотря ни на что – люди! Позже, когда спектакли стали регулярными и сам театр превратился в профессиональный, яркость этого ощущения утратилась, но тогда, на пожарище, каждый из читавших афишу, не сознавая, чувствовал это, ради этого ощущения перечитывал ее и, отойдя, возвращался к ней вновь. Создатель первого соловецкого каторжного театра, третьеразрядный провинциальный актер Сергей Арманов имел полное право начертать аршинными буквами свое имя! Когда выяснилось что больше половины мест в зрительном зале получают солдаты Соловецкого особого полка, охрана и начальство, спектакль чуть не сорвался. – Не для них после работ репетировали!.. – негодовали актеры, и только обещание повторения спектакля удержало их от отказа играть, хотя знали, что это будет сочтено саботажем и репрессии неизбежны. Билеты распределялись через ротных командиров, и для получения их нажимались все пружины всемогущего блата. Не обошлось и без барышничества, и цена за билет доходила до десяти хлебных пайков – стоимости крепких ботинок на каторжанском рынке. Сказать трафаретно "спектакль прошел с шумным успехом" значило бы обокрасть Арманова в день зенита его славы. Хлопали до онемения ладоней, стучали ногами, завывали воплями вызовов... Было забыто всё: каторга, непосильный изнурительный труд, безмерное унижение, голод, поджидавшая многих смерть... Огни рампы, вспыхнувшие в монашеской трапезной, творили свое чудо преображения. На сцене из поваленных шкафов их свет превращал заурядного актера Арманова только в могущественного миллиардера Детердинга, но на скамьях зрителей он претворял в людей отчаявшихся ими быть... На следующий день в приказе по УСЛОН было отдано распоряжение об организации воспитательно-просветительной части, начальником которой был назначен Неверов, чекист-хозяйственник из сельских учителей, бесцветный, но мягкий по характеру человек, вероятно, большой неудачник в жизни, чем лишь и можно объяснить то, что на Соловках он был чуть ли не единственным, прибывшим туда добровольно. В помощники ему для фактического руководства работой дали бывшего начальника ЧК Закавказья Д. Я. Когана, сосланного на предельный срок (тогда 10 лет). До революции Коган считался крупным подпольщиком и теоретиком марксизма, конкурентом Кирова и Орджоникидзе, что, кажется, и загнало его на Соловки. Вскоре из Бутырок [1] было получено несколько тысяч книг, начала работать библиотека. Театр стал постоянным, но его актеры освобождены от работ не были. Однако, само помещение театра в бывшей монастырской трапезной было хорошо оборудовано. Сцена, зрительный зал, освещение, декорации – всё было сделано под руководством бескорыстного слуги Мельпомены Арманова и, выполнив предназначенное ему судьбой дело, он отошел на задний план, уступив место вновь прибывшему старому провинциальному комику М. С. Борину, широко известному на юге России. Макар Семенович Борин был тертым калачом. Три десятка лет работы в провинциальных антрепризах дали ему не только глубокое знание сцены, но, может быть, еще более глубокое знание человеческой души. Через несколько дней после высадки на острове он вполне ориентировался в сложной и запутанной системе внутренних соотношений каторжного муравейника, понял, что Неверов – нуль, хоть и числится начальником ВПЧ, вся же сила в руках Васькова, грубого полужверя, но вместе с тем и очень глупого человека,

которым, в свою очередь, управлял умный и деловитый Коган, а Когану нужно показать товар лицом. Он-то знает толк и разберется в качествах актера. Поэтому для своего соловецкого дебюта Борин выбрал “Лес” и выступил в сотни раз игранный им, испытанной и проверенной роли Аркашки. Несчастливцева играл Арманов. Опытным, наметанным глазом старого лицедея Борин нащупал среди энтузиастов-любителей сносных и даже хороших исполнителей других ролей и “показал класс”. Разница между ним и Армановым была ясна, и Борин стал первым освобожденным от других работ руководителем соловецкого театра. Действуя и дальше “тихой сапой”, он клал на свою стройку кирпич за кирпичом: выпросил сначала освобождение от работ для нескольких ведущих актеров, потом еще для десятка, “прикрепил” к театру технический персонал: портного, парикмахера, бутафора, плотников... Через год в новом, изящно отделанном по эскизам ссыльного художника Н. Качалина и прекрасно оборудованном театре на 1500 мест М. С. Борин давал перед приехавшей на Соловки, во главе с “самим” Боким, заместителем Менжинского, комиссией действительно блестящий парадный спектакль – “Бориса Годунова” А. С. Пушкина, в собственных, выполненных художниками-каторжанами декорациях и роскошных костюмах, сшитых из нераскраденных, в силу невозможности сбыть, запасов парчи монастырской ризницы.

Глава 6.

ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН

Это был длившийся 2-3 года период максимального напряжения культурной жизни Соловецкой каторги. Старая интеллигенция составляла около половины ее населения и непрерывно пополнялась новыми ее представителями всех видов и всех профессий. Традиции русской культуры, надломленные революционной бурей, были еще живы и действенны. Приспособленчество в те годы еще не растерло личность в порошок. “Последние могикане” русской интеллигенции тогда не только помнили, но и ощущали и несли в себе ушедшее “вчера”. Духовенство высоко держало крест, офицерство хранило устои долга и чести, юристы – их было много на Соловках того времени – стройное представление о праве и законности, артисты и художники – стремление к свободе творчества и бескорыстному служению искусству. Всё это находило свои формы выражения даже в условиях каторги – вернее, открытой могильной ямы, в которую упоенный победою всероссийский Шигалев сбрасывал огулом действительных и возможных врагов грядущего коммунистического рабства. Соловецкий театр первых лет своего существования выражал эти, еще жившие тогда традиции ярко и полноценно. Он мог сделать это, так как в нем нуждались сами тюремщики, как в яркой вывеске, кричавшей культуре, и в силу этого предоставляли соловецкой сцене относительную свободу, – как это ни странно, но значительно большую, чем та, которую имел театр тех лет на материке. В репертуаре соловецкого театра 1923-27 гг. агитка почти отсутствовала и шли даже запрещенные в РСФСР пьесы, как например, “Псиша”, “Старый закал”, “Каширская старина”, “Сатана” (Гордина). – Попов и генералов всё равно не сагитируешь, а гнилую шпану и агитировать не стоит! – изрек, разрешая их, зам. нач. управления лагерями Эйхманс. Думается, что этой фразой он не только прикрывал свое личное желание видеть полноценные, интересные спектакли (театр он любил), но и выражал взгляды коллегии ОГПУ, смотревшей тогда на этот первый концлагерь только как на свалку недобитых буржуев, последышей... Тенденция эксплуатации труда заключенных зародилась позже – в 1926-27 гг. Тогда же, до 1926 г., значительно большая, по сравнению с материком, свобода предоставлялась и выходившему несколько позже “толстому” ежемесячнику “Соловецкие острова”, в котором шли далеко не “созвучные эпохе” воспоминания последнего царского резидента в Хиве генерала Зайцева, очерки сменовеховца Н. К. Литвина, бывшего ростовского журналиста, рассказы и повести Б. Глубовского, автора этих строк и др. М. С. Борин, как опытный старый актер, строил репертуар прежде всего на самом себе. Аркашка Счастливец, Расплюев, Шмага, Фердыщенко из запрещенной тогда на материке сценической переработки “Идиота”... Все классические образы русского комического жанра прошли в его исполнении перед глазами соловецких зрителей. Репертуар он строил на наиболее ходких пьесах предреволюционной русской драматургии. Шли “Дети Ванюшина”, “На дне”, из иностранных “Потоп”, “Коварство и любовь”, “Сверчок на печи”... Очень жидкую “революционную” часть репертуара составляли “Поджигатели” Луначарского, “Рабочая слободка” Е. Карпова, шумевший тогда в театре Мейерхольда “Мандат”. О грубой агитке, заполнявшей уже сцену РСФСР, на Соловках не было и помина. Сценическая культура и техника соловецкого театра того времени стояла на такой ступени, что несколько позже, когда актеры были освобождены от общих работ, он мог ставить по две премьеры в месяц. Раз даже была поставлена оперетта “Тайны гарема” с оркестром, хором и балетом, причем “танец негрят” исполняли... дети комсостава Соловецкого особого полка, обученные артистом балета – каторжником Шелковниковым. Станные, полные контрастов отношения были между тюремщиками и каторжниками в спутанные, неустоявшиеся годы взвихренной Руси. Конвой охраны вечером с жаром, до самозабвения аплодировал тем, кого наутро мог пристрелить или заморозить в лесной глуши. Автор этих строк играл в скэтче своего сочинения, являясь на спектакль и репетиции непосредственно из строгого карцера, куда он попал за неумеренный протест против несправедливостей надсмотрщиков, штат которых был сформирован из грузин-меньшевиков, участников восстания 1923 года. Кто же играл на соловецкой сцене? Те, кто ее любил. Те, для кого она была не средством переключиться на более легкую работу, но возможностью развернуть свою, порою неосознанную, потребность творчества. Почти целый год актеры репетировали и выступали после выполнения ими тяжелого урока в лесу. Более того, в день спектакля они старались возможно раньше выполнить норму, чтобы успеть до начала его привести себя в порядок, побриться (это было нелегко, иметь бритвы при себе не разрешалось), выпросить у приятелей недостающие принадлежности костюма, повторить роль или немного отдохнуть... Эта тяжесть работы

на сцене создала естественный отбор, который определил ядро труппы. Оно было очень пестро и по социальному составу и по уровню общей культуры. Вместе с изящным сенатским чиновником, питомцем лицея и учеником Варламова Кондратьевым выступал полуграмотный казак-бандит Алексей Чекмаза, рядом с древней рыцарской фамилией правоведа барона фон Фицтума стояла блатная кличка Семки Пчелки, вора-рецидивиста, который и сам после многих перемен своей бурной жизни, вероятно, позабыл свое подлинное имя. Актеры-профессионалы: Глубоковский из Камерного, Красовский из 2-го МХАТ и др. не выделялись, но сливались с остальными. Среди актрис профессиональных совсем не было, но и здесь наблюдалась такая же пестрота: кавалерственная дама, смолянка, вдова командира одного из гвардейских полков Гольдгоер выступала вместе с портовой притонодержательницей Кораблихой, волею судеб попавшей на Соловки вместе с мятежными кронштадскими матросами. На Соловках в ней обнаружился яркий талант амплуа комических старух. Параллельно со сценой развивалась и концертная эстрада. Не говоря о многих певцах, скрипачах и пианистах, к 1926 г. были созданы приличный духовой и симфонический оркестры. Девять десятых программы занимала серьезная музыка. Здесь, как и на сцене, можно было слышать то, что не допускалось за пределами лагеря: запрещенного “белобандита” Рахманинова, “Чуют правду” в исполнении дантиста-шпиона Ганса Милованова, обладавшего сверхмощным, но абсолютно не обработанным басом, повергавшим шпану в мистический ужас. Театр был первым зерном культуры на Соловецкой каторге. Он вызвал своеобразные и единственно возможные там проявления.

Глава 7.

ЗАРНИЦЫ С ЗАПАДА

Из взбаламученного моря отвергшей свое имя России на Соловки летели брызги каждой вздымавшейся там волны. Случайно спасшиеся от расстрела на фронте пленные деникинцы и колчаковцы, участники офицерских заговоров и восстаний, кронштадтские матросы, крестьяне-повстанцы средней России, повстанцы-грузины, Ферганские и Туркменские басмачи... Потом – причастные на самом деле или припутанные, “пришитые”, как говорили на Соловках, к громким “показательным” процессам: церковники-тихоновцы, федоровцы, баптисты и даже несколько масонов, а вместе с ними и хлопья пены уже вошедшего в полную силу НЭП-а: валютчики черной биржи, растратчики, преимущественно из коммунистов (беспартийные шли в суд), первые “хозяйственники” – незадачливые дельцы советской торговли, а вместе с ними захваченные в облавах проститутки и торговцы кокаином. Пестры были толпы сходящих на соловецкий берег с парохода “Глеб Бокий”. Далекий, но не замкнутый еще тогда “железным занавесом” свободный зарубежный Запад тоже бросал свои блики на эти серые волны прибывающих на каторжный остров “пополнений”. На Соловках эти отблески европейской, жизни преломлялись гротескно, порою уродливо: в аспекте тех сумбурных, бродивших, как сусло, лет. Наиболее ярким из этих отблесков были, пожалуй, “русские фашисты” и “фокстротисты”, а самой выпуклой, блестящей фигурой первой из этих групп был характерный представитель московской предреволюционной богемы артист Камерного театра, журналист и, несомненно, талантливый, хотя так и не успевший развернуться, беллетрист Борис Александрович Глубоковский [2]. Искристая и разнообразная талантливость так и сверкала во всем, за что он только ни брался. Блестяще! окончив Московский университет, Глубоковский имел полную возможность быть оставленным при нем и обеспечить себе научную карьеру; он мог также, избрав адвокатуру, стать помощником видного присяжного поверенного, кажется, Ледницкого (позже первого посланника Польши в СССР). Речью он владел превосходно, а темперамент и глубокий, раскатистый “львиный” голос делали его не только увлекательным, но огненным, умевшим захватить слушателей оратором. Но Глубоковский метнулся к театру. Таиров охотно принял его в свой стоявший тогда в зените славы Камерный театр и начал выдвигать, давая столь значительные роли, как, например, Тигиллин в “Саломее” Уайльда. Удачно шла и журналистика, которая тоже влекла Глубоковского. Позже некоторые его рассказы проникли даже в зарубежное “Накануне”. Но Глубоковский был столь же беспутен, сколь и талантлив. Беспутен почти в буквальном значении этого слова: поехав, например, с Камерным театром в турне по Европе в начале двадцатых годов, он ухитрился “потерять” его в Берлине, а сам очутился в Мадриде, откуда его доставил к месту службы советский полпред. Это путешествие по Европе косвенно послужило ему путевкой на Соловки. В то время, в первые годы НЭП-а, в Москве имел большой успех ночной артистический кабачок “Бродячая собака”, открытый широко известным в богемных кругах ловким предпринимателем Борисом Прониным [3]. В этом подвале на Кисловке после двух часов ночи можно было видеть многих известных артистов и литераторов, там шумел Есенин, всегда сопутствуемый более чем сомнительной компанией, порою маячила одутловатая маска только что вернувшегося из эмиграции и еще нащупывавшего почву А. Н. Толстого. Забрёдал туда и Луначарский в окружении своих “цыпочек” с Н. И. Сац в роли дуэньи. Артисты мешались с коммунистами и нэпачами, не обходилось, конечно, и без агентов ОГПУ – получавших в “Бродячей собаке” широкие возможности подслушать вольные спяну разговоры. Скрипки оркестра надрывно тянули: Все то, что было, Все то, что ныло, Все давным-давно уплыло... В уборной открыто торговали кокаином, на полу валялись окурки толстых “Посольских” папирос, густо измазанные кармином губной помады; приехавший из Парижа поэт Борис Парнок танцевал тогдашнюю новинку монмартрских кабачков – фокстрот и формировал в театре Мейерхольда первый в Москве джаз... В этой-то болезненно-удушливой атмосфере и родился характерный для тех безвременных, сумбурных лет “Союз русских фашистов”. Назвать этот “союз” в какой-либо мере политической партией или хотя бы заговором было бы только смешно. Период офицерских подпольных организаций к тому времени уже закончился, утопив себя в крови, пролитой в подвалах ГПУ. Крестьянское сопротивление коммунизму было парализовано иллюзиями НЭП-а, но порывы к борьбе

продолжали вспыхивать, порою в самых неожиданных и даже нелепых формах. Одною из таких был “русский фашизм”, зародившийся из отзвуков на скудные сообщения советской прессы о победе Муссолини над коммунизмом. Идеологии итальянского фашизма никто из “русских фашистов” не знал даже в общих чертах, однако, организации того же типа возникали и в Москве, и в Киеве, и в Харькове, и в Одессе. Их брызги долетали до Соловков. Психологической основой этих организаций был протест первых ощутивших разочарование в революции и неосознанная еще ими тоска по разрушенной и поверженной русской культуре, звучащая даже в поднятых тогда на щит, а позже запрещенных новеллах Бабеля. Думается, что именно он и некоторые замолкшие теперь поэты были выразителями настроений этих разочаровавшихся бунтарей. Несколько молодых поэтов из числа многих, заполнявших тогда эстраду “Домино” и “Стойла Пегаса” [4], столь же молодых журналистов и актеров, полных неперебродившей еще революционной романтики, распаленных вином и кокаином, вошли в эту группу. Число ее членов не превышало 20-30 человек. Какой-либо оформленной программы не было, Конспирация была детски-наивной. Собрания “союза русских фашистов” происходили главным образом в подвале “Бродячей собаки” и на одном из них после обильных возлияний стали “распределять портфели будущего фашистского правительства”. Кандидата, достойного занять пост министра иностранных дел, не нашлось, и портфель был предложен сидевшему за соседним столиком, уже много выпившему Глубоковскому, как только что вернувшемуся из-за границы и “осведомленному в вопросах международной политики”. Вся эта история была бы только глупым и смешным анекдотом, если бы не окончилась расстрелом одиннадцати и ссылкой нескольких десятков человек. Все они были молоды и многие из них – талантливы. Глубоковский получил 10 лет концлагеря. Остальные “члены правительства” погибли. Он же, отбыв срок, вернулся в Москву для того, чтобы там умереть, отравившись морфием. Случайно или намеренно – я не знаю. Попав на Соловки, Глубоковский быстро выделился из общей массы. Уже окрепший к этому времени театр испытывал острую нужду в актере именно его жанра, в “герое”. После первого же дебюта в роли Рогожина (сценическая переработка “Идиота” Достоевского) Глубоковский был освобожден от общих работ и закреплен за ВПЧ в качестве актера и лектора. Лектором он был интересным, даже захватывающим, но своеобразным: его мозг прекрасно работал в аналитическом и критическом направлениях, но был абсолютно бессилён при синтезе и еще более – в области конструктивной, созидательной работы мысли. “Разделить под орех” было его специальностью и “разделявал” он смело, ярко и забористо кого угодно и что угодно. Носил ли он в себе какой-либо идейный костяк или хотя бы определенные непоколебимые, идейные устремления? Я знал его близко и смело говорю – нет. Никаких. Он был только кислотой, быть может даже ржавчиной, разъедающей всё, чего он касался. Эта характерная для него черта была созвучна первым симптомам спадания волны революционного пафоса, разочарования в революции, вылившаяся позже в горькую ходкую формулу: – За что боролись? Еще меньше идейного содержания несла в себе вторая группа соловецких «западников», прозванная “фокстротистами”. Ее составляли молодые люди, в большинстве из средней московской интеллигенции, виновные лишь в том, что хотели, по праву своего возраста, веселиться. В Москве они собирались на уцелевших еще кое у кого больших квартирах, чаще всего у расстрелянного позже и по другому делу крупного железнодорожного деятеля фон-Мекк и танцевали только что входивший в моду фокстрот. Их “дансинги” были сочтены заговором, хотя “фокстротисты”, по крайней мере подавляющее большинство их, были до смешного безграмотны в политике и абсолютно чужды ей. Но среди них были прекрасные пианисты Б. Фроловский и Н. Радко, ученик Игумнова, был недурной эстрадный танцор Н. Рубинштейн, умерший на Соловках от туберкулеза, акробатический танцор школы Форренгера Н. Корнилов, поэт Б. Емельянов, блестящий версификатор, выступавший в московских нэпических кабаре с мгновенными экспромтами на заданные публикой темы, талантливый младший режиссер 2-го МХАТ Н. Красовский. К ним примыкал также осужденный по другому делу и иной по своему внутреннему укладу, серьезный и глубокий поэт Н. Бернер, один из немногих уцелевших с тех времен и вырвавшихся в волне второй эмиграции, ныне здравствующий и печатающийся в газетах Зарубежья под псевдонимом Божидар. Это была талантливая молодежь. “Фокстротисты” были тоже богемой, но иного типа, чем та, из среды которой вышел Глубоковский. До революции они были благовоспитанными мальчишками “из хороших семей”. Ее шквал разметал уюты их быта. Отцы лавировали между подвалами ГПУ и местом спеца при каком-нибудь Наркомате, матери продавали на Сухаревке ставший ненужным балластом фарфор и хрусталь из распиленных на дрова буфетов, а сами они, полностью чуждые революции, слепо тянулись к маячившим где-то “огням Бродвея” и жадно ловили долетавшие оттуда обрывки шумов свободной жизни, без очередей, уплотнений, обысков, полуголода... Подушки смятые, подушки алые, Духи Коти, коньяк Мартель. Твои глаза всегда усталые И губы, пьяные, как хмель... Так звучал их гимн. Мало ли было таких тогда? Изредка в сходящей с парохода толпе “пополнений” мелькали сменовеховцы, больно ушибшиеся о Запад и оттолкнувшиеся от него. Таким был Н. К. Литвин, журналист, до революции сотрудник крупных либеральных ростовских газет, потом эмигрант с Графской пристани, прошедший через Галлиполи и блуждания по Балканам с какой-то импровизированной эстрадной труппой. Оттуда – в Берлин. Волна послевоенного шибберства не захлестнула, не вовлекла в себя нежную лирическую душу Н. К. Литвина, он стал чужим и одиноким даже в среде эмиграции, подобно многим, сходным с ним натурам, напр., Огневцеву. Молчаливо, застенчиво улыбаясь, садился он в уголке той кельи, где собиралась по вечерам шумная компания “неунывающих соловчан”, и слушал ее споры, не вступая в них сам, смотрел со стороны на мелькавшую перед его глазами сутолоку, не вращая, не вживаясь в нее. Таким он ушел с Соловкой в Сибирь, куда ему дали дополнительный срок. Много позже, увидев мою подпись в какой-то газете, он прислал мне письмо с Енисея, где работал поваром артели рыболовов, и там также был чужим, также смотрел со стороны, не вливаясь в течение жизни, пока смерть не унесла его из нее. Но и шибберство Запада брызнуло на Соловки несколькими своими каплями. Одной из них был Миша Егоров, по кличке “Парижанин”. Я

увидел его впервые в общей камере Бутырской тюрьмы, куда Миша был доставлен... непосредственно из Парижа. Хлопнула дверь, и, как всегда, все воззрились на "новенького". Было на что посмотреть! Перед нами стоял великолепно одетый молодой человек, державший в одной руке залепленный яркими рекламами отелей желтый заграничный кофр, а в другой – огромную голубую бомбоньерку. За ту же руку была элегантно зацеплена трость, а с плеча ниспадало шикарное, длинное по тогдашней моде, полосатое шелковое кашнэ. Пораженная этим необычайным для Бутырок явлением, камера смолкла. Прибывший несколько удивленно обвел нас глазами, протянул: "Н-да-а-а..." – и вдруг широко улыбнулся: – Бонжур, честная компания! Через час мы все уже знали трагикомическую эпопею Миши. Его отец был довольно известным московским средней руки купцом, что не помешало сыну стать уже в 17-м году коммунистом. После Октября он, как знакомый с коммерцией, был направлен в Париж в Торгпредство. Там... – Пожил, ребята! И хорошо, чорт возьми, пожил! – мечтательно улыбаясь, рассказывал Миша. – Париж, это, знаете ли... Не Хамовники! Парижская жизнь Миши была оборвана срочным вызовом в Москву. Миша поехал, полный, как всегда, самого радужного оптимизма, прихватив даже огромную коробку дорогих конфет для дамы своего сердца. Так, вместе с этой коробкой, и желтыми кофрами, полными модных новинок, он и угодил в Бутырки, будучи арестованным при выходе из вагона экспресса Париж-Москва. Что именно послужило причиной краха карьеры Миши – знакомство ли с парижскими эмигрантами, с которыми он весело покучивал в монмартрских кабачках, или слишком свободное обращение с подотчетными суммами торгпредства – установить не удалось, но приобретенный в Париже шарм не покидал его даже на Соловках. Там Миша быстро устроился на какую-то легкую работу и разгуливал по монастырским дворам с тою же тростью, в том же шелковом кашнэ и надетой набекрень фетровой шляпе... Эти, казалось бы, столь различные люди (что общего могло быть между бежавшим от шибберства тихим лириком Литвиным и нашедшим в том же шибберстве свою стихию Мишей?) слились на Соловках в тесный, дружный кружок. Что их сближало и роднило? Теперь, вглядываясь в минувшее, я улавливаю стимулы этого сближения. Один из них можно назвать бездомностью, неумением найти свое место в новых, еще не выкристаллизовавшихся формах изломанной жизни. Другой – поиск этого места, неразрывная с молодостью жажда самопроявления и самоутверждения. Первый рождался из необорванных связей с ушедшим. Второй – из стремления влиться в современное, в будущее, из того, чего не было у старшего поколения, целиком отмежевывавшегося и от настоящего и от будущего перетряхнутой сверху донизу России. Сочетание этих двух противоречивых друг другу начал сближало их носителей между собой и одновременно отталкивало их от целиком ушедших в свое прошлое и полностью отвергавших настоящее, заброшенных на Соловки "бывших людей". Этим группам соловецкой интеллигентной молодежи предстояло вовлечь сюда и другие, сходные с ними по психике элементы и оформиться в том, что носило на Соловках имя "ХЛАМ".

Глава 8.

"ХЛАМ"

Дело происходило зимним вечером 1924 года в "Индийской гробнице" – камере чистокровного индуса Набу-Корейши, где он иногда угощал нас после спектакля настоящим черным кофе с сахаром и печеньем – редкостным лакомством на Соловках. Корейша, сидевший на Соловках "за шпионаж", был представителем большой индийской фирмы, торговавшей джутотом, и получал от нее крупные суммы в иностранной валюте. На руки ему этих денег не давали, но он мог закупать на них что ему угодно и сколько ему угодно в закрытом кооперативе НКВД. Это богатство давало ему не только освобождение от работ, но даже отдельную теплую и светлую келью. В ней-то, носившей у нас имя боевика экрана того времени – "Индийской гробницы", мы и обсуждали в тот вечер только что оконченный спектакль. – Всё это рутина, старье, заваль, – ораторствовал Миша Егоров, – нужно искать новых форм. – Борин что ли, на седьмом десятке лет жизни будет тебе их искать? – пренебрежительно бросил Глубоковский. – Таиров с Мейерхольдом пока еще не нашли и к нам сюда не доставили. – Можно и без Таирова обойтись... самим... – изрек Миша. – Кому это самим? Ты, что ли, поведешь к новым формам? – Почему обязательно я? Сколько вас здесь: поэты, литераторы, артисты, музыканты... Создадим коллектив, организацию и начнем! – А кто это разрешит тебе организацию? – Разрешат – уверенно заявил Миша. – Коган, безусловно, поддержит, Неверов под его дудку пляшет, а Васьков балда, что ему Коган подскажет по культурной части, то и будет. Берусь устроить! – заорал он. Его практическая купеческая сметка не терпела отвлеченности и тотчас же отыскивала для нее реальные формы. – Все хлопоты на себя беру! Ручаюсь! Сделаю! Темперамент Миши хлестал из него бурным фонтаном и захватывал нас. – А почему бы нет? Театр малых форм, но не по текстам «Синей блузы», а наш, соловецкий? – поддержал Егорова Акарский, деникинский офицер, в прошлом тоже близкий к московской богеме. – Литвин, Глубоковский, Ширяев подработают тексты, Глубоковский и Красовский – режиссура, а исполнителей всех видов актеров, певцов, танцоров и музыкантов – на Соловках хватит! Будет успех – новые к нам потянутся, да и "пополнения" с каждым пароходом прибывают... Дерзнем! – А как окрестим это дело? Название очень важно: попадем в тон начальству – разрешат, промахнемся – могила и черный гроб. – Организация пролетарских... – К чорту пролетарских! – Цех... – К дьяволам все цехи! Ты еще скажи худ-раб-сила! Идиот! – ХЛАМ! – неожиданно выпалил нескладный, длинный, как жердь, и вечно попадающий в нелепые положения поэт Борис Емельянов, восхищавший шпану своим черным плащом-крылаткой, в котором он разгуливал по Соловкам и летом и зимой, – ХЛАМ, – уныло, но твердо повторил он. – Ты, что, окончательно сдурел? – уставился на него Мишка Егоров. – Мочевой пузырь в голову переместился? – Ты дурак, а не я, – спокойно и так же уныло отозвался Емельянов, – художники, литераторы, актеры, музыканты; начальные буквы х, л, а, м. То-есть, ХЛАМ. Все застыли, как в финале "Ревизора". – В точку! – завопил первым

Мишка. – Что надо! Под таким названием не артистическую, а контрреволюционную организацию можно у Васькова провести! Ее двусмысленность всем понравится! Конечно – ХЛАМ – и никаких гаек! Так в “Индийской гробнице” Набу-Корейши, коммерческого представителя Бомбейской фирмы, присужденного к Соловкам за “шпионаж”, родился если не самый яркий, то во всяком случае самый искренний и откровенный сценический выразитель настроений тех сумбурных лет, когда обрывки ушедшего сплетались с неясными, тонкими нитями, ведущими к туманному, неясному будущему русской культуры. Он родился на Соловецкой каторге, потому что именно там, в те годы было больше внутренней свободы, чем на материке, потому что там еще светилась бледным пламенем Неугасимая Лампада Духа. Только там в охватившей Россию тьме безвременных лет. Добиться разрешения на спектакль под маркой “свободного “ХЛАМА”, а не воспитательно-просветительной части было довольно трудно, но удалось, как и рассчитывал Миша Егоров, при помощи сочувствовавшего всем новым начинаниям партийца-интеллекта Когана. Все работали дружно, дополняя один другого. Никаких “целей” не ставили и “программ” не составляли. Каждый участник ХЛАМ-а действовал свободно, задумывая, разрабатывая и осуществляя задуманное. Когда программа первого вечера определилась достаточно ясно и литературные тексты были готовы, выяснилось, что удельный вес злободневной соловецкой тематики значительно превышал остальные разделы про граммы вечера и некоторые фразы звучали слишком смело. Кое-кто приуныл. – Прихлопнет Васьков наш ХЛАМ еще до его рождения. Перехватили ребята. Надо потише, поосторожнее... – слышались голоса робких. Но неробкие упорствовали. – В этом-то и сила! Увидите, что как раз это понравится. Ведь им самим надоела агитационная жвачка. Только бы цензуру Васькова проскочить. Он по глупости может зарезать. Начальник адмчасти Васьков был, действительно редкостным болваном и тупицей, но, к счастью, для самого вообще, а для ХЛАМ-а в тот момент, он сам от части сознавал свое тупоумие и маскировал его, чуть подбирая себе дельных помощников и перекладывая на них работу. По идеологической и пропагандной части он слепо верялся умному, широко и глубоко эрудированному Когану и поэтому, не читая, подписал представленную им программу ХЛАМ-а. Миша Егоров угадал и то, что соловчане разом, еще до появления ХЛАМ-а на сцене театра, отнесутся к нему сочувственно именно потому, что он был “свободным”, формировался по инициативе и силами самих каторжан, а не воспитательно-просветительной части и был подчинен ей лишь формально, вследствие мягкотелости нач. ВПЧ, с одной стороны, и крепкой поддержки Д. Я. Когана – с другой. К ХЛАМ-у потянулись уже выявившие себя сценические силы и новые, проявлявшиеся порой там, где их совсем нельзя было ожидать, например, уже в пожилой кавалерственной даме, жене командира одного из блестящих гвардейских полков, не имевшей ничего общего с ядром ХЛАМ-а – московской богемой. Эта генеральша Гольдгойер на шестом десятке лет обнаружила в себе яркие и своеобразные сценические способности. Вместе с нею вступили в ХЛАМ прекрасно танцевавшая столбовая дворянка-помещица Хомутова-Гамильтон, “лэди”, как звали ее на Соловках, и именитая московская купчиха, “чайница” Высоцкая. Они вполне ужились в атмосфере ХЛАМ-а и с молодежью, и с типичными профессиональными актерами, каким был, например, эстрадный куплетист-еврей Жорж Леон. Вся эта пестрая, разноликая, разнохарактерная толпа была спаяна и крепко связана общим цементом – тоской по отнятым у жизни красочности и звучности, стремлением к личному, свободному, поскольку это возможно, творчеству, и странно, что эту максимальную из возможных по тому времени свобод мы находили именно на каторжном острове, на свалке, казалось, разбитой вдребезги русской культуры. Но на всей остальной площади Советского Союза это было уже невозможно. Там рожденное революцией “сегодня” уже заполнило пустоту, образовавшуюся на месте отброшенного, попанного “вчера”. * * * Наконец, вечер первого спектакля ХЛАМ-а настал. Первым номером шла инсценировка популярного тогда романа “Шумит ночной Марсель”. Ее героем был апаш, а действие разворачивалось под надрывные звуки танго, в портовой таверне, “где негр-слуга смыкает с пола кровь”... Дешевая романтика темы была легко воспринята залом, и шпана дружно заплотировала своему “героическому” западному собрату при первом его появлении. Героя-апаша играл изящный белогвардеец Евреинов, артистически танцевавший танго – стержень действия пьесы, – а его партнершей, загадочной “в перчатках черных дам” – обученная им этому танцу... свояченица командира, охранявшего нас Соловецкого Особого полка! Трудно верится теперь таким воспоминаниям. Но эта, очень красивая и, как оказалось, талантливая девушка стала потом яркой “хламисткой”, засиживавшейся на репетициях до поздней ночи и разделявшей все горести и радости “хламистов”-каторжан, хотя сама она была свободной. Сам командир полка Петров не протестовал против ее общения с заключенными. Наоборот, он даже поощрял посещение ею ХЛАМ-а, где она воспринимала манеры и шарм от каторжанок-аристократок. Другим появившимся вместе с ней на сцене ХЛАМ-а монстром был пожилой морской офицер, капитан 1-го ранга князь О-ский. Он, к сожалению, был абсолютно бесталанен, и лишь снисходя к его упорным, чуть не слезным мольбам, ему дали статическую роль того негра, который, по словам романа, “по утрам стирает с пола кровь” в портовом притоне. Князь вполне удовлетворился ею, густо вымазал сажей свое лицо и досаждал всем одним и тем же вопросом: – Типичный готтентот, неправда ли? Характерное негритянское лицо! Я видел точь-в-точь таких же на Мадагаскаре... А? Но вот занавес поднят. Ведущий певец, под аккомпанемент гитар и мандолин, струит в зал сладостно-тягучие строфы: Шумит ночной Марсель. В притоне “Трех бродяг”, Там пьют матросы эль И женщины жуют табак... Недоступное, недостижимое даже для мечты встает явью перед глазами, становится реальным, осязаемым... Огни рампы творят свое дивное таинство... В перчатках черных дама Вошла в притон и смело Там негру приказала Подать вина... Нет, это входит уже не свояченица командира СОП и не изображающий блистательного “незнакомца” Мишка Егоров в извлеченном из чемодана умопомрачительном, яростно-клетчатом жакете. Не вымазанный сажей князь О-ский ставит перед ними оплетенную соломой фиаску. Это... Что это? – Романтика папиросных реклам, – пренебрежительно процедил о постановке “Марселя” Глубоковский, и тогда я не возражал ему. Но теперь, оглядываясь на пройденную вереницу

лет серой советской обезлички, истомленный нудной жвачкой затасканных слов, бескрасочностью, беззвучием расплывшейся на всю Россию социалистической каторги-казармы, я понимаю, почему зрительном зале Соловецкого театра тогда стало тише, чем в притоне “Трех бродяг” Стало тихо в первый раз И никто не мог никак Оторвать от дамы глаз. Теперь я с глубокой благодарностью и хвалой вспоминаю тех, кто тогда захватил, сумел и смог показать соловецким каторжанам “музу дальних странствий”, хотя бы и в аляповатом наряде “папиросной рекламы”! Пусть так. Свое высокоодаренному поэту Гумилеву, но свое и неизвестному, безымянному бродяге. Они оба имели право на жизнь и радость. Следующим номером шел мой сатирический скэтч заостренный против нашей “рабсилы” – надсмотрщиков из числа заключенных, в большинстве из грузин-повстанцев. Это был уже рискованный номер. Он начинался сценическим трюком: загримированные грузинами актеры, размахивая дрынами, врываются на сцену через зрительный зал и начинали загонять актеров-исполнителей на очередной ударник. Трюк был настолько близок к соловецкой действительности, что публика приняла его всерьез. Кое-кто из шпаны побежал прятаться, а сам Эйхманс, встав с места, возмущенно закричал: – Кто разрешил ударник? Убрать рабсилу к черту После этого, услышанного всем залом, восклицания владыки острова осмелевшие актеры, под сочувственный рокот зала, стали с удвоенной силой метать отравленные стрелы сатиры в ненавистных, продавшихся отщепенцев, заклеянных кличкой “ссученные” [5]. Но самый рискованный момент был еще впереди. Почти в конце программы шла коротенькая веселая пьеска с пением и танцами “Любовь – книга золотая”, автором которой был Н.К. Литвин. Надо пояснить, что любовь во всех ее видах была преследуема и гонима на Соловках, и уличенному в этом преступлении Ромео полагалось не менее трех месяцев Секирки, а Джульетте – столько же “Зайчиков”. И всё же “золотая книга” – вечная книга читалась. Специальным и утвержденным свыше гонителем любви в соловецком кремле, ее Торквемадой и неутомимым охотником на Ромео и Джульетт был ссыльный чекист Райва, одевавшийся всегда в длинную кавалерийскую шинель и носивший на голове неимоверно грязную белую кавалергардскую фуражку. Его фигура была известна всем, и пьеска Литвина заканчивалась именно ее внезапным появлением и паническим бегством застигнутых любовников. Сам Райва сидел в первом ряду и с большим удовольствием смотрел программу. Вдруг его точный двойник в неизменной кавалергардской фуражке выскочил на сцену и обратил в бегство слившихся в поцелуе счастливых. – Райва! – в диком восторге взывала шпана. Подлинный Райва инстинктивно схватился за голову... На ней была на этот раз не традиционная фуражка, а надетая второпях перед спектаклем меховая ушанка. Но на него уже, смеясь, смотрел весь первый ряд: и защитница соловецкой любви нач. санчасти М. В. Фельдман, жена члена коллегии ОГПУ, сосланная им самим на остров именно для охлаждения ее бурного темперамента, и грубый, но прямодушный Баринов и сам Эйхманс. К чести Райвы нужно сказать, что в дальнейшем он не мстил за “критику” и, получая обратно выкраденную у него перед самым спектаклем фуражку, лишь буркнул: – В другой раз не сопреете. Спать в ней теперь буду. Но воровать ее не пришлось ни вторично, ни третично: на повторные спектакли ХЛАМ-а Райва давал ее сам и, сидя в первом ряду, неизменно аплодировал своему сценическому двойнику. – Ишь, с... дети, чего понастроили! Совсем не так отнеслись к сатире на них надсмотрщики рабсилы. Они подали Эйхмансу официальное заявление, обвиняя автора скэтча в подрыве их служебного авторитета и требовали строгого его наказания и запрещения пьесы. Эйхманс порвал этот рапорт. Тогда они начали систематическую травлю меня и изображавших их на сцене актеров, назначая нас на самые тяжелые работы. Эта травля была прекращена тем же Эйхмансом, которому Коган доложил об их действиях. Первый спектакль ХЛАМ-а имел бурный успех и в верхах и в низах Соловков, главным образом потому, что в нем ощущалось робкое, едва заметное, но всё же дыхание свободы, а тосковали по ней не только каторжники, но подсознательно и их тюремщики. Кроме того, он воплощал в огнях рампы ту затаенную мечту, в которой признаться даже самому себе было бы постыдным ребячеством – мечту о “дальних странствиях”. Первая программа ХЛАМ-а была повторена три раза, и его руководителям был тут же заказан специальный спектакль для ожидавшейся “разгрузочной комиссии” из Москвы во главе с начальником всех лагерей, членом коллегии ОГПУ Глебом Бокием. – Можно и перцу подсыпать? – спросил в упор Эйхманса Глубоковский, получая заказ. – Валите, не стесняйтесь, – ответил тот, – только чтобы было ярко и остроумно. Весть об этом взбудоражила всех хламистов. – Как? Свободно? Так что можно будет и правду сказать? Скептики каркали: – Ляпните эту правду и срок себе прибавите. Но горячие головы не робели. – Чорт с ним, со сроком, зато... Мудрый, знавший людскую душу и душу зрителя старик Борин одобрял: – Можно. Генералы любят больше всего анекдоты именно о самых генералах. Ничего нет нового под Луной. Валите! И вот день этого самого торжественного и значительного в жизни ХЛАМ-а спектакля настал. Первый ряд занимали приезжие во главе с Глебом Бокием, прибывшим на пароходе, носившем его имя взамен монастырского “Святой Савватий”. Занавес раздвинулся. На сцене вся труппа, приветствующая гостей. К рампе выходит куплетист Жорж Леон во фраке и с хризантемой в петлице. Он по-эстрадному кланяется Бокию. Шептали все... Но кто мог верить? Казался всем тот слух нелеп: Нас разгружать сюда приедет На “Глебе Боком” – Бокий Глеб. звучит первый куплет приветствующей “разгрузку” песни. Хор подхватывает рефрен: Всех, кто наградил нас Соловками, Просим: приезжайте сюда сами, Проживите здесь годочка три иль пять, – Будете с восторгом вспоминать! Далее солист жалуется на свой врожденный пессимизм и заканчивает свое приветствие словами: В волненьи все, но я спокоен. Весь шум мне кажется нелеп: Уедет так же, как приехал, На «Глебе Боком» – Бокий Глеб. После вступительных куплетов, в которых пелось и знаменитом соловецком наказании “комариках” и о Секирке Хороши по весне комары, Чудный вид от Секирной горы шел скэтч “Губернатор Зеленого острова”, добродушно-иронически, но остроумно и метко отражавший нравы администрации Соловецкой сатрапии и даже некоторые личные черты владыки острова Эйхманса. Эти искры своей мелкой бытовой соловецкой правды, блеснувшие на спектакле ХЛАМ-а, не сыграли, конечно, никакой роли в общей жизни самой каторги. Всё осталось, как было. Но они необычайно подняли престиж

ХЛАМ-а среди зрителей, особенно их “низов”. – Не побоялись! Прямо ему в нос табаку пустили! Эта крошечная щепотка “табака” переживалась нами с корпоративной каторжной гордостью. Приезжие члены коллегии поняли это и учли при “разгрузке”. Результаты ее были незначительны: были освобождены лишь 20-30 человек уголовников и хозяйственников, а двум-трем сотням уменьшены сроки. Но в числе этих последних были руководитель ХЛАМ-а Б. Глубоковский (с 10 на 8 лет) и куплетист Жорж Леон (с 3 на 2 года). ХЛАМ нес на себе печать нэпического ренессанса и ее клеймо рельефно проступило при встрече нового 1926 года. – Встреча нового года на каторге? – удивится читатель. Да. Во-первых, календарь и на ней сохраняет свою, хотя и неполную силу. Каторжане тоже хотят дней веселья и радости, остро и напряженно их жаждут. А во-вторых, НЭП в это время был в своем полном расцвете. – “Обогащайтесь!” – воскликнул Бухарин, и многим показалось, что “построение социализма” уже растаяло пред лицом реальной жизни, отодвинуто ею на неопределенно далекий срок. Те же, кто не доверял отступлению “всерьез и надолго”, обещанному Лениным, те, захваченные общим потоком, танцевали на вулкане. Свой собственный НЭП был и на Соловках, отражавших каждую вариацию жизни советского материка. Была открыта коммерческая столовая. В ней играл струнный квартет, и можно было прилично пообедать за 50 копеек. Заведывал ею “Парижанин”, Миша Егоров, и был очень ловким метр-д-отелем. По ночам в ней кутили СОП-овские командиры, вольнонаемные служащие и привилегированные ссыльные чекисты. Премьеры театра тоже стали платными и на них можно было сидеть рядом со своей дамой, а не отдельно с ней, как обычно. Присылаемые заключенным деньги на руки не выдавались, но были выпущены боны универмага, которые котировались наравне с деньгами. В универмаге было все, вплоть до шампанского и икры. У ссыльных валютчиков и хозяйственников деньги водились. Вот при такой “экономической базе” и соответствующем ей «духе времени» и была разрешена встреча нового года в театре, при условии необычайно высокой платы за вход – 5 рублей. Ее организация была поручена тому же Мише Егорову, а декоративно-сценическая часть – ХЛАМ-у. К этому времени новый, очень элегантный театральный зал был уже готов и над декорировкой его для встречи трудился тот же Коля Качалин, талантливый художник, по эскизам которого был оформлен сам зал. Он блеснул и здесь. Световые эффекты были то нежно мягки, то поражали своей неожиданностью. Ни одного красного полотнища! Ни одного лозунга! Ни одного портрета “вождей”! Как не верится этому теперь. Не было ни больших флагов и пошленьких гирлянды мелких флажков, ни возведенных тогда в культ декоративных механических фрагментов: шестерен, зубцов, рычагов... Тенденция конструктивизма была выражена сочетании красок и геометрических формах. Сцена была заполнена столиками, а в глубине блистала и искрилась хрустальная глыба льда. В ней шампанское, которое продавали самые изящные из обитательниц женбарака: высокая, с точеным профилем камеи Энгельгардт, блиставшая парижским (хотя и отсталым от моды) туалетом, чайница Высоцкая и кто-то из “бомонда”... Зал был переполнен. Откуда-то появились приличные, даже хорошие костюмы. Стулья партера убраны, там – танцы, а на балконе – сооруженные тем же Качалиным футуристические киоски: огромные яркие зонты под ослепляющим прожектором. Это солнце, недостаток в котором так остро чувствовался на Соловках. | Между зонтами – шедевр мастера сцены, старого, знавшего Шаляпина и даже побитого им (о чем вспоминалось с гордостью и умилением) театрального плотника и бутафора Головкина – пальмы диковинной породы, “совсем, как настоящие”. Снова иллюзия, реализация большой, сверлящей, сосущей мечты о невозможном, недостижимом, отнятом... Для одних этот вечер был нирваной, временным погружением в прошлое, шагом назад, для других – тоже нирваной, но скачком вперед, в неизведанный мир блеска внешней материальной культуры. Кое-кто из шпаны тоже был на встрече нового года, но кто бы узнал на ней бандита Алешку Чекмазу или ширмача Ваньку Пана? Ступив в иную обстановку, они сами преобразились. Буфет торговал вином, водкой, крушоном с консервированными фруктами. Некоторые “буржуи” изрядно подпили, но ни одного скандала, ни даже резкого слова не было произнесено в этот вечер в зале театра на густо заматеренных Соловках. Артисты выступали на сцене, между столиков. Там скользили нежные “китайские тени”, горели при потушенном свете веселые разноцветные “светлячки”, “фарфоровые кавалер и маркиза” танцевали жеманный старинный гавот... ХЛАМ дал в этот вечер всё, что он мог, и трудно сказать, кто испытывал большую радость – зрители или артисты? “Куранты” – гавот фарфоровых кукол танцевал я с проституткой-хипесницей Сонькой Глазком, гибкой и стройной, как танагрская статуэтка, под хрустальную россыпь Моцарта. Ставивший танец тонкий стилист, режиссер 2-го МХАТ Н. Красовский долго “обламывал” нас на репетициях и “вживал” в рисунок танца, но мы полностью “вжились” в него лишь на сцене. И теперь, через 27 лет, вынимая тот вечер из глубины ларца памяти, я чувствую нежное прикосновение руки маркизы, сучившей пеньковые канаты, и подлинный (черт возьми!) аромат поданной мне ею бумажной (нет, настоящей, живой!) розы. В тот миг, только миг, я был кавалером де Гриэ, склонившимся к руке подлинной, реальной Манон Леско – каторжанки Соньки Глазок! Радость этого мига жива до сих пор...

Глава 9.

“СВОИ”

Эмбрион свободы творчества – ХЛАМ встретил отзвук и в массах уголовников. Там был также создан сценический коллектив “Своих” [6]. Термин “свой” на блатном жаргоне определяет принадлежность к уголовному миру в отличие от “фрайера” – добропорядочного гражданина, объекта эксплуатации. В сознании уголовников он сливается с ощущением кастовой гордости. Эта психологическая черта русской шпаны очень недалека от корпоративного мировоззрения “славного старого Гейдельберга”. Ведь и там, за дубовыми столами трехсотлетних пивных, мир делился на “добрых буршей” и “филистеров”. Традиции рождаются в “верхах” и просачиваются в

“низы” медленно, но верно. В них они продолжают жить, хотя и в гротескной уродливой форме. Поблекший в “верхах” образ Чайльд Гарольда встает в ином наряде под заунывный мотив “классической” песни беспризорников “Позабыт, позаброшен”, а слова песни Отцовский дом спокинул я, Травой зарастет... Собачка верная моя Завоет у ворот почти точно повторяют стихи Байрона. Организаторами “Своих” были бандит Алексей Чекмаза, взломщик Володя Бедрут и ширмач-карманник Иван Панин. Каждый из них был ярок, самобытен и колоритен. Алексей Чекмаза был донским казаком. Германская, а за нею и гражданская война оторвали его от родного куреня, закружили, завихрили и стал приказный Чекмаза заправским бандитом. Но “на деле” не попался, а был схвачен в облаве на “социально-вредных” и попал на Соловки. Стремление к личной, внутренней культуре жило и проявлялось в нем с большой силой. Он много и осмысленно читал, старался поговорить о прочитанном с интеллигентами, пытался и сам писать стихи, порою искренние, хотя и нескладные, неплохо исполнял в театре небольшие “рубашечные” роли... Организатором он был очень хорошим: дельным, чутким, в меру властным. Сказывалась учебная команда казачьего полка. Много позже я слышал, что по выходе из каторги он порвал с уголовщиной и стал заведующим большой фабричной столовой. Совсем иным типом был Бедрут. Сын московского врача, окончивший одну из лучших частных гимназий, он вступил в годы безвременья, заразившись тлетворной “героикой” воров-джентльменов вроде леблановского Арсена Люпена, пришедшего на смену одряхлевшему Рокамболю. Современники этого последнего носили в себе те или иные моральные устои, ограждавшие их от его разлагающего влияния. Формировавшееся же в годы революционного распада сознание Бедрута не могло ничего противопоставить Арсену Люпену. Его путь был путем многих интеллигентных юношей того времени. Он привел Бедрута к Соловкам, где он занял место какого-то связующего звена между группами каэров и уголовников. Он приходился “к месту” и среди “своих”, где его специальность взломщика занимала высокую ступень в своеобразной кастовой иерархии, и среди контрреволюционной молодежи, причем сам он ни в какой мере не приноравливался ни к тем, ни к другим. Он был не лишен способностей: легко писал грамотные, трафаретные по тому времени стишки и был очень неплох в глубинно ощутимых им ролях, например в роли Незнамова. Безусловно талантливым был третий – Иван Панин, распевавший на сцене песенки и куплеты своего сочинения, приспособленные к ходким мотивам. В этих песенках он чутко и остро реагировал на окружающее, гармонично чередовал добродушный юмор и злую сатиру, выполняя функции лагерного Зоила или “соловецкого Беранже”. С цензурой он мало считался, дополняя проверенные тексты экспромтами и импровизациями. Иногда его сажали в карцер, но долго не держали, т. к. его сценический жанр был по нутру самим тюремщикам и главным постоянным его заступником был комсостав Соловецкого особого полка. Он совпадал с культурным уровнем командиров и их запросом к сцене. – Ишь, с... с..., как продергивает! С песком чистит! Успех Панина был неизменен, и даже в серьезно выдержанных концертах, после Чайковского и Бородина, комсостав СОП категорически требовал Панина, который был всегда тут же, под рукой, и всегда с обновленным репертуаром. Он был “премьером” “Своих”, но их действительным художественным достижением был прекрасный хор в 150 чел., созданный и обученный бывшим регентом Императорского конвоя глубоко музыкальным старым казаком. Этот хор и выделяемые им трио, квартеты и секстеты давали широкий и красочный репертуар русских народных, а тарже арестантских и каторжных песен. ХЛАМ и “Свои” просуществовали до 1927 г. Окончательно оформившийся концлагерный социализм смел их со своего победного пути. Слушая песни “Своих”, Глубоковский и я заинтересовались “блатным” языком и своеобразным фольклором тюрьмы. Мы собрали довольно большой материал: воровские песни, тексты пьесок, изустно передававшихся и разыгрывавшихся в тюрьмах, “блатные” слова, несколько рожденных в уголовной среде легенд о знаменитостях этого мира. Некоторые песни были ярки и красочны. Вот одна из них: Шли два уркагана С одесского кичмана [7], С одесского кичмана на домой. И только ступили На тухлую малину, Как их разразило грозой... Товарищ, миляга, Ширмач и бродяга, — Один уркаган говорит, — Судьбу свою я знаю, Что в ящик я сыграю, И очинно сердце болит... Другой отвечает: И он фарт свой знает, Болят его раны на груди, Одна затихает Другая начинает, А третья рана на боке... – Товарищ, миляга, И я – доходяга, Зарой мое тело на бану! Пусть помнят малахольные Легавые довольные Геройскую погибшую шпану! Не напоминает ли текст этой песни “Двух гренадеров”, отраженных в кривом зеркале романтики уголовного мира? На свою работу мы смотрели, как на фиксацию живого фольклорного материала для будущего исследователя. Издательство УСЛОН, о котором я рассказываю в дальнейшем, выпустило эту книжку страниц в сто тиражом в 2000 экз., и она попала в магазины ОГПУ на Соловках, в Кеми, на другие командировки, даже в Москву. Тут получился неожиданный, но характерный для того времени анекдот: издание было очень быстро раскуплено. Материалы по фольклору разбирались как песенник, сборник модных в то время (да и теперь в СССР) романсов... Позже советское кино построило на том же материале имевший большой успех фильм “Путевка в жизнь”. Но 12 обязательных экземпляров, рассылавшихся издательством УСЛОН по закону в главные книгохранилища Союза, несомненно, дошли по назначению и наш труд даром не пропал.

Глава 10.

ПОД ОХРАНУ ДЬЯВОЛА

Яшке Цыгану досталась в тот день легкая работенка. Пофартило. В лес не погнажи. Грузин-нарядчик, пробежав глазами по неровной шеренге, поманил сначала пальцем сотрясавшегося в припадке кашля Мерцалова, а потом остановил свой начальнический взгляд на “колесах” [8] Цыгана. Эта принадлежность его туалета действительно заслуживала внимания. В очень далеком прошлом ботинки Цыгана, несомненно, служили какому-нибудь лихому форварду, о чем свидетельствовала сохранившаяся на одном из них предохранительная резиновая накладка, но в

настоящее время подошва одного полностью отсутствовала, а у другого не хватало верхней части носка. Эти технические неполадки, видимо, не смущали теперешнего владельца ботинок, а, наоборот, будировали его творческую мысль. Подошву заменяла доска, вроде короткой лыжи, тщательно, даже элегантно прикрученная сложной системой обрывков электропровода, а из недостающего носка торчало подобие гигантской груши, набитой бумагой. Сам Цыган не только не жаловался на дефекты своей обуви, но явно гордился своим творческим достижением, лихо прищелкивая лыжей о плиты пола. Он был вообще оптимистом. Это-то, вероятно, и вызвало сочувствие строгого администратора и, хотя многие были обуты еще хуже, он крикнул: – Эй, ты, франт кривой! Топай сюда! Сдав партию лесорубов конвою, грузин повел Цыгана и Мерцалова в подвал под бывшей монашеской! кухней и указал: – Очищай помещение! Доски и что подходящее сюда складывать, а мусор туда валить. Блатная работа. Он был прав. На дворе стоял трескучий мороз, а в подвале было тихо и тепло. От Мерцалова было мало толка. Сухой, удушливый кашель карежил его хилое тело, как огонь костра сухую бересту. – Ты, доходяга, хоть доски-то из угла отваливай помалу, – покрикивал на него Цыган, – тяни на себя! Стой! Это что за хреновина? Под досками, в гуде обломков тускло поблескивало что-то непонятное. Вытащили, осмотрели. Вроде фонаря с разноцветными стеклами, укрепленного на большом металлическом держаке. Да и сам фонарь из металла... – Может “рыжий”? [9] Монахи богато жили... Цыган поколупал пальцем дверцу фонаря. – Не! Не “рыжий”! Видишь, ржавь зеленая въелась. Однако, работа тонкая, узорная. Клади в сторонку, там разберем. При дальнейших раскопках нашли другой, парный к первому. Потом вытащили что-то вроде знамен с изорванными ветхими полотнищами, а на полотнищах – образа. Цыган всесторонне обдумал положение. Затырить [10], конечно, возможно. Но какой от того “фарт”? Какому чорту эти фонари нужны? Выгоднее доложить по начальству: может и наградят? А начальство, в лице Барина, уже само входило в подвал. – Клад нашли, гражданин начальник, – разлетелся к нему Цыган, – вот посмотрите, какие финемоны... – Цыган любил умные слова. – Барахло... Принадлежности культа, – ткнул ногою хоругви Барин, – ты, однако, посматривай. Может и что путное попадет. Всё возможно. – Путному-то мы и без тебя место найдем, – подумал Цыган. – Будьте благонадежны, гражданин Барин, не упустим, – добавил он вслух, – а вы прикажите меня к этой работе прикрепить. Уж я!.. – Ладно! Ты и отвечать будешь. Как фамилия? Стоя в очереди за тресковым борщом, Цыган патетически ораторствовал о своей находке, давшей ему в результате легкую работу в тепле. Среди слушателей был доцент П-й, историк, уже выпустивший тогда одну интересную работу с предисловием академика Платонова. Наскоро проглотив свою баланду, он побежал в подвал, торопясь побывать там за время перерыва, а вечером в “Индийской гробнице” состоялся военно-операционный совет избранных. – Светильники очень тонкой художественной, вероятно, итальянской работы. Вместо стекол – толстая цветная разрисованная слюда. Историческая ценность их несомненна. Очень интересны и хоругви. Вероятно, XVII-й век. Дело в том, что подобные находки, безусловно, будут повторяться. Ведь расхищены главным образом только золото и серебро. Надо добиться сбора и охраны этих ценностей, создать нечто вроде музея, – говорил П-й. – Хватил! Это на Соловках-то музей! – Да еще религиозный! Невозможно! В углу сидел Б. Емельянов, поэт-фокстротист, молчаливый, долговязый и довольно нескладный парень. Остротой ума он не отличался и поэтому часто служил мишенью для очередного розыгрыша, но именно ему принадлежала ответная реплика: – Религиозный – невозможно, а антирелигиозный – вполне возможно. Мы поняли не сразу, а лишь после пояснения: – Дело не в вывеске, а в спасении ценностей и, поверьте, что под антирелигиозной вывеской они целее будут! Загорелся по русскому обычаю спор. Нашлись сторонники “чистых риз”, возмущенные помещением святынь “под защиту дьявола”, но точка зрения здравого смысла восторжествовала. – Быть или не быть? Спасение “под печатью антихриста” или неминуемая гибель? – Только вот кого в заведующие подsunуть? Нужно умно выбрать... Из нас никто не годится. Эйхманс никому не поверит. – Ваську Иванова, – безапелляционно решил Миша Егоров, – самый подходящий человек. – Безбожника? Расстригу? – Безбожника?! – огрызнулся Миша. – Это для всех вас он безбожник, а я с ним три месяца в одной келье прожил... Как только свет потушат, Васька под одеялом креститься начинает и молитвы шепчет... В белые ночи всё видно! Безбожник! Много вы знаете!.. Васька Иванов был одной из колоритнейших фигур каторги. Я не видел более безобразного по внешности человека: ненормально низкого роста, почти карлик, кривоногий, с безобразно отвисшей нижней губой и огромными, торчащими, как крылья нетопыря, ушами он напоминал одну из страшных химер Нотр Дам. К тому же он обладал неприятнейшим, громким и визгливым фальцетом. На Соловках Иванов выполнял обязанности антирелигиозного лектора, и, слушая его безграмотные выкрики, шпана резонировала: – За то Васька Бога обидеть старается, что Бог-то его крепко обидел... Невежественен он был до предела. Даже пресловутый “учебник” Ем. Ярославского он ухитрился перевернуть так, что Когану делалось стыдно. – Ты, Васька, ближе к современности держись, – говорил он, – нечего там об Озирисах да Изидеях распространяться... Свои лекции Иванов начинал всегда одним и тем же красочным анекдотом: – Наполнен, – визжал он, – взял подозрительную трубку и стал смотреть на небо. Где Бог? Нет Бога! Лаплас! – позвал он своего придворного астронома. – Ты тридцать лет смотришь на небо, видел ты Бога? До ареста Василий Иванов был монахом. В тюрьме снял постриг и письменно отрекся, но всё же получил три года и теперь лез из кожи ради сокращения срока. Вот этого-то субъекта прочил Миша в хранители соловецких святынь, реликвий древностей. И не ошибся в своем замоскворецком трезвом расчете. С Коганом мы говорили наутро прямо и откровенно, лишь с упором не на религиозную, а на культурную ценность памятников. Он же говорил в верхах может быть по-иному, но как бы и чем бы он там ни аргументировал создание Соловецкого антирелигиозного музея, таковой был не только разрешен, но получил целиком в свое распоряжение неразрушенную домовую церковь соловецкого архимандрита и его палаты. Вскоре был утвержден штат постоянных работников музея и ему было предоставлено право реквизиции всех материалов, признанных исторически ценными. Это было особенно важно: ретивые хозяйственники уже на

многое наложили свою руку; например, мастерская музыкальных инструментов забрала себе остатки замечательного пятиярусного иконостаса Преображенского собора для выделки гитар и балалаек из выдержанного веками дерева его икон. Много другого ценного успели прибрать к рукам хищники и невежды с дипломами высших технических учебных заведений. Васька оказался незаменимым в сборе расхищенного. Руководило ли им желание выслужиться или что другое, я не берусь судить, но он ругался, визжал, плевался, бегал жаловаться начальству в борьбе за каждый обломок разрушенного и поруганного величия, за каждый клочок древнего великолепия... Он, как Плюшкин, тащил к себе всё без разбора, и музейным специалистам, отыскавшимся в бесконечном разнообразии соловецких профессий, работы хватало. А специалисты выныривали совсем неожиданно. Среди безнадежных инвалидов нашелся купец-старообрядец Щапов из Нерехты или Кинешмы, глубокий и тонкий знаток русской иконографии. Над клочками и обрывками рукописей корпел доцент П-й; бронзу, резное дерево и вышивки определял и классифицировал известный в Москве комиссионер-антиквар, попавший на Соловки за продажу иностранцам какой-то редкой коллекции фарфора, собранного несколькими поколениями старомосковской барской семьи. Ценности всех видов лились в музей беспрерывным потоком. В мусоре одного из подвалов нашли два окованных медью сундука с хозяйственными записями XVI 1-го века. На основе их доцент П-й воссоздал яркую картину экономики Беломорья того времени, почти полностью бывшего вотчиной мощного, культурного и широко прогрессивного в своем хозяйстве монастыря, лозунгом которого были слова: – В труде спасаемся! Эта работа была напечатана в журнале “Соловецкие острова”, и некоторые проблемы экономической деятельности монастыря были учтены и использованы первым организатором концлагерной принудилки Н. А. Френкелем при освоении Колы, Сороки, Кемского берега и Печеры. Монахи, уходившие в Валаам обозом и пешком, не могли взять с собой и сотой доли богатейшей соловецкой ризницы, накапливавшей свои ценности со времен Марфы Посадницы. Грабители из Архангельского совдепа хватили только пригодное для быстрой и легкой реализации. Достаточно было и такого. Пожар коснулся ризницы лишь слегка, и множество облачений из старинной венецианской парчи, пелен, платов, покровов на Плащаницу, вышитых теремными затворницами, боярышнями и великими княжнами московскими, сохранились. Они поступили в фонд музея, и часть из них, как я слышал потом, была увезена в Москву и, вероятно, распродана. Запасы нешитой новой фабричной парчи были переданы театру и из них сшили богатейшие костюмы для постановки “Бориса Годунова” Пушкина, который шел на Соловках в 22-х картинах, всего лишь на две меньше, чем в Художественном театре. Потом в них играли “Царя Феодора Иоановича”, “Девичий переполох” и “Василису Мелентьеву”. Найденные Цыганом светильники оказались флорентийской работы, они были подарены монастырю папой Иннокентием (каким по счету – не помню). Схожие с ними литые факелы – подарком Венецианского Дожа. Монастырскую библиотеку разыскать не удалось. Установили, что рундук с грамотами Новгородских посадников, Московских царей и, вероятно, с другими важнейшими документами архимандрит увез с собой, а остальные рукописи и книги были зарыты или замурованы, но где – на острове знал это лишь один из оставшихся иноков – отец Иринарх. Да и знал ли? Как ни пытались выведать тайны от этого простоватого с виду, словно топором высеченного, инока – не выдал! Эйхманс, сам увлекшийся кладоискательством, поил его до умопомрачения и даже на самолете катал. Любил выпить отец Иринарх, но и выпив сверх меры, молчал. Теперь он, вероятно, умер или удален с острова, и навек погибли для потомства ценнейшие уники. Судя по найденным обрывкам описи (печатное ее издание, выпущенное, кажется, Казанской духовной академией, было, как видно, далеко не полным), на Соловках хранились уникальные старообрядческие рукописи, часть которых была полемикой склонных к древнему благочестию соловецких старцев с новаторами никонианами. Хранились они, конечно, под спудом и, вероятно, потому не вошли в напечатанный каталог. Но в ризнице отыскался рукописный Апостол, по преданию переписанный царевной Софьей. Он был переслан в Москву для точного определения. Я помню его изумительные заставки и узоры титульных букв. Кто выводил их золотом, лазурью и киноварью? Неужели сестра, достойная своего великого брата, была и талантливой художницей? Наибольшее количество религиозных, художественных и исторических ценностей было, вероятно, скрыто в перешедшей под охрану музея монастырской “рухольной”. Эта “рухольная” представляла собою большой сухой подвал, почти доверху заполненный складывавшимися туда в течение веков иконами. Монахи говорили, что туда убирались образа из церквей и часовен “по древности”, т. е. закопченные, потрескавшиеся, с неразличимыми уже начертаниями, но доцент П-й нашел указания и на поступление туда икон, изъятых по постановлениям соборов, вплоть до Стоглавого, по решениям Синода и из закрытых старообрядческих молелен и скитов. Подтверждением тому был часто попадавшийся образ “Крылатого Предтечи”, иконописный канон которого был запрещен еще в XVII веке. Сюда же попали, вероятно, и старописные иконы существовавшей при монастыре еще до Никона иконописной мастерской, снятые при “замирении” отколовшегося от московской патриархии и боровшегося с ней около 15-ти лет монастыря. Ознакомиться хотя бы поверхностно с богатствами “рухольной” за время пребывания моего на Соловках не удалось. Единственный работник иконографического отдела музея старик Щапов был очень внимательным и точным исследователем. Он не довольствовался внешним осмотром, но проверял и тайны древнего мастерства: состав красок, способ полировки и грунтовки дерева и т. д. Тщательность его работы отнимала много времени, и ему удалось обследовать лишь внешнюю, сравнительно новую часть груды икон в рухольной. Можно предполагать, что главные ценности таились в ее недрах. Многое можно было бы написать еще о богатствах соловецкого антирелигиозного музея. Что из того, что над ними были вывешены пошлые и глупые надписи? Эти куски картона сгниют, а спасенные сокровища, Бог даст, останутся и снова, освященные и обновленные, послужат прославлению имени Господнего. Верю свято и нерушимо, что отступник, богохульник и лжец был тоже орудием в руке Его, атомом непостижимой для нас премудрости, и за спасение, за честь хранения вековых святынь России простятся грехи и грешки, сотворенные растрепанным заблудшим иноком Василием в его

нишей земной и, несомненно, страдальческой юдоли.

Глава 11.

ПТИЦА-ГАГА И КРЫСА-АНДАТРА

– У меня на Соловках любой специалист найдется, – говорил Эйхманс, своеобразно гордившийся населением своей сатрапии. Он был прав. Кого только не было на Соловках того времени! Какие только профессии, знания, а порой и таланты не таились в среде серого, вшивого, сбитого в густое человеческое месиво населения острова. От командующего армией до исключительного по ловкости рук карманника, от дирижера симфонического оркестра до дрессировщика охотничьих собак. Был и такой – польский шляхтич, барзо гоноровый пан, презиравший все другие виды работы. К чести Эйхманса надо сказать, что до оформления Н. А. Френкелем системы социалистического концлагерного рабства (до 1926/27 гг.) он легко предоставлял всем желавшим и умевшим работать возможность развития их инициативы в любой области труда. Даже пан-шляхтич нашел себе применение, став егерем того же Эйхманса и воспитателем охотничьих собак для магнатов ОГПУ. Позже он был переведен для той же работы в одном из огромных охотничьих поместий этого учреждения. С одной из первых партий 1924 г. на остров прибыл учитель зоологии одной из станичных кубанских гимназий казак Некрасов. Ничем особым он не блистал, был рядовым провинциальным учителем, но свой предмет любил и не по-книжному, не схоластически, а живо, страстно, пламенно, тесно связывая теоретическую премудрость с ее основой – жизнью животных. Случайно он попал на отдаленную от кремля командировку, вернее наблюдательный пост охраны на побережье. В этом глухом углу острова гнездились много гаг. Некрасов набрал птенцов и приручил их, одомашил, как он говорил. Статью о своем опыте и о возможных выгодах его промышленного использования он поместил в только что начавшей выходить тогда еженедельной печатной газете “Новые Соловки”. Потом дал туда же и другую с очень смелой и, быть может, необоснованной! гипотезой о происхождении соловецких “лабиринтов”. Эти “лабиринты” нередки на побережье и островах! Белого моря. Они представляют собою скопление поставленных на ребро каменных плит, образующих огороженные “закутки”. Некрасов предположил, что эти циклопические лабиринты были “скотными дворами”, в которых доисторические обитатели севера содержали живых тюленей в тот период, когда их стада откочевывают в просторы морей. Тюлени были главной пищей обитателей Соловков того времени. Эти статьи были замечены. В результате Некрасову были предоставлены широкие возможности для развития опыта превращения гаг в домашних птиц, и под его руководством в бывшей летней резиденции архимандрита, в трех километрах от кремля, на берегу прозрачного озера, был организован “Соловецкий биосад”. Некрасов любил, хотел и умел работать. Умел он и “попасть в тон”, заинтересовать кого надо своей работой. Он предложил Эйхмансу разводить на Соловках ценную по своему меху американскую, вернее, нью-фаундлендскую крысу ондатру, а также и чернобурых лисиц. Эйхманс “клянул”, как обычно “клюют”, вернее “клевали” большевики на всё новое, неизвестное. Эта их психологическая черта верно и правдиво изображена в рассказе “Роковые яйца” безвременно вычеркнутого из русской литературы талантливого М. Булгакова. Не останавливаясь перед затратами, на Соловки были доставлены американские крысы и сибирские чернобурки. На Соловках же были переведены и изданы несколько брошюр об американских пушных питомниках и заложен первый в СССР питомник пушных животных. Я слышал, что позже обезличка оформившейся социалистической принудилки стерла соловецкий биосад, как ненужную мелочь, но идея, впервые в России осуществленная соловецким каторжником Некрасовым по его воле и инициативе, нашла дальнейшее развитие: под Москвой и в других местностях Европейской России, а еще более в Сибири, функционируют питомники не только пушных животных (лис, куниц, соболей), но и “лечебных” маралов, рога которых (панты) богаты содержанием гормонов. К 1927 г. некрасовский питомник разросся в небольшую биостанцию, которая была связана с Академией Наук и выполняла ее задания по изучению флоры и фауны Белого моря не только в его верхних слоях, но проникала и в таинственные глубины, изучая жизнь в водах с температурой ниже нуля. Среди работников биосада были и люди науки, были и просто любители этого дела. В числе этих последних мне запомнилась одна необычная, возможная только в СССР, фигура сосланного на Соловки вместе с женой бразильского консула в Египте синьора Виоляро. Его история исключительная даже в пестроте соловецкого калейдоскопа. Богатый гациендер, молодой дипломат, попав в Каир, женился там на русской эмигрантке княжне Чавчавадзе. Но мать его молодой жены не смогла во время эмигрировать и осталась в СССР. Попытки вырвать ее легальным путем не привели ни к чему, и пылкий бразилец, готовый на всё ради своей красавицы-жены, рискнул на авантюру. Он, надеясь на свой дипломатический паспорт, приехал в СССР вместе с женой и начал поиски, в результате которых очутился на Соловках. Режим по отношению к нему был смягчен. Он единственный из ссыльных жил вместе с женой и не нес работ. Возможно, что помогали большие деньги, которые, высылались ему из Бразилии (на руки он их, конечно, не получал). Его жена работала в биосаду добровольно, ухаживая за гагачьими птенцами. Она встает в моей памяти, окруженная их пискливой толпой, а он – созерцающим эту идиллию, стоя в тени темной ели в белой широкополой шляпе, элегантнейшем пиджаке и безупречно отглаженных белых брюках. Каких только неожиданностей, несуразностей, нелепостей ни встречалось на Соловках в те неустойные годы! Научная работа соловецких каторжников не ограничивалась музеем и биосадам. Одним из интереснейших персонажей каторги был 84-летний профессор Кривош-Неманич. Вся его долгая жизнь была сплошным, жадным и страстным накоплением всевозможных знаний. Родом серб, он знал около 30 языков, в том числе древне-египетский, древнеарийский и арамейский. Его переводы с древне-египетского печатались в специальных журналах. Изучил он, кроме того, ряд наук, которые многими берутся в кавычки: магию, хиромантию, систематику шифров. В этой последней он достиг

больших знаний и успешно выполнял специальные работы по зашифровке и расшифровке еще при императорском правительстве. Пришедшие к власти большевики также воспользовались его знаниями в этой области. Я не знаю, добровольно или по принуждению он работал у них, но скоро стряслась беда. Он был арестован, вероятно, вследствие того, что слишком многое узнал, и получил 10 лет Соловков. – Спасибо, – сказал всегда любезный и остроумный старик, – я предполагал умереть через 2-3 года, но теперь считаю себя обязанным дожить до 94 лет, выполняя предписание советского правительства. На Соловки он попал с особым “паспортом”, предписывавшим предоставление ему сносных условий жизни, но и строжайшую слежку за ним, даже частичную изоляцию его от других каторжан. Эйхманс, пораженный объемом и разнохарактерностью знаний проф. Кривоша, спросил его: – А метеорологию вы знаете? – Интересовался, – ответил тот, – кое-что помню... – Назначаетесь заведующим метеорологической станцией. Метеорологическая станция на Соловках была создана монахами и успешно обслуживала монастырскую навигацию и рыболовную флотилию. Но при разгроме монастыря советами она погибла. Кривош-Неманич восстановил ее и заново оборудовал. Живя при ней в отдельном доме, в сравнительно хороших условиях, он непрерывно находился под наблюдением. Получая пропуск в кремль, он ходил туда в сопровождении сексота, которого, между прочим, великолепно знал. Доклады проф. Кривоша в зале соловецкой библиотеки, которые он делал там на самые разнообразные научно-популярные темы, всегда собирали много слушателей. И не только из среды интеллигенции. Он был превосходным “легким” лектором, просто и занимательно излагавшим подчас сложные вопросы науки. Но таинственный корень славы “тридцатизычного” профессора крылся в ином – в его познаниях в области хиромантии. Говорили что он за несколько месяцев до расстрела предсказал “смерть от пули” первому властителю Соловков – Ногтеву. На мои вопросы об этом сам Кривош всегда отшучивался, не говоря ни да, ни нет. То, что он предрек автору этих строк (между прочим предстоящую эмиграцию и даже жизнь в Италии, о чем я не смел, конечно, и мечтать на Соловках), пока сбывается. Сам он к этой науке относился вдумчиво и серьезно, не впадая в крайний мистицизм. Упомянув о Соловецкой библиотеке, я должен сказать несколько слов и о ней. К 1927 г. ее фонды превышали 30.000 томов. Их основой были книги, выделенные библиотекой Бутырской тюрьмы, но в 1925 г., во время бурного расцвета Соловецкой каторжной культуры, захватившего и начальника лагеря Эйхманса, он, по настояниям Когана, потребовал от НКВД присылки большого количества книг, и из Москвы прибыло несколько реквизированных частновладельческих и коммерческих библиотек. Цензура была возложена на того же Когана, но он, воспитанный еще в старых традициях революционного подполья, провел ее более чем поверхностно, выделив в особый закрытый фонд лишь несколько десятков томов, выдававшихся всё же по особому разрешению ВПЧ. Таким образом в Соловецкой библиотеке можно было получить книги, уже изъятые на материке: “Бесы” Достоевского, полное собрание статей К. Леонтьева, “Россию и Европу” Данилевского и др. Заведывал библиотекой бывший большевик и эмигрант царского времени Шеллер-Михайлов (Михайлов] – партийная кличка), по прозвищу “Соперник Ленина”, вероятно, первый из уклонистов. Вернувшись после февраля 1917 г. из Лондона в Россию и состоя членом РСДРП (б), он “разошелся во взглядах” по какому-то вопросу ни с кем иным, как с Лениным, и основал “свою партию”, в которую завербовал пять или шесть человек. Финал ясен. Все члены этой “партии” были арестованы и сосланы, но несчастье преследовало незадачливого “Соперника Ленина” и дальше. ГПУ не признало реальной его “партию” и направило его не к “политическим” – членам соц. партий, жившим в прекрасных условиях в Савватьевском скиту, а на общее каторжное положение, как каэра. Библиотечное дело он знал и вел его прекрасно. Дефектом соловецкой библиотеки было полное отсутствие в ней газет, которые (даже “Правда” и “Известия”) не допускались в лагерь по распоряжению Москвы. Сведения о происходившем в мире соловчане получали лишь по скудной информации еженедельной газеты “Новые Соловки”. При библиотеке был большой читальный зал. В нем ставились доклады, читались рефераты и бывали даже диспуты. Характер докладов был двойной: одни, читавшиеся раз в неделю, были обязательными, пропагандой на политические и антирелигиозные темы. Они бывали массовыми и слушатели на них выслались из рот принудительно. Другой разряд составляли доклады и диспуты на свободно избранные темы. На них шли без принуждения, и часто о них даже не оповещали, а лишь регистрировали темы в ВПЧ у Неверова. На эти доклады собирался лишь небольшой кружок интеллигенции. Темы избирались чаще всего научные или литературные, мало доступные массам. Для характеристики их назову цикл докладов по истории масонства, прочтенных профессором Макаровым (умер на Соловках), по истории Соловков – доцентом Приклонским, о сокровищах Эрмитажа – художником Бразом (зам. хранителя Эрмитажа), о литературе древнего Востока – профессором Кривош-Неманичем и т. д. Самым шумным и оживленным диспутом был имевший темой “Преступность в социалистическом обществе”. На нем выступили и интеллигенты, и марксисты, и шпана. Особенно ярким было выступление Б. Глубоковского, утверждавшего, что преступность в СССР растет, принимая бытовые массовые формы и разрушая этические основы общества. Это было в 1925 году, и дальнейшая советская действительность подтвердила положения Глубоковского, но на материке в то время подобное утверждение было бы оплачено автору... Соловками. На Соловках же оно сошло благополучно и вызвало сочувственные отклики каэров и уголовников. Парадоксальны и сумбурны были те годы на Соловках.

Глава 12.

“НОВЫЕ СОЛОВКИ” И “СОЛОВЕЦКИЕ ОСТРОВА”

Мысль о выпуске газеты на Соловках зародилась впервые в мозгу Н. К. Литвина, сменовеховца, в прошлом сотрудника какой-то крупной ростовской газеты, кажется, “Приазовского края”. Тогда он только что вышел из лазарета после тяжелой болезни и тихий, молчаливый, бродил, опираясь на палочку, по кремлевским дворам. Что

побудило его сменить вехи – не знаю. Он никогда и никому не открывал глубин своей души; рассказывал, что кружил по Балканам с какой-то труппой новоявленных артистов, был, видимо, удовлетворен своей работой, не голодал и вдруг... вернулся и, конечно, попал на Соловки, как бывший сотрудник Освага, чего он не скрывал. О своем плане Литвин не сказал никому из заключенных, а действовал в одиночку, по обычному пути – через Когана. Обстоятельства благоприятствовали, т. к. в то же время открылась и типография, организатором которой был контрабандист с десятилетним сроком, дельный и феноменально работоспособный Слепян из Себежа. Этот маленький, хлопотливый, невзрачный с виду еврей таил в себе хитрость Талейрана и выдержку Фабиуса Кунтатора. В Себеже у него была своя типография, служившая одновременно базой для переброски через границу крупных ценностей, главным образом золота. Она была на подозрении и обыскивали ее каждую неделю, но всегда безрезультатно. Слепян сплавлял золото в слитки, подобные по форме слиткам типографского металла, покрывал поверхность их этим металлом и держал на самом видном месте. – Бывало так, – рассказывал он, – закончат обыск, протокол пишут, а я эти же слитки на их бумагу кладу, чтобы не разлетались... Но всё же попался. Кто-то из соучастников выдал его. На Соловках он развил ради сокращения срока бешеную деятельность, создав образцовую типографию. Еженедельная печатная газета была разрешена. На ней не стояло подписей ни редактора, ни издателя, но фактическим редактором был назначен П. А. Петряев, секретарем Тверье, цензором комиссар Соловецкого особого полка Сухов. Каждый из них был колоритен для Соловков того времени. Гвардии капитан Павел Александрович Петряев не принадлежал к преобладающему типу родовитой и богатой гвардейской аристократии. Средств у него, судя по его рассказам, не было, и служба в гвардии была лишь ступенью карьеры. Карьеризм, видимо, толкнул его и к вступлению в 1918 году в войска советов, где он быстро выдвинулся вплоть до поста командующего XIII советской армией, действовавшей на северо-западном фронте. С переходом на мирное положение он занял место инспектора артиллерии, но скоро был съеден. Говорили, что он был связан с павшим тогда Троцким. Вполне возможно, но утверждать не берусь. На посту редактора каторжанской газеты, а позже и ежесемейника он был более чем на своем месте. Прекрасно знавший и тонко чувствующий русскую литературу, всегда ровный, выдержанный, тактичный и всегда ясно разбиравшийся в столь изменчивой на Соловках расстановке сил, он умел легко и незаметно обходить все подводные камни, мягко и эластично устранять препятствия. Он никогда не шел напролом, но почти всегда достигал цели, тонко учитывая психологию противника и ловко маневрируя. Несомненно, он ошибся, став военным. Его призванием была дипломатия. Внутренняя жизнь этого человека была от нас скрыта. Мы не знали даже, коммунист он или каэр. Изящно фрондируя, остроумно отшучиваясь, он отбивал все попытки проникнуть в его “нутро”, был очень отзывчив к чужому несчастью, и я не помню случая, когда бы он отказал кому-нибудь в помощи и заступничестве, даже рискуя нанести ущерб своему влиянию. Официальная цензура не стесняла Петряева, ведь цензором был Сухов из сверхсрочных вахмистров, прошедший какую-то совпартшколу. Коммунистическая обработка не могла вытравить в душе этого служаки крепких устоев, заложенных в нее учебной командой полка императорской армии. Теперь на Соловках бывший вахмистр Сухов был военкомом полка, а Петряев, бывший капитан гвардии и революционный командарм, – каторжником, но в подсознании Сухова Петряев оставался гвардии капитаном, да еще, как-никак хоть и революционным, но всё же командармом, генералом. Военком охраны явно робел перед каторжником и безоговорочно подписывал к печати все предложенные Петряевым корректуры, иногда даже не читая их. Но и при внимательном чтении разобраться во многом ему явно было не по силам. Совсем иным был секретарь редакции чекист-коммунист Тверье, мрачный, озлобленный неудачник. Будучи посланным для агитации в Германию, он был там разоблачен, жестоко избит студентами и брошен в сток нечистот. Такие провалы в ГПУ не прощаются: последовали Соловки, но и здесь за какой-то, очевидно, серьезный промах он ухитрился попасть на сутки в знаменитую “Аввакумову щель” – каменный мешок в кремлевской стене, где нельзя было ни стоять, ни лежать. Придирчивый, подозрительный Тверье (подлинная фамилия Тверос) был темным пятном редакции. К счастью, он оставался в ней недолго, т. к. был переведен в команду охраны в Кемь. После его перевода Петряев свел должность секретаря к чисто технической работе и взял на нее полную противоположность Тверье – милого, приветливого и услужливого Шенберга. Он, как и Тверье, был евреем, но выросшим в богатой купеческой семье и получившим прекрасное воспитание. Трагическую роль судьбы, рока в его жизни сыграли... японцы. Шенберг был одним из немногих евреев-офицеров, произведенных при Керенском. Прекрасное знание французского языка и связи отца доставили ему командировку во Францию, где его и застал Октябрьский переворот. У милого, элегантного, прекрасно державшего себя Шенберга к этому времени в Париже была уже невеста-француженка. Ради получения гражданства республики Шенберг поступил с чином младшего офицера в колониальные войска и был назначен в Индокитай. Это было, кажется, очень трудно для русского. В Индокитае его постиг первый удар судьбы: он завел там любовницу-японку, которая оказалась шпионкой. Бедный Шенберг был не только изгнан из армии, но и из пределов Франции и ее колоний. . Куда? Скитаться бесприютным бродягой по Океании или рискнуть вернуться к оставленной в Москве семье? Не будучи ни в какой мере сменовеховцем (да и “вех”-то у него не было), Шенберг избрал второй путь и через Шанхай и Владивосток вернулся на родину, соблюдая все формальности и ничего не утаивая из своего прошлого. Первая встреча с ГПУ во Владивостоке прошла вполне гладко, и бывший офицер французских колониальных войск, получив все права гражданства РСФСР, поселился в Москве, где быстро нашел прекрасную службу – секретарем торговой миссии Японии. Это, конечно, стало известным и было учтено на Лубянке. Шенберг был вызван туда и принужден к слежке за своим принципалом. Новая “служба” повисла тяжким камнем на совести Шенберга. Избавиться от нее он не мог и пошел на компромисс, уведомив японца о произошедшем, а потом рассказал об этом кому-то из своих русских друзей. Результат этой наивности не заставил

себя ждать: высшая мера (расстрел) с заменой десятью годами концлагеря! Тайфуны Индийского океана сменились колючим соловецким норд-остом; банановые заросли джунглей – темными елями соловецкой дебри. Бродя в их сумрачной тишине, бедный Шенберг ронял слезы на письма сохранявшей еще верность ему парижской невесты, которые всё же доходили. Но парижанка никак не могла понять сущности перемены в жизни своего жениха и воображая, что он командует ротой какого-то советского пограничного полка, жертвенно предлагала ему соединиться даже там, во льдах ужасного русского севера... Жившему еще старыми традициями революционного подполья Когану хотелось сделать из “Новых Соловков” массовую газету соловецкой общественности, конечно, направленную по советскому руслу; то, что на материке было организовано в форме пресловутого рабкорско-сельскорского движения. Это было, конечно, невозможно. В газете сотрудничал лишь узкий кружок бывших профессионалов и научных работников. “Массы” откликались лишь со стороны своей худшей, наиболее аморальной части. Большинство поступавших со стороны писем и заметок были густо, до отвращения насыщены тем подхалимством, тою добровольно-принудительной ложью, которая теперь стала квинтэссенцией всей советской прессы. Повествовали о своем перерождении, перевоспитании и даже восхваляли прелести каторжного режима – “вкусный рыбный суп” и “веселую, здоровую работу”... На Соловках эта подлость имела некоторое оправдание: наивные авторы надеялись на сокращение срока, что для многих было спасением жизни, но ее фальшь была слишком очевидной и бесстыдной. Подобные заметки и письма неизменно летели в корзину. В возможность “перековки” не верил никто даже в среде чекистского начальства. О ней и не говорили. В те годы причудливого сплетения ушедшей в прошлое России с вторгавшейся в сознание советчиной еще жили остатки представлений о совести, о стыде, о личной честности даже в среде чекистов. Нач. адм. части Васьков, передавая Пётриву одну из таких заметок, направленную через адмчасть с расчетом на прочтение ее им, сказал: – Вот, возьми. Тут какая-то сволочь тебе врет... Но газету читали и даже покупали. Из тиража в 1000 экз. раскупалось и расходилось по подписке на дальние командировки около 100-120. Цена была 5 копеек в счет заборной книжки (на руки присланные с воли деньги не выдавались). Остальное шло на материк и там большинство подписчиков составляли родственники заключенных, желавшие узнать хоть по газете о жизни своих близких. Немного, конечно, они узнавали. На Соловках же читали прежде всего очень краткую информацию о жизни в СССР и столь же краткий обзор международного положения. Это понятно. Никаких, других газет не допускалось. Читали последнюю страницу, где была официальная часть: некоторые постановления коллегии ОГПУ и управления лагерей. Читали театральные рецензии и добродушные, мягкие фельетоны Литвина на местные темы. Во много раз ценнее и интереснее газеты был ежемесячный журнал “Соловецкие острова”. Он содержал 250-300 страниц убористого шрифта и мог быть смело названным самым свободным из русских журналов, выходявших в то время в СССР. Теперь мне ясны причины допущения этой свободы. Он был безопасен для большевиков. Его тираж в 500 экз. был весь в распоряжении ОГПУ. Пересылка журнала с острова на материк допускалась лишь по особым разрешениям, в то время как газету можно было посылать свободно. Но ОГПУ он приносил несомненную пользу. Во-первых, он осведомлял его (помимо воли и намерений авторов) о настроениях некоторых кругов русской, преимущественно московской, интеллигенции; во-вторых, был рекламным козырем в руках того же учреждения, которым оно оперировало, как доказательством гуманности соловецкого режима перед иностранцами, а главное в высших слоях своей же партии, где в то время была еще сильна оппозиция старых большевиков (Рязанов, Цюрупа, Красин, Томский и др.), относившихся отрицательно и к орудию Ленина – Дзержинскому и к истреблению им русской интеллигенции. Но тогда мы не знали этого и работали в журнале, упоенные возможностью хотя бы частичного проявления свободы мысли. Журнал выпускался солидно, даже щегольски, на хорошей бумаге, в строгой серой обложке, с заголовком по эскизу талантливого Н. Качалина. Он не только не имел провинциального вида, но внешне напоминал лучшие из старых изданий этого типа. Вышло его семь или восемь номеров. По содержанию он распадался на две части: художественную литературу и научно-краеведческую. Вторая была много обширнее первой. Художественная проза была бедновата. Шли рассказы Литвина, Глубоковского, мои... Стихов было больше. Евреинов, Бернер, Русаков, Емельянов, Акарский давали очень неплохую лирику, правдиво и искренно отражавшую соловецкие настроения. В стихах можно было сказать больше и неуловимо для цензуры, всё же выразить свои чувства. Соловецкие поэты это делали. На смерть Есенина “Соловецкие острова” отозвались целым циклом (около десяти) стихотворений различных авторов. В них звучала нескрываемая скорбь о безвременной кончине поэта и упрек его гонителям. Не сберегли кудрявого Сережу, Последнего цветка на скошенном лугу... На материке сделать этого не осмелился ни один журнал. Там поэты равнялись по хамской, циничной эпитафии Есенину, данной Маяковским. Интереснее был отдел воспоминаний. Мне запомнились мемуары генерала Галкина, последнего русского резидента при последнем хане Хивинском. Они проливали яркий свет на жизнь этой мало известной окраины России, этого нелепого пережитка азиатских деспотий... Многие вспоминали войну 1914-17 гг., и эти воспоминания, равно как и мемуары ген. Галкина, могли бы смело идти в любом из современных эмигрантских изданий. Прекрасные иллюстрации, главным образом зарисовки старых Соловков, давал художник Браз, получивший срок за протест против расхищения сокровищ Эрмитажа, в котором он заведывал одним из отделов. Вторая часть журнала – научно-краеведческая – заинтересовывала не только специалистов. Материалы по биологии, климатологии, океанографии и пр., конечно, мало кого, кроме них, интересовали, зато всё касавшееся истории Соловков находило читателя. Такого было немало. Сотрудники музея давали его в изобилии. Картины долгой и насыщенной творчеством жизни таинственного монастыря вставляли одна за другой: новгородские монахи-ушкунники, воинственные старообрядцы, выдерживавшие осаду стрельцов воеводы Мещеринова, ссыльные запорожские атаманы и даже некоторые декабристы, – все они прошли на страницах журнала, на фоне огромной

культурной и экономической работы, проводившейся четыреста лет монастырем, на пепелище которого были брошены последние могикане, мелкие осколки разбитой, поруганной русской культуры. Пустырь разоренного монастыря, угрюмая тишина северной дебри были ее последним приютом на родине казалось нам тогда... В детстве мне случилось однажды попасть на скотскую бойню. В одном из ее помещений я увидел груды внутренностей убитых животных. Безжизненно розовели легкие, белели связки кишок и между ними темнели комки сердец. С них стекала густая черная кровь... Сердца еще жили. Они пульсировали, сжимались, расширялись в неверном, порывистом темпе. Сила инерции уже отнятой жизни еще владела ими и заставляла их содрогаться. Одни уже замирали, другие еще работали вхолостую, вырванные, разобщенные с организмами, которым они служили, брошенные на грязный, залитый кровью пол. Такой же грудой вырванных из тела, но еще пульсировавших, кровоточивших внутренностей представляются мне Соловки 1923-27 гг. У выброшенных на эту всероссийскую свалку не было ни будущего, ни настоящего. Было только прошлое. И это безмерно мощное прошлое еще сотрясало уже обескровленные сердца. В этой беспорядочной груды валялись и туго набитые уже загнившей заглохенной пищей желудки. От них шел; удушливый смрад. Они были уже мертвы, а сердца еще жили... Однажды, глухую безлунной сентябрьской ночью я возвращался пешком с отдаленной командировки. Дорога шла лесом, и я сбился с тропинки. Пришлось идти наугад, путаясь в высоких папоротниках, спотыкаясь о бурелом и валежник. Пути не было, и я шел, уже не надеясь найти его до рассвета. Но вдруг впереди мелькнул отблеск какого-то луча. Я пошел на него, почти не веря, что это огонь в жилище человека. Он едва мерцал и порой совсем исчезал, скрытый ветвями ели... Лишь подойдя вплотную, я понял, что свет идет из крохотного оконца незаметной во тьме землянки. Я заглянул в него. Прямо передо мной горела лампада, и бледные отблески ее света падали на темный лик древней иконы. Ниже был виден ничем не покрытый аналой, а на нем раскрытая книга... Это было всё, и лишь присмотревшись, я смог различить склоненную пред аналоем фигуру стоящего на коленях монаха и рядом, на лавке, очертания раскрытого гроба. Я стоял у входа в сокровенный затвор последнего схимника Святой Нерушимой Руси. Войти я не посмел. Можно ли было нарушить своей человеческой нуждой в приюте смиренно-торжественный покой беседы молчаливика с Богом? До рассвета стоял я у окна, не в силах уйти, оторваться от бледных лучей Неугасимой лампады пред ликом Спасителя... Я думал... нет... верил, знал, что пока светит это бледное пламя Неугасимой, пока озарен хоть одним ее слабым лучом скорбный лик Искупителя людского греха, жив и Дух Руси - многогрешной, заблудшейся, смрадной, кровавой... кровью омытой, крещенной ею, покаянной, прощенной и грядущей к воскресению Преображенной Китежской Руси. Я знаю, что у многих, очень многих читателей возникает вопрос: Почему, на каком основании автор называет несколько десятков жалких, заморенных, голодных, искалеченных работников науки и искусства, брошенных на Соловецкую каторгу, последними носителями русской культуры? Ведь в то же время на всей территории СССР развертывался процесс грандиозного строительства, включавший в себя огромное количество творческих сил высокого напряжения? Как можно сравнить по объему и по результатам творческую работу этих сил с ничтожными усилиями жалкой кучки каторжников? Но бродяга, изгой, беглый раб, каторжник Сервантес узрел своими духовными очами и запечатлел словом образ Вечного Рыцаря, будучи в оковах, в тюрьме. Рухнула мощная империя, в пределах которой не заходило солнце, а рожденный в каземате Вечный Рыцарь всё так же бродит по миру, любит, страдает и борется, повергается во прах и снова восстает и снова устремляет свое копьё против злобных великанов и коварных чародеев Людей, государства, режимы сменяются, но он неизменен, ибо он - Дух. Сокровища человеческого духа, к числу которых принадлежит и русская культура, не поддаются ни физическим, ни математическим, ни иным, доступным человеку измерениям. Ничтожная лепта евангельской вдовицы превысила все сокровища храма. Слово, вдохнутое Богом, победило сильнейшую из империй, созданных человеком. Двенадцать галилейских нищих противопоставили свой Дух и излученную им мысль непреборимой силе непобедимых легионов - и победили их! Работа в области культуры ничтожной кучки русских интеллигентов на Соловках была действием Духа. Она была бескорыстна, стимулировалась только воля творивших ее, она была тяжелой, порою подвижнической! Подвигом было создание театра Сергеем Армановым, ничтожным в мастерстве сценического преображения, но великим в своей любви к нему. Подвижником был доцент Приклонский, кропотливо собиравший и склеивавший при свете копилки клочки древних разорванных записей... Прошли десятилетия, и многим казалось, что воля к личному подвигу сокрушена, растерта в прах тяжким жерновом социалистической обезлички. Казалось, что угасла приглушенной Неугасимая Лампада - душа России... Казалось и мне тогда... Но только казалось. Господь судил мне увидеть иное, о чем расскажу в конце этой книги.

Глава 13.

КАК ЭТО НАЧАЛОСЬ

В 1926 году пароход "Глеб Бокий", доставивший на остров разгрузочную комиссию во главе с Глебом Бокиным, привез в наглухо запертом трюме и небольшую партию новых ссыльных, среди которых был одесский контрабандист с десятилетним сроком Н. А. Френкель и сыпнотифозная вошь. Глеб Бокий, без подписи которого не обходился ни один смертный приговор коллегии ОГПУ, был убийцей многих тысяч. Сыпнотифозная вошь, занесенная в лагеря и до сих пор не переводящаяся в них, стала убийцей многих сотен тысяч людей. Натан Ааронович Френкель, которому суждено было стать оформителем и главным конструктором системы концлагерей страны победившего Социализма, может смело претендовать на звание убийцы многих миллионов. Было бы ошибкой назвать его автором, изобретателем системы социалистической принудилки. Эта система вполне закономерно и логично вытекает из самой доктрины социализма. Концлагеря ОГПУ лишь первичные ячейки, опорные пункты теперь уже

достроенного социалистического государства-концлагеря, в котором жизнь “свободного” гражданина отличается очень немногим от жизни концлагерника за проволокой. Он не был автором системы, но в его мощном, реалистически мыслившем мозгу отвлеченная и еще туманная тогда идея получила свои первые реальные практические формы. Он осознал, оформил ее и включил в действие. Соловки были первым опытом ее широкого применения. Большинство коммунистических карьер начинается быстрым взлетом ad astra – к звездам и очень нередко заканчивается еще более стремительным падением и пулей в подвале всемирно известного учреждения. Карьера Натана Аароновича Френкеля развернулась в обратном порядке: от более чем вероятной пули в подвале – к звездам, в системе которых он и поныне блистает в составе того созвездия, которое чуть было не прервало не только его карьеру, но и жизненный путь. Расцвет НЭП-а в Одессе был особенно пышен. Город, помнивший блаженную для дельцов эпоху порто-франко, город, насчитывавший даже в царское время, более десяти тысяч зарегистрированных уголовников всех видов и специальностей, ожил и возродился в родной ему стихии. Шибберство, спекуляция и контрабанда развернулась в нем тогда в невиданных для России масштабах. . Еще молодой в то время коммерсант, природный одессит Натан Ааронович Френкель разом понял и оценил “дух эпохи”, наступившей, как обещал сам Ленин, “всерьез и надолго”. Понявши это, Френкель сделал “оргвыводы” и приступил к их широкой реализации – образовал трест контрабанды с размахом поистине американским. Несколько пароходов, целый флот парусников и катеров этого треста совершали правильные рейсы между советскими портами Черного моря, Румынией и Турцией. “Дело” велось открыто до бесстыдства. Всевозможные товары, начиная с шелковых чулок и кончая валютой всех стран, находили себе место в трюмах этой флотилии и чемоданах доверенных агентов Френкеля. Пограничная охрана, уголовный розыск, суды и даже само ГПУ было закуплено. Френкель был коммерсантом действительно большого стиля и человеком своей эпохи в истинном ее значении. История любит иногда подшутить. На этот раз ее шуткой была служебная командировка в Одессу члена коллегии ОГПУ Дерибаса, фамилию которого шпана считала остроумно придуманным псевдонимом “Дери-бас”, что на блатном языке означает: ори во всю мочь, нагло и нахально. Но эта фамилия была подлинной и лишь несколько иначе писалась до революции – де Рибас, с добавлением звучного титула. Носивший ее чекист был прямым потомком нашедшего новую, более чем милостивую к нему родину в России французского эмигранта, аристократа, ближайшего сотрудника строителя Одессы герцога Ришелье, главная улица которой носила тогда еще его имя. Последний из рода де Рибас был чрезвычайно ярко выраженным вырожденцем. Очень маленького роста, почти карлик, с огромными оттопыренными ушами, шелушащейся, как у змеи, кожей и отталкивающими чертами лица, он вызывал среди окружающих чувство отвращения, гадливости, смешанной со страхом, какое испытывают обыкновенно при взгляде на паука, жабу, ехидну... Он знал это и не старался замаскировать своего уродства, но, наоборот, бравировал, подчеркивая его крайней неопрятностью, бесстыдством, грубостью и презрением к примитивным правилам приличия. Столь же уродлива была и его психика (сказать – душа было бы ошибкой. Вряд ли у него была таковая). Дерибас был более, чем обычным садистом: он был каким-то концентратом зла всех видов, “Лейденской банкой”, заряженной дьяволом в аду. Он ненавидел всё и всех и не переносил улыбки довольства даже на лицах своих ближайших сотрудников и сотоварищей. Дерибас завидовал всему миру в целом и каждому его атому в отдельности. Он никогда не пропускал возможности причинить боль или иной вред каждому, даже бывшему в его лагере. Если коллегию ОГПУ считать ножом гильотины революции, то он был острием этого ножа. Его ненавидели и боялись даже члены этой всемогущей коллегии. Шатобриан или Лермонтов нашли бы в нём готовый прототип выразителя демонизма, который они безуспешно искали среди людей. Именно эти качества Дерибаса и приковали к нему внимание Держинского в первые годы чрезвычайки. Создатель Чека, вернее, исполнитель этого задания Ленина, оценил по достоинству редкостное внешнее и внутреннее уродство этого человекообразного существа и быстро возвысил его до члена коллегии. Такие люди были там нужны, и Держинский не ошибся в своих расчетах: Дерибас оказался даже “полезнее”, чем ожидал этого сам главный палач. В силу своей ненависти ко всему живущему, Дерибас был на самом деле... неподкупным. Ненависть превышала в нём все другие чувства, желания и страсти... Прибыв в Одессу с самыми широкими полномочиями, Дерибас, конечно, тотчас же узнал о контрабандном тресте Френкеля. Знал, конечно, и Френкель о полномочиях Дерибаса. Игра началась. Френкель по происхождению был евреем, но не имел ничего общего с крупной и мощной в Одессе еврейской общиной, руководимой чтимыми раввинами. Он был циничным и откровенным атеистом, поклонялся лишь золотому тельцу и щедро рассыпал подачки нужным ему людям, но ничего не давал ни на синагогу, ни на еврейскую благотворительность. Раввины были настроены против него. Эту историю рассказывал мне здесь же, на Соловках, также еврей, сосланный туда одесский чекист среднего ранга. От него я и узнал подробности о начале деятельности Френкеля. Именно этот антагонизм между Френкелем и еврейской общиной помог Дерибасу одержать победу. Борьба с Френкелем в тот период была нелегка даже и для такой крупной фигуры, как Дерибас, ибо у Френкеля были закупленные им “свои люди” в составе самой коллегии. Можно предполагать, что одним из них был возвышавшийся в то время Ягода, который позже, уже во втором периоде карьеры Френкеля, явно ему покровительствовал. Глава НКВД того времени Менжинский был по существу пустым местом. Доведенный до полного рамолизма наркотиками и развратом всех видов, он был пешкой в руках своих ближайших помощников, а среди них, как это всегда было, есть и будет во всех учреждениях и организациях коммунистической партии, шла ожесточенная внутренняя борьба. Пауки яростно пожирали друг друга. Умный, расчетливый и осведомленный о ходе этой борьбы Френкель был в курсе всех изменений в расстановке внутренних сил НКВД и спекулировал на них столь же умело, как и на валюте. Но на этот раз, он наскочил на достойного противника. Щупальцы спрута, раскинутые от Москвы до Константинополя, встретили жало ехидны. Ехидна была под самым сердцем спрута, в

Одессе. Дерибас, сея ужас вокруг себя, повел игру с Френкелем чрезвычайно осторожно. Он умело делал вид, что хочет сам сорвать с Френкеля крупный, очень крупный куш, столь значительный, что не стеснявшийся обычно в таких случаях Френкель призадумался и начал торг при помощи доверенных лиц. А пока шел этот торг, в Москву, помимо и даже тайно от одесского отдела НКВД и, вероятно, от некоторых членов коллегии шли сообщения Дерибаса, в чём ему помогала настроенная против Френкеля религиозная часть одесских евреев. И вот, в одну далеко не прекрасную для Френкеля и его друзей ночь, в Одессу прибыл зашифрованный поезд с отрядом московских чекистов, который поступил под команду Дерибаса. Френкель, вся головка одесской Чеки и главные “директора” треста были в ту же ночь арестованы и через несколько дней отвезены в Москву самим Дерибасом. Далее этот авантюрный роман разыгрался так: коллегия ОГПУ вынесла Френкелю и его ближайшим сотоварищам смертный приговор, но их покровители не сложили оружия. Френкель был уже приведен в подвал... и там ему было объявлено помилование, вернее, замена смертной казни десятью годами Соловецкой каторги. Странная, незримая нить связала Френкеля и привезенную вместе с ним сыпнотифозную вошь. Первой стала действовать она. На острове началась и развилась с необычайной быстротой эпидемия сыпняка. Лазарет уже не вмещал больных. Заболевали в кремле, в скитах, на соседнем острове Анзере, в Секирном изоляторе... Яма для свалки трупов на монастырском кладбище ежедневно расширялась на несколько метров. Так действовала вошь, слепо и стихийно, убивая и сама погибая на трупах убитых ею... Френкель действовал иначе – обдуманно и систематически. В первые же дни по прибытии на Соловки он, при помощи взятки, устроился в штат нарядчиков и внимательно присмотрелся к жизни соловецкого муравейника. Его точный коммерческий практицизм констатировал бесцельность, никчемность труда двадцати тысяч каторжников. Практический результат этого труда был ничтожен. Машина работала вхолостую, бесполезно растрачивая горючее. Думается, что тут же, в первые дни пребывания на острове, в его голове начал оформляться грандиозный план, вполне созвучный тому, который уже оформлялся тогда в лабораториях московского Кремля и вступил в жизнь СССР под именем первой пятилетки. Но надо было ждать случая для проведения первого опыта, обстановки, нужной для рождения эмбриона. Эту обстановку создала сыпнотифозная вошь. Бурное развитие эпидемии вынудило начальство к срочным профилактическим мерам. Населению островов, уже отрезанному от материка прекращением навигации, грозило полное вымирание к весне. В первую очередь нужны были бани и в кремле и в раскиданных по островам командировках, нужны немедленно, срочно. Инженеры, которым было задано составить план и сметы построек, запроектировали их сроки в 10-20 дней. В проекте, поданном Френкелем по его личной инициативе, значился срок в 24 часа для постройки самой большой бани и только 50 человек рабочих, набранных по его выбору. Баринов вызвал Френкеля к себе. – Берешься построить за сутки? – Берусь, если дадите всё, что указываю. – Дадим. Надуешь – Секирка! – Знаю! – Вали! Френкель отобрал около 30 сильных молодых работников, в большинстве ловких на все руки кронштадтских матросов. Служа нарядчиком и надсмотрщиком в отделе рабсилы, он уже знал их и намечал безошибочно. Остальных он потребовал из барака инвалидов. – На кой черт тебе это барахло? – изумился Баринов. – Мое дело. – Раз так – бери. У меня попов да генералов хватит. Только помни: сорвешь – сгною на Секирке! Обе команды – работников и инвалидов – Френкель построил друг против друга на месте намеченной стройки. Дул норд-ост. Мороз грыз уши и руки. Старики меньшей шеренги зябко кутались, топчась на месте. Многие были в лохмотьях. – Дело обстоит так, – обратился к рабочим Френкель, – в 24 часа мы должны построить здесь баню. Не выполним задания – уйдем с работы прямо на Секирку. И вы, и я, и они, – указал он на стариков. – Горячую пищу – мясную – принесут сюда. Будет по стакану спирта. Начинаем. Молодежь смотрела на стариков. Старики смотрели на молодежь. И те и другие были людьми. Молодежь поняла не столько умом, сколько сердцем, что от нее и только от нее зависит в данный момент жизнь стариков, – Берись, братва! Дружно! По авральному! – Свисти всех наверх, боцман! – Боевая тревога! Вероятно, в давно минувшие времена Святой Руси так же дружно, с таким же напряжением всех сил строились по обету церкви-однодневки. В мятежных кронштадтцах, последних матросах Русского Императорского флота, еще жили пронесенные в их сердцах сквозь кровавый туман безвременья традиции Севастополя и Порт-Артура. Ими еще пелась тогда песня о героической смерти “Варяга”. Стены из толстых бревен были еще не закончены, а в огороженном ими пространстве уже клали печи. Доски, баланы, брусья словно сами летали по воздуху. Двухдюймовые гвозди загонялись одним ударом молотка сильной, привычной рукой... – Даешь! Даешь! Полундра! – звучало над стройкой. Старики помогали, чем могли, но могли они мало. Френкель умышленно выбрал самых убогих, самых старых епископов и генералов. Сам он был центром всей работы, ее мозгом и распорядился спокойно, дельно, толково... Свои обещания он сдержал: были и густые мясные щи, и хлеб без веса, и спирт... Чахлый день соловецкой зимы замирал. Над стройкой вспыхнули прожекторы, и работа продолжалась в том же темпе. Пришедший на следующее утро Баринов вошел в пахнувший свежей сосновой стружкой предбанник. Из двери бани валил белый пар уже закипавших котлов. – Молодцы, – так-растак, в сердце, в кровь, в селезенку!.. – рявкнул восхищенный Баринов. – Всем по стакану спирта! От меня! А ты, – обратился он к Френкелю, – зайдешь ко мне... побалакаем... Работа была выполнена за два с половиной часа до срока. В лазарет унесли только двух замерзших ночью стариков-священников. Этот день был началом новой эры в жизни Соловецкой каторги. Она вступила в систему социалистического строительства, раскинутую на территории одной шестой мира... Вторая часть зимы протекала под знаком напряженной работы сыпнотифозной вши и Натана Аароновича Френкеля. Первая работала в низах, транспортируя уже не в одну, а десятки ям, вырытых в мерзлой земле, новые и новые сотни мертвых. Второй работал в верхах, подготавливая транспортировку того же продукта социалистического производства уже не в десятки, а в сотни, тысячи, сотни тысяч братских могил. Управление СЛОН было реорганизовано коренным образом. Его отделы, возникшие в период хаотического развития Соловков – свалки

недорезанных, были преобразованы, частью аннулированы и пополнены новыми, сведены в стройную систему воспитательно-трудовой части, во главе которой стоял Френкель. Для специалистов-техников всех видов настал золотой век. Первыми вступили в него экономисты-плановики – уродливая, паразитарная профессия, порожденная практикой социалистического хозяйства, и бухгалтера. Пишущие машинки управления стучали день и ночь, продуцируя кипы планов, смет, схем, которые единственный, тогда соловецкий самолет едва успевал перебрасывать на материк – в Кемь, а оттуда на Лубянку. Соловки были всегда микрокосмом, чутко отражавшим в уменьшенном во много раз виде все процессы, возникавшие на материке. Они пережили свой период военного коммунизма, свой НЭП и теперь вступали в эпоху формирования социалистической кабалы. Отразили они и последний бой зубров революционного подполья с провозвестниками грядущей армии роботов. Воспитательно-просветительная часть встала на путь воспитательно-трудовой. Коган вступил в борьбу с Френкелем и был разбит, приведен к молчанию, утратив разом всё свое влияние. Иначе быть не могло. Соловки отражали жизнь СССР. Вместе с воспитательно-трудовой частью были разгромлены и все ячейки Соловецкого пережитка русской культуры. Первым умер журнал, не надолго пережила его и газета. Музей сохранился лишь как показательно-рекламное учреждение; его научные сотрудники-краеведы были растасованы по канцеляриям, а часть их – геологи, топографы, картографы, геодезисты и пр. – направлены на изыскательные работы в торфяники Колы, тайгу Северного Урала и даже на Новую Землю, где была запроектирована база промышленного лова тюленей, моржей и трески. Биосад обезлюдел, театр был разделен на несколько мелких передвижек для обслуживания пропаганды в новых беспрерывно формировавшихся лагерях и командировках. Размах Френкеля был широк и его организационные способности, несомненно, велики. Если до него распорядители Соловецкой рабсилы в большинстве случаев не знали, куда девать прибывавших каторжников, то теперь людей и особенно техников всех специальностей нахватало. В отправленных в Москву планах и схемах значилась потребность в десятках, сотнях тысяч... ОГПУ удовлетворяла ее в срочном порядке. Молох социалистического рабства рос с каждым днем, и ничтожный северный остров не мог уже вместить даже его мозга. Управление лагерями особого назначения было перенесено на материк, а сами Соловки превратились к 1930 г. в третьеразрядный лагерь, последнее пристанище безнадежных доходяг. Их роль была сыграна. Соловецкий этап развития социалистического рабства сменился Беломорско-Балтийским. Во главе этой новой гигантской системы стоял Н. А. Френкель, превратившийся из картожника с высшим сроком в неограниченного повелителя миллионов жизней, орденоносца и героя социалистического труда. Надо быть справедливым: это последнее звание он мог носить по праву. Его вклад в практику осуществления социализма – грандиозен. В наши дни Френкель продолжает вести свое страшное дело, разворачивая его всё шире и шире. Теперь он уже имеет чин генерала Госбезопасности и множество орденов. С Дерибасом он, очевидно, сосчитался: этот последний исчез в период террора 1938 г. на Дальнем Востоке.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

ЛЕТОПИСЬ МУЖИЦКОГО ЦАРСТВА.

Глава 14.

ФРОЛКА ГУНЯВЫЙ

Эту правдивую повесть недолговечного Уренского царства рассказывал мне урывками в долгие зимние вечера мой сотоварищ по вязке плотов на Соловецком взморье – Алексей Нилович. Фамилии он не имел, писался Ниловым по батюшке. Рассказывал он мастерски, пересыпая свою плавную, струящуюся, как ручеек, певучую северную речь цветистыми оборотами, присказками, древними русскими словами, пахнущими смолою бора и цветением луговых трав. Тогда я не мог записать его рассказов: при освобождении с Соловецкой каторги делали тщательный обыск и всё рукописное или забирали в следственную часть или просто уничтожали. Вывозить книги и тетради можно было только после просмотра, с особого разрешения административной части. Я не мог записать их и после: на советской “свободе” всегда ожидал обыска и ареста, а тогда эта запись дала бы мне не меньше трех лет концлагеря. Теперь, спустя двадцать пять лет, многое, конечно, позабыто, но вместе с тем, здесь, на берегу нежного, голубого Неаполитанского залива, обрамленного темною зеленью апельсиновых рощ, в моей памяти с необычайной силой и яркостью встали суровые, молчаливые северные сосны, белесое, льдистое море и он – Нилыч. Вероятно, это произошло в силу контраста: “прекрасное издалека”. И вот, что вспомнил – записал, стараясь по возможности восстановить узорную вязь его речи. Пересказать ее полностью, со всеми оттенками и переливами, конечно, не смог. В познании красоты и величия нашего языка Нилыч дал мне не меньше, чем сама московская Alma mater в ее блестящем расцвете начала XX века. Ростом Нилыч был невелик, но необычайно соразмерен: в меру широк, в меру полон. Бывают такие огурчики, крепенькие, гладенькие, на русском севере их называют окатными. Эта гармония, соразмерность была основной чертой всего его существа. Она была в его лице, немножко скуластом, финском, в его голосе, не тихом и не громком, но переливчатом и певучем. Когда он рассказывал, то чудилось, что не то старый раздобревший кот мурлычет на тёплой лежанке, не то пузатый самовар завел вечернюю песню в комнатке с геранями и вязаными скатерками. Становилось тепло и уютно даже в холодном сумраке обращенного в тюремную казарму Соловецкого собора. Слегка раскосые глазки Нилыча никогда не бывали спокойными: говорил ли он о смешном, – а веселую, смачную присказку он любил и ценил, – или о загадочном, – глазки бежали, как солнечные

зайчики на стене; приходили уставные божественные слова – глаза поднимались вверх, но не притворно, не поханжески, а со светлою верою в силу и значимость этих слов. Само слово было для него чем-то физически ощутимым, реальным, весомым, вроде камешка в мозаичной картине, и он любовно укладывал эти камешки, радуясь на них, как ребенок. Большой художник слова жил в Нилыче. За три года жизни в Соловках Нилыч ни с кем не поссорился и не поругался. Если его обижали, он или отвечал забористой, но вместе с тем добродушной репликой по адресу обидчика, вызывая смех у всех окружающих, или махал рукою: – Бог простит! Посылок из дому он, как и все соловецкие уренчане, не получал, но жил хорошо, сытно, промышляя ложками, вырезывая их из дерева. Казенных на Соловках не полагалось, а иметь собственную ложку при общем баке на шесть человек, больших аппетитах и пропорционально малых порциях тресковых щей было жизненной необходимостью. За ложку платили гривенник или соответствующее число хлебных пайков, а гривенник тогда, в разгар НЭП'а был большими деньгами и на Соловках, где деньги ценились высоко, особенно среди тайных игроков. Кроме того, урвавшись на час с работы, а это ему всегда удавалось, Нилыч мгновенно набирал земляники, малины, брусники, смотря по сезону, и всегда отличных белых грибов, которых была масса на острове. Лес он знал изумительно. Водил дружбу и с рыбацкой командой, меняя там что-то на рыбку... Мужик был с хитрецей и оборотистый, но не скаред, и случалось, что сам бесплатно подавал новую, ухватистую ложку изголодавшемуся неудачнику-шпаненку: – Возьми, родимый, ради Христа, а то, вишь, они какие хапалы, соседи-то твои... Как львы глотают! Над мутной Вислой и туманной Двиной уже давно ухали и завывали тяжелые, неповоротливые пушки, а за обряженной в изумрудный сарафан вековечного кондового бора серебряной Унжей стояла нерушимая тишь. По давнему, утвержденному отцами и дедами обычаю текла немудреная и покойная жизнь в кондовых, срубленных из охватных бревен избах волостного села Уреней. Крепко-накрепко оберегали его от обезумевшего мира раскинувшиеся на сотни немеряных верст густые, бездорожные леса да дымящиеся сизыми туманами топкие, невылазные болота. По-прежнему гукал и ухал в них старый хозяин – леший, пугая припоздавших баб-грибовниц; в ясные майские ночи выходили из своих болотных горниц бесстыжие чарусные девки, плескали лебедиными крыльями жемчужную гладь лесных озер, а мглистою осенью, когда первые утренние заморозки знобили алые нити рябины и завертывали в трубку дубовый лист, уставший за летнюю страду Ярило-Купала отпускал на волю двенадцать сестер-трясовиц, и они плясали в болотном мареве, взмахивали откидными рукавами серых саванов, нагоняли на уренчан огневые лихоманки. От лихоманок лечила бабка Лутониha, пользовала больных отваром ведомых ей душистых целительных трав, собранных в лесах, в темные Купаловы ночи, когда уренские девки и парни скакали сквозь пламя костров и сами пламенели в любовных шорохах зачарованного бора. Мудрственная была бабка, древнюю черную книгу имела и, хотя сама неграмотная была, однако, куда до нее костромским докторам: и кровь-руду зашептывала, когда кого медведь подерет, и в жарко натопленной бане вывихнутые суставы расправляла, а о роженицах и говорить нечего – за долгую свою жизнь (под сотню ей уже подходило), почитай, все Урени на свои руки приняла. Она же и свахой была, да не такой, какие в Солигаличе или на Ветлуге свахи, что за полтинник любой грех на душу возьмут и с корявой да кривобокой окрутят, – нет, придет, к Лутонихе баба, у которой девка на выданье, поклонится дюжиной локтей домотканной суровой холстины, Лутониha посмотрит в свою черную книгу, пошепчет над опарой или квасной гущей, потом на Владычицын лик древнего, праведного письма помолится. – За Федора Марью выдавай, а за Ваську-озорника – ни-ни! И не думай. По ее слову и сходилось. Федоровым родителям супротив Лутонихи идти было невозможно, и на Покров, по первоуптку, катали на разубранных санях “князя” Федора с “княгиней” Марьей. В церкви венчали редко. Древнего благочестия держались Урени, в беспоповцах числились. Однако, церковь в селе была, и служил в ней поп Евтихий; ничего, хороший поп, обходительный. Никаких от него притеснений уренчанам не было, даже и младенцев богоданных без купели в книги записывал. – По закону, – говорит, – разрешено бабкам слабых младенцев во имя Пресвятой Троицы без попа скрещивать, а они-то, голубчик, ангельские души; всё-то слабенькие... Гляди, и перышка куриного не поднимут!.. И уренчане обходительного попа уважали; жил он в достатке, крепко, а уж по огородной части в трех губерниях такого хозяина не было. Одних огурцов не менее, как сортов двадцать выводил поп Евтихий. Любой выбирай: и муромские, и для соления вязниковские, дубовые – не уколупнешь, и нежинские – с наперсток, и выписные из самой Москвы, “чудо Америки” по три фунта весом. Ну, эти более для забавы, настоящего вкуса в них нет. Правила Уренями свой выборный старшина Мелетий и урядник, отставной Нижегородского драгунского полка ефрейтор, человек бывалый и, хотя чужой, из Великой Устюжины родом, однако, правильный и с уренскими старцами живет в ладу. Письменную часть при них выполнял учитель, присланный от земства. В школе ему работы не было: читать, писать в Уренях мало кто учился, а если и постигали книжную премудрость, то у начетных стариц по испытанной старопечатной псалтыри и “Адаманту благочестия”. Да и кому, кроме писаря с урядником, нужна была грамота в Уренях? Они из города казенные бумаги получали, они же, что Полагается, народу объявляли. Вот и вся грамота. Дед Зиновой сроду бумаги в руках не держал, а как начнет на Филипповки на посиделках сказки да стародавние бывальщины сказывать, так и до масляной не кончит и ни одной вдругоряд не повторит. Крепким, как кряжистый дуб, русским уставом жили Урени, отгородясь лесами и болотами от ошалевшей, потерявшей лицо России. Слышали, конечно, что немецкий царь великою силою пошел на русскую землю, что нашему царю трудно и большая ему помощь от народа нужна. Рассказывали об этом на сходах старшина и урядник, а больше пояснял великий ведун лосиных лесных троп Нилыч, в самую Кострому за сто двадцать верст в двое суток добежавший по бурелому. Он почту носил, в городе бывал, и он же отвел туда в неурочное летнее время первых мобилизованных; летом-то в Урени колесного пути нет. Что ж, воля Божия! Повыли бабы, поголосили да и угомонились. Бывало такое и раньше, но хранил Господь Урени. А к тому же молотить было время, плакать некогда. Но пришло и такое, какого раньше не бывало. Перед самую Пасхою, по последнему санному пути, вместе с бочкою

керосина и тюками цветистых ситцев, привез приказчик купца Жирова из Костромы непонятную, страшную новость: – Царя больше нету у нас... Нету и нету. А в Костроме нивесть что творится: губернатор в остроге сидит, и ничего понять невозможно... Стало боязно, словно за лесом громом прокатило. Обезумевшая Россия вплотную надвинулась на затворившиеся от ее беснований Урени. Однако, до осени на селе было тихо: лесную дорогу летом болотом затягивало, а oprичь нее в Урени колесного пути не было. Прибежали, правда, лесными тропами два своих солдата с фронта, но хоть и много они говорили, а в толк становилось лишь одно: – Понять ничего невозможно. Всё же Покров проводили честь-честью, а как стала Унжа и медведи залегли в свои зимние домовины, собрались в город старшина и урядник. Только их и видели. Назад не вернулись. Лишь на Крещение узнали в Уренях, что их под караул в уезде взяли и отвели, а куда – неизвестно. Подошла масляная. Заревел в бору сохатый, возвещая близкую весну, затоковали тетерева. Кое-где, на припеке, с резных оконниц заснеженных уренских изб ледяные капли свисли. Погуляли. Старики, как полагается, самогону и сыченой браги досыта хватили; девки и парни соломенную масленицу на лубяных санях в мочальной упряжке за погост увезли и там спалили с песнями и хороводным плясом. На самое Прощеное Воскресенье, когда уренчане, напарившись в бане до одури и вывалявшись в снегу, обвязали себе большие головы шитыми рушниками, обложили виски квашеною капустой, а уши моченою клюквою набили (с похмелья – первое средство) и сели зверобоем опохмеляться, прибыли в село неведомые люди. Прикатили на четырех подводах и прямо к поповскому дому. А провел их сквозь чащу и сугробы, февральскими метелями нанесенные, свой, Фролка Гунявый, солдатишка беспутный. Этого Фролки давно уже не видали в Уренях. Был он бобылем. Такая слава о нем шла, что бабка Лутониha ему даже самой завалющейся невесты не отпускала. Без огня дыма не бывает. Крепко нечист на руку был Фролка. Начал он свои художества еще в отрочестве по мелочам – холсты с токов потягивал, а как в возраст вошел, с цыганами снюхался и конями промышлять стал. Водили его за это по селу в волчьей шкуре и били крепко. Грозилась по обычаю кишки на кол вымотать. Только не помогла наука: отлежался в своей подклети Фролка и через несколько недель у первого уренского богатея Силаева купленного заводского жеребца увел; три катеринки дал Силаев за жеребца – шутка ли! В Урени после этого дела Фролка не вернулся, а, переметнувшись к московским церковникам, через благочинного себе паспорт выправил и был таков. Сразу Фролку и не признали: шуба на нем городская, оленьим мехом крытая, а под нею – пиджак мягкой кожи и на голове трех с алой звездой. Выбрался он из крытых ковром розвальней, не спеша ноги расправил и хозяином пошел на попово крыльцо. За ним потянулись и прочие. Снега с валенок не обмели, а прямо в горницу прут, шапок не снявши и Божьего благословения не испросив. – Здравия желаю, ваше толстопузое священство! Как изволите жить-поживать? Оробел поп Евтихий... Что за люди – не ведомо, но видно, что не с добром прибыли. А Фролка зубы, как волк, ощерил, смеется, цыгарку из газеты крутит да на попа поглядывает. Вишь, в городах зельем антихристовым себя испоганил. Скрутил и к образу... Лампадку неугасимую от Спасова лика снял и припалил от нее цыгарку. Оно, верно, образ письма неправильного, никонианского, а всё же Христово обличье и с двуперстным знаменем. И не убил его, проклятого, Бог! Поп так и обмер, слова не выговорит, а Фролка под образа садится, ногу через ногу перекидывает. – Ну, поп, принимай гостей по достоинству... Вели своей попадье яичницу зажарить, щи из печи тащить, попенок твой пускай насчет самогонного дела расстарается, оно с морозцу не вредно. А вы, товарищи, располагайтесь у сего опиума, потому что и он для народа. Ясно! Составили приезжие винтовки в углы, поскидали тулупы, а под ними на каждой полосе с патронами висят и на поясах леворверты. Фролка же дальше командует: – Звони, поп, в свою медную посудину, да по моленным дай весть в била ударить, чтобы народ весь на выгон шел. А мы покамест погреемся. У попа не токмо что руки, а все суставы в сотрясение пришли, и в глазах живчики скачут, однако распорядился с закуской и работника к начетным старцам послал. Ударили в колокол. Плохонький он был в Уренях, всего о пяти пудах, большого-то туда не довезти, да и тот, правду сказать, ни к чему: в церковь мало кто хаживал. По сокрытым моленным застучали деревянные била, тревожную весть возвещая. Уренчане покрестились на старописные темные лики, поснямали с гвоздиков опасные шубы из романовских овчин и побрели степенной поступью вдоль тесовых закрещенных околиц. Торопиться в Уренях не любили, а старикам-то спешка и вовсе неподстать.

Глава 15.

ХЛЕБУШКО “В ПОТЕ ЛИЦА”

Фролка с товарищами тем временем и закусить и самогоном обогреться успел. Велел на площадь большой попов стол вынести, а на него другой, поменьше, поставить. – Это, – говорит, – трибуна будет, а без нее теперь невозможно. Под трибуну распряженные сани поставили, а на них невиданную машину на треноге с колесиком. – Это у нас главный оратор, – посмеивался Фролка, – по шестьсот слов в минуту выговаривает. А имя ему – товарищ пулемет. Не видали еще такого, волосатые? Я его сам с фронта вам привез заместо гостинчика. Собрались. Конечно, и бабы с ребятишками набежали, в сторонке стоят. Фролка духом на стол сиганул и начал: – Товарищи! Считаю митинг в селе Уренях открытым, а слово для доклада предоставляю себе, товарищу продкомиссару Гунявому. Ясно – понятно? Первое дело, – говорит, – известно нам, что власти у вас сейчас никакой нет, а советской тем более, а также, что в лесах ваших укрывается гидра и контра. Товарищ же Ленин утвердил власть на местах, на каком основании и приступаю к выбору ревкома. Говорит отчетливо, как топором рубит, а всё же непонятно, что за ревком такой и опять же продкомиссар?.. Исправник, что ли, или становой по-новому? А Фролка дальше тешет: – Ставлю на голосование список кандидатов: товарищи Гунявый Фрол, Тихонов Петр и Ерошкин Ефим. Кто против? Никого. Воздержавшиеся? Тоже никого, Значит: единогласно. Переходим к текущим делам: волостное правление протопить

для ревкома и команды, а указанных товарищей разместить у попа, у Силаева и у бывшего старшины. Ясно-понятно? Это понятнее. Значит, пришла новая власть. А с чем пришла – увидим. Ожидать долго не пришлось. На другое же утро позвал к себе Фрол учителя. – Списки давай! – Какие тебе списки? – А всего уренского населения! Должны такие быть. – Как же, имеются. И все в порядке. Посадил Фролка двух своих солдатишек за стол, учителю велел списки зачитывать. – Ревком, говорит, в полном составе. Приступаем к разверстке продналога. Учитель читает, Фролка на каждого человека цену определяет, а солдатишка прописывает. – Евстигнееву 100, Медведю – 100, Сукачеву ещё 50 добавить, вытянет... А как дошел до Силаева, у которого жеребца увёл, так по столу кулаком застучал. – Двести ему, чорту голанскому, ставь! Триста!.. Нет, мало, и пятьсот найдется!.. Старики, которые собрались в правлении, – ничего, этого Фрол не возбранял, – слушают, только опять невдомек – к чему этот счет ведет? И Силаев сам тут же, кленовым посошком подпирается. Пока что помалкивают. Что дальше будет ожидают. А получилось вот что: закончил Фрол свою расценку и говорит: – Вот что, граждане советские, медведям да волкам соседские! Прочтет вам сейчас учитель список. В нём кому что проставлено, тому и быть. Отпирайте клетки да амбары, сыпьте золото-зерно, ржицу-матушку. Принимать с весу сам буду. Денька два потрудимся на советскую народную рабоче-крестьянскую власть, а в четверг с утра и в уезд повезем, потому что команде задерживаться здесь нечего. А в Костроме, вместо хлеба, по полфунту жмыха на рыло дают... На то приказ товарища Ленина... Прочитал учитель список. Мы молчим. Чего ж говорить на такое нестаточное дело. Брала с нас и допреж подушных по 32 копейки, да земских с полтину набегало, платили, и никогда за селом недоимок не бывало. Так ведь не сто же пудов! Такого и быть не может! Смеется Фролка, обдуряет. Что за приказ? Какой-токой Ленин его писал? Все же промолчали. Пошли по домам, там поготорим. Мужики побогаче у Силаева собрались, шумят. – Не могёт такого приказа быть! Разорение это крестьянству! Слыханное ли дело, с Силаева пятьсот пуд, да он, может быть, их десять лет копил!.. Тем более, места наши лесные, не хлебородные, для себя только сеем, а прибыль более со льна да скотинки берем. Ежели всё это выплатить, так не только на семена не останется, а и хлебушка до новины не хватит. Шумели до позднего и порешили: – Хлеба не давать, а пускай Фролка приказ покажет, чтобы подписанный был и с печатью. Ленина ж мы никакого не знаем. Кем он на власть поставлен и кого? Про то пусть Фролка объяснит. Наутро без звона всем селом на выгон собрались Громада! Сила! Поболее трех сотен дворов оно, село-то Урени, а с бабами да с ребятишками сколько народ будет, поди, посчитай. Ждали недолго. Фролка от попа разом в правление прошел, а оттуда солдата с красным флагом выслал. Солдат его над крыльцом втыкает, гвоздем бьет, а глядим – Мать Пресвятая Богородица! Да ведь это попадьина юбка spodняя, канаусовая! Бабы пересмеиваются, пальцами кажут. – Разубрал попадью Фролка-греховодник! И срамоту не почел, прости Господи! Флаг прибили, а на крыльцо пулемет солдаты отнесли, крутятся около него. Вышел и Фролка, с крыльца не сходит. – Чего вам, товарищи? С чем пришли? Мы тут все разом и зашумели. – Нет такого приказа, чтобы хлебушко до зерна выбирать!.. – Откуда у нас жито? Сами покупаем... – Не дадим, да и только!.. Деньгами подушными соберем, это правильно: царю ли или Ленину твоему нам всё одно!.. Слушает Фролка, молчит. А как приутихли маленько, леворверт у пояса расстегнул и спокойно так, будто шутейно, говорит: – Все вы врете, сукины сыны! Будто я вас впервой вижу, будто я вас ране не знал? По сто пудов валить не можете, а у самих скирды по три года немолоченные стоят. Приказ на то у меня есть, по-советскому, мандат называется, – бумагу вынул и кажет, – всё с печатью, по закону, а есть и другой приказ – вот... Отхватил леворверт от пояса да как пальнет, а с крыльца солдатишки тотчас пулеметом затекали. Сроду уренчане такого не слыхали и не видали, хотя все на селе охотниками были. Бросились, кто куда, Друг дружку топчут, свету не видят; бабы дурным голосом кличут, ребят ташут. Старцы посошки порастеряли, в сугробы попадали, плачут, имя Божие призывают А Фрол вслед кричит: – Это вам, косопузым, только для старого знакомства очередь поверх пустил! В другой раз прямо бить буду! Товарищ-то пулемет, он не милует: шестерых насквозь пробивает, в седьмом застревает!.. Так-то!.. Вот тебе и ревком с продкомиссаром! Дожили! Фролка же, часа не теряя, пулемет к первой от края избе подкатывает, в воротах ставит, а сам с леворвертом к хозяину: – Давай ключи от амбара! Духом! Тому что делать! Токмо бы душу спасти... – На, окаянный, бери, что хошь! Твоя воля! Оставь только животы наши в телесах... А Фрол уже из амбара кричит: – Мешки давай и веретья! Сани налаживай, коням корм засыпай да соседей зови, а то нам одним несподручно! Не прошло и часу, как все закрома очистили, куренку и тому клюнуть нечего. Зерно в мешки ссыпали и на сани сложили. Ребятишки ревя-ревут, баба убивается, а Фролка хоть бы что, козырем ходит, антихрист, поганой цыгаркой везде коптит, шапку со звездой набок сдвинул словно на игрище. – Всем так будет, кто ржицу сокроет. А кто по-хорошему объявит, тому на прокормление оставлю, советская власть шутить не любит! Так и пошло – со двора на двор. Грузенные санки к правлению вывозили. Там караул был поставлен. Объявляли по списку, сколько с кого пудов причитается. Только весить было некогда: Фролка всех торопил и обмерял наглаз. Увидит, что в закроме уже пол белеется и лопатка уже о доски стучит: – Довольно, – кричит, – пиши: подразверстка выполнена! А когда до Силаева дошел, – всё зерно дочиста выбрал и закромины велел венником обмести; в избу зашел, у баб муку забрал и по ветру ее пустил, а опару на пол вывалил. – Будет, чорт, жеребца своего помнить! На ночь ворота в Уренях всегда на запоре; не то чтобы баловство какое бывало, а обычай такой: лес кругом. В ту же ночь не только на засовы воротницы взяли, но и колодами подперли изнутри: большого страха за день набрались. Затихла улица, а по дворам работа идет: хоронят зерно мужики, кто куда может: кто в солому зарывает, в подполье ташут, и на чердак, и на сеновалы. Были такие догадливые, что даже в колодезь мешки опускали. Коли мешок туго набит, так вреда самая малое будет: обмокнет на вершок снаружи, а внутрь вода идет. Между собой не сговаривались, куда там, днем когда было, а глядя, как солдатишки хлеб забирают, у всех одна дума в головах стояла: сохранить добро свое, праведным трудом нажитое, горьким потом Деньги – что! В каждой избе в Уренях имелась своя заветная кубышка, лежало в ней веками накопленное серебро-

золото, находились в этих кубышках и полновесные серебряные рубли с изображением ласковой императрицы, и тонкие, как кленовый листок, золотые полтинники с ликом праведного царя Петра Федоровича (который в тайности старую веру хранил). Бумаг только уренчане не жаловали. Неверные они. Деда сказывали: набрали они этих бумаг, а после того, как воля вышла, понесли их в город на размен, а там не только что не берут, а еще смеются охальные гостинорядцы: – Мохом вы обросли, в Уренях ваших сидючи да с лешими в свайку играючи... Эти самые ассигнации уж годов пять как прикончены, и размена им больше нет. Эх, вы, уренчане, гусиные лапы, воду лаптем черпали (присказка такая на Урени в народе)... Кто пожег от сердца неверные бумаги, а кто и до сей поры бережет. Старица начетная Селивестрия каждый год о Петров день из кубышки вынимает и на солнышке развешивает – сушить. – Не верю тому, – говорит, – чтобы деньга с царским орлом без цены стала. Это солигаличские купцы, нечистые щепотники, народ обманывают, новое гонение на истинную веру налагают... Деньги – что, наживное дело! До войны каждую зиму в Рождественский пост правили Урени в Ветлугу, Буй, Солигалич, а то и в саму Кострому обозы. Везли мед, воск топленый, дубленую овчину, кожу сыромятную, рыбу мороженую, ерша и налима из чистых лесных озер, лен-долгунец трепаный. Всё правильное, богоданное, от Его великих щедрот человекам на услаждение, а хлебушко – он трудовой, ибо сказано про него в Писании: “в поте лица”; а про мед и овчину того не написано. Деньги – что! От них блуд и развращение сердец. Что на них покупали: бабам ситцы да миткали цветистые, фабричные, машинки швейные; ребятам сахар да крендели белые пшеничные (от них лишь зубная хворь), а мужики, кто в вере послабее, так бывало потаенно и прескверную траву китайскую за пазухой возили. Ну, конечно, керосин и прочее... А хлебушко-то – он не купленный, без него же и мышь не живет. Пошлет Господь дожличка во благовременье – сыта земля и радуется, прогневаается – Его святая воля, – иссохнет земля в печали и несть человекам на потребу... Утром, когда светлая зоренька еще за лесом нежилась, завились кудрявые дымки над Уренями – бабы печи запалили, заскрипели ворота – за водой с деревянными бадьями на расписных коромыслах девки пошли, а от колодцев иные и без воды прибежали сказать страшную новость: – Ночью Фролкины солдаты Силаева да еще пятерых богатеетв-тысячников из домов забрали и в правлении под крепким караулом держат. А колокол снова сбор бьет. Снова на выгон тянутся мужики, только уж на тот раз бабам и ребятишкам путь туда заказан: – долго ли до греха. Фролка же, полного сбора не ожидая, с крыльца народу кричит: – Поите коней да запрягайте, чтобы через час обоз в путь был, а об арестованных мною вам беспокоиться нечего. Они за сокрытие излишков взяты, понесут за то революционную ответственность по пролетарской справедливости, а кроме того, они и есть самая гидра-контра, которая против Ленина и большевицкой партии идет. С ней разговор короткий! Которые же честно весь хлеб покажут, тем опасаться нас нечего. Зачесались затылки у уренчан и головы вертуном пошли. Слова-то, слова-то какие! Революционная, пролетарская, гидра-контра... наверное, и сам поп Евтихий того не разберет, а он в губернии все науки превзошел. Это верно. Обоз снарядили в сто подвод. Четыре солдата с ним пошли. А Фрол передохнуть не дает – уже другой готовит. Лошадей и саней в Уренях хватает. Безлошадных дворов искони не было, а иные и по две пары держали – корма в лесу привольные и сено по полянам изобильное. Не узнать стало тихих Уреней. Над волостным правлением попадьина юбка треплется и доска прибитая с надписью: “Ры-сы-фы-сы-ры. Уренский сельский революционный комитет”. В самом помещении столов поставлено, и учитель до ночи сидит и пишет. Царский портрет Фролка вырвал из рамы, углем разрисовал непристойно и на улицу бросил, туда же образа пошли. Бабы подобрали, спрятали. А раму с царева портрета старики отстояли: золоченая и деньги мирские за нее плачены. Фролка поспорил и плюнул. – Чорт с ней! Пускай пустая висит. Привезу с города Ленина и в нее влеплю. Фролку самого и по имени и по отчеству звать воспрещено, а приказано: – Товарищ предревком. Иным и выговорить трудно: не туда язык повернется и такое получается, что – тьфу, прости Господи! – сказать непристойно – бабы засмеют, а Фролка ничего, не обижается. – Первые пять лет, – говорит, – трудно, а после привыкнете. Прежде зимой в Уренях тихо было. На улице только ребята в снежки забавляются, а мужики с бабами по дворам да по избам своим делом заняты: бабы ткут и прядут, а хозяева всякую снасть к лету справляют: кто рыбацьи сети плетет, кто бороны вяжет; ложки тоже резали, пимы валяли, овчину дубили. Теперь с учреждением ревкома в Уренях по весь день дым коромыслом идет. Выбирает Фролка излишки и обоз за обозом в город гонит. Торопится. Знает бес, что санного пути не более, как на месяц, осталось. Зерно обобрал – за скотину принял. Тоже, говорит, продналог со всего он идет, отпустят морозы и картошку повезем. Вечером солдаты по избам ходят и народ в правление сгоняют; там тот же Фролка или дружок его Ерошкин про коммуны и товарища Ленина рассказывают. Выходило оно распрекрасно. Не дале как к осени, урожай собравши, во всем свете этот Ленин полный порядок установит. Денег не будет – бери так всё, что надобно, мануфактуру и прочее, солдатчины тоже не будет, потому – воевать не с кем станет: все языки и царства эту самую коммуны принять обязательно должны, а Ленина на весь мир царем поставит. Про землю тоже рассказывал: от господ ее отобрать и между крестьянами поделить. Только уренчанам это неинтересно было: село спокон веков государственное, и господ в нем не водилось. Земли и леса хватало. Кроме того, вокруг на многие версты казенные леса шли. Коси траву на полянах, грибы собирай, хворост, бурелом, скотину паси – никто слова тебе не скажет, разве от своей добродетели объездчику Митричу к празднику кто гривенничек подарит и то из уважения. Выходило по Фролову хорошо, а на деле – крестьянам разорение. Кое-кто, конечно, хлебца-то спрятать сумел, а у иных и взаправду последние осметки доедали – погибель, до новых-то полгода еще. Скотины тоже поубавилось. Однако, кое-кто на сладкие Фролкины речи подался и к нему потаенно в попову горницу ходить стал. Особливо те, кто на водочку слаб был. С ними Фрол особые разговоры вел. – Комбед, – говорил, – учредим, и всё Урени промеж себя поделим.

Глава 16.

ЦАРЬ ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ

Незаметно и весна подошла. На Марию Египетскую последний обоз из города вернулся. Еле добрались. Просовы и полыньи – коням по пузо. Еще бы денек, так все бы в лесу и остались. Разом весна слюни распустила. Новую страшную весть обозники привезли: первую – старика, уренского богатея Силаева и всех взятых с ним вместе в остроге смертью казнили. Просили уренские возчики хоть мертвеньких им выдать для честного погребения, а им в ответ посмеялись только: – Куда вам их везть по распутице! Гляди, еще леший себе на разговоры отымет. У нас им веселей в большой компании... Притихли Урени. Начетные старцы в моленные затворились, по невинно убиенным панихиды правят, Святую псалтирь читают. В избах у новопреставленных рабов Божиих бабы на голос ревут, однако на улицу, как оно полагается по обычаю, выйти боятся. И на них нагнал Фролка страху. Когда совсем затемнело, и в бору сыч заухал, нечистой силе время ее возвещая, собрались кое-кто из мужиков в избе у Петра Алексеевича. Пришли тайночью, огородами, по улице идти опасаясь. Всего человек с пятнадцать. Без уговору собрались. Такой час пришел, что у всех дума одна встала на Петра Алексеевича. Был он мужик небогатый, но всё же в достатке: двор справный, изба чистая о пяти стен, скотинка удойная, огород и всё, что по крестьянству требуется. Но не за достаток почитали в Уренях Петра Алексеевича, а за правильность, Помрет ли кто, а сыны миром поделить достояние не могут – зовут Петра Алексеевича: – Раздели по-Божески. Баловство ли какое произойдет, так допреж того, как на сходе разбирать, идут к Петру Алексеевичу: – Так и так, мол, вот что случилось... Что будем с охальником делать? Сам покойный старшина Мелетий, прежде чем свое слово последнее сказать, всегда Петра Алексеевича спрашивал, и, как тот скажет, так тому и быть. Правильный был человек Петр Алексеевич, и не от Писания было ему то дано, а отроду. Начетные старцы Писанье до точности знают, и когда какое слово сказано в премудрости своей разумеют, а всё же много греха на душу берут и сребролюбию сильно подвержены. Петр же Алексеевич неграмотный был и не более как “Верую” да “Отче наш” помнил, а не только рублем серебряным, но и косой тысячей укупить его на скривление души невозможно было. Росту он был преогромного, аккурат сажень без вершка, и силы непомерной. На медведя всегда один ходил и ружья с собой не брал, а по древности – нож-полосач и рогатину. Когда во младости на призыв ставился, так господин воинский начальник, глядя на него, инда заплакал: – Стоять бы тебе, – говорит, – Алексеев за императорским тронем в золотой броне да в славном кавалергардском мундире, а взять тебя невозможно... Указательный перст на десной руке был у него отсечен: ребятишками с братом баловались, топором начисто отхватили. Нрав имел Петр сумный и упористый, кремень-мужик, дуб, что скажет раз, того не менял и в доме своем всех соблюдал в великой строгости. Компании ни с кем не водил и водки в рот не брал даже и в Светлое Христово Воскресение. Однако, при всей своей суровости, невежества и обиды никому не чинил: ни домашним, ни соседям, ни крестьянству. К этому-то правильному человеку и собрались в лихой час уренские мужики. Ставни примкнули, оконницы позанавесили. Покрестились на образа, сели по лавкам, где кому положено: кто постарше – ближе к Спасову лику, помоложе – к двери. Света не зажигали – лампада теплилась. – Смерть пришла, Петр Алексеевич, последний час! – Погибель крестьянству, одолела советская власть, у иных всё дочиста съела, проклятая и мышам на пропитание не оставила... – А все Фролка, он, нечистый дух, солдатишек в Урени навел. Жили мы до того, советской власти неизвестными. – Так и жили бы, без Фролки! Горячатся мужики, злобятся. У каждого на сердце накопело. Не то, чтобы старцы древние к Петру собрались, а всё годки его, в самом соку мужики, лет по 40, работники, хозяева. – Не хотим растакой советской власти. Коли царской теперь нет, – свою поставим, крестьянскую! – Поди, возьми нас в Уренях! Да и брать-то кто, будет? Солдатишки шививые, дармоеды! Пошумели и, сердцем остыв, замолкли, на Петра Алексеевича глядят: – Какое твое слово будет? Поднялся Петр, справедливым двуперстным знаменем груди осенил, бороду огладил: – Во имя Отца, Сына и Духа Свята! Правильны слова ваши: не стало житья крестьянину. Пошто будем в поте лица трудиться? На поганую советскую власть несытую? К добру ли, к худу ли, а путь нам один объявляется: солдатишек с советской властью прогнать и свою власть в Уренях утвердить. Мужики разом загомонили: – Отсидимся от солдатишек в Уренях, поди, возьми нас из лесов, из топей... – Коли до боя дойдет, своих триста ружей поставим... Все охотники, у каждого свинец с зельем найдется... – Значит, быть по тому! Порешили в ту же ночь по первому петуху солдатишек с Фролкой взять и повязать. Сотворить это в небольшом числе, чтобы шуму и кровопролития не было. А на утро всем миром сход созвать и свою власть учредить, чтобы .всем, без изъятия. Отобрал Петр Алексеевич одиннадцать человек, сам двенадцатый, велел за ружьями да топорами сбежать и повел... Солдатишек взяли без шуму. Осмелели они за спокойной жизнью в Уренях, разбаловались. Спервоначалу караул у пулемета в сенях ставили, а тут и дверь припереть забыли. Вошли уренчане в пимах тихо; видят: лампочка на столике привернута, чадит, винтовочки в углах составлены, а сами солдаты, разобравшись до сподного, храпят вповалку. Жарко. Натоплено. В Уренях полен в печи не считают. Петр Алексеевич первым на двух крайних навалился, за ним и прочие. Стриженная девка косы заплесть не успела, как всех перевязали, а было их шестнадцать человек. Никого не поранили, только помяли малость, особенно тех, что под Петра попали. Было в нем восемь пудов. С Фролкой не так вышло. Поп на запоре ворота держал. Стучать пришлось. Кобели завыли, залаяли. Пока работник попов услышал, да от третьего сна очухался, пока окликал да выбивал примерзшие засовы, Фрол беду учуял. Света не зажигая, оделся, леворверт забрал и на огород хотел податься, оттуда уж до леса рукой подать. Только не вышло. На дворе его поповы кобели прихватили. Только на ночь спускал их поп с цепей, и Фролку они за своего не почитали. Отбивается Фролка ногами, молчит, чтобы голосом себя не обнаружить. Только когда

ему наизлейший мухростый кобель зубом мягкое тело до костей прохватил, не стерпел Фролка. – Ах, ты, мать твою так, паразит! Наши слышат – Фролкина речь. Этого паразита мы от него лишь узнали. Через забор полезли. Фролка из пистолета – хлоп! – и в нужнике затворился. Мужики за ним. Окружили нужник. – Выходи, Фролушка, нечего прохладиться! Фролка снова из пистолета через доски. Озлились уренчане. – Всё едино не уйдешь, Фрол! Не проливай зря крови христианской. И без того шесть загубленных душ на тебе, вопиют ко Господу сиротские слезы. – Растуды их, гадов! Побожитесь, что жизнь мне оставите! – Не возьмем греха, Фролушка, не побожимся. Как мир решит. – А за что же вы, гады волосатые, судить меня будете? – За всё, Фролушка: и за новое и за старое... – Так пропадайте, в Бога, в кровь... – и опять из пистолета пальнул, только никого не тронуло. Видят мужики, что так взять Фрола, без пролития крови, невозможно. Надо со сноровкой. Что ж, дело знакомое – все медвежатники. Наташили соломы из попова скирда, свалили в кучи, да тихонько их жердями к нужнику пододвинули. Угольки в горшке принесли, запалили. Как стало Фрола дымом морить да огнем припекать, выскочил бес из нужника. – Всё одно, – кричит, – пропадать, так не один, по крайности, в сыру землю лягу! – и из пистолета в Петра целится. Стрельнул, да опять не попал за дымом, а в то время кто-то из мужиков ему жердочкой аккуратно под колена угодил. Упал Фролка. Тут на него навалились и связали. Мало кто спал в эту ночь в Уренях. Фролкина пальба всех на ноги поставила, но до света всё же никто на улицу носа не показал: опасались, и только лишь когда девки по воду вышли и увидели, как попадьина сподница сорванная в снегу лежит, а с нею рядом – доска написанная, так все мужики разом к правлению хлынули, горницу забили – яблоку упасть негде, на выгоне толпятся. Гомонят. Вот начетные старцы на крыльцо вышли, в пояс народу кланяются, святым крестом плеча осеняют. От них аж пыль идет, до того древни. Нафанаил же еще в полной силе был, он и речь держит: – Про то, что сею ночью антихриста Фролку и городских солдатишек повязали, вам, мужикам, ведомо. Ведомо и то, за что их взяли. Днесь же рассудим совместно, всем миром, как с ними быть далее: казнить ли или миловать за тяжкие их прегрешения? Как мир порешит, так тому и быть. Мирское слово – воля Божия. Опять зашумели. – Начинать с кого будем? – С Фрола, он всему начало! – С солдатишек, а Фрола опосля, о нем речь особенная. – Выводи солдат! Вывели. Поставили повязанных среди народа. Трясутся, стоят, иные слезы льют. Стоят, как взяты были, в исподнем, босые. А народ лютует. Обида под сердце подкатывает, крови распалает. Кто поближе стоит, норовит солдатишку ткнуть кулаком, а то и посошком огреть. Особенно бабы зверствуют: волосья рвут солдатишкам, за носы, за губы щиплют... Известно, нету удержу бабе в гневном исступлении. А задние орут: – Нечего долго с ними мытариться! На осину всех! – Животы вспороть да мукой набить! Хай лопают, несытые! – В камень их! В песочины! Не жить солдатам. Сами, видят смертушку. На колени валяются, вопят дурным голосом: – Помилуйте, православные, Христа ради! Народ же всё злей напирает. И был бы тот день для солдат последним, кабы не услышали все зычного голоса Петра Алексеевича: – Укротитесь! Дайте слово молвить! Зычный голос все услышали и солдатишек оставили. А Петр Алексеевич на крыльцо восходит и с поклоном речь начинает: – Не во гневе Бог жив, а в справедливости. Солдатишки – народ подневольный. Всё едино – по царскому ли слову идут или по советскому. Не их власть, чтобы собой управлять. Что приказано, то и исполняют. Нам же кровь их на душу брать несовместно, то и перед Богом ответ великий, и начальство, какое ни будет, за то не похвалит. Мое слово – солдатишек миловать! Опять зашумели. Только теперь уж об ином спорят: пустить ли совсем или под караулом содержать! Всё же порешили: – Пустить и одежду им возвратить. А оружия и хлеба на дорогу не давать. Дойдут к городу – их счастье, не дойдут – воля Господня. Так и сделали. Теперь за Фролом черед. Вывели его на крыльцо, кажут народу. Не узнать парня: левого глаза за чернотой и не видать, вихры в кровях запеклись, и губы надулись – били, пока до правления вели. Однако, стоит прямо и глазом остатним вертит. Вышел опять старец Нафанаил: – Се есть Фрол, – говорит, – вины же его всем известны: многие христиане через него лютый глад терпят, вопиют к Господу вдовы и сироты об отмщении, невинно убиенных им души стоят пред престолом Божиим. Почто Силаева на казнь послал, Ирод? По злобе анафемской за татьбу, тобою же, Велиал, содеянную? Почто веру истинную попрали и к нечестивым никонианам переметнулся? Почто воинство антихристово на вертоград сей навел, анафема? Несть тебе прощения от Господа. Вопиют к престолу Его мерзости твои... Геенна и ад ликуют, тебя ожидая! Страшен Нафанаил, аки пророк древний, нечестивых владык обличающий. Горят глаза его под нависшими бровями, рукой потрясает и перстом на Фрола указывает. Притих народ. Боязно. Только начетные старцы за Нафанаилом сгрудились, посошками стучат, перстами на Фрола тычут, у иных даже брады от ревности вздыблены. – И принять тебе, анафеме, Фролу от Господа души погибель, от людей же лютую смертную казнь. За мерзости свои будешь ты бит нещадно. За татьство ночное утробу твою отверзть по обычаю. За невинных же убиенных и опустошение вертограда набить мукою утробу твою смрадную и тело прескверное бросить в лесу зверям на растерзание. Тако мы, старцы недостойные, порешили. Безмолвствуют люди. Хоть и кипит в сердцах их на Фрола ярость, но страшит всех лютая казнь. Молчат. Никто первым не смеет утвердить страшное осуждение. Друг на друга поглядывают. Ступил на шаг Петр Алексеевич и за всех ответил: – Справедливо. Быть по сему. Казнить Фрола порешили на утро. В тот день Вербное Воскресение было и в такой великий праздник кровь проливать, хотя бы и по справедливости – грех. Но и в страстной понедельник казни не было: сгинул Фрол. Заперли его с вечера в заднюю горницу в правление, в окне ставню наглухо забили и к дверям караул поставили. Утром взошли – нет Фролки, и окно открыто. Ставню осмотрели: клещами гвозди повыдернуты. Нашелся, значит, в Уренях Фролу сообщник, а кто – доселе неизвестно. Баяли потом на многих: и на тех, кто к Фролу потаенно хаживал и в комбед соблазнялся, и на дочку попову указывали, будто у нее с Фролом любовь была... Мало ли что сказывали, а в точности уяснить не могли. Тем же утром собрались в правлении начетные старцы и мужики, кто помогут новую власть устанавливать. Без власти жить невозможно. Затворились от прочего народа. Надо сначала самим вырешить, в малом числе, а потом на

мир вынести. Иначе же один крик будет, а толку никакого не получится. Но и в затворе шум большой был. Нафанаил со старцами на свою сторону гнет, чтобы им управление взять, они-де Писания умудрены. Могутные мужики свою линию держат: как было, выбрать старшину и урядника назначить. В старшины мельника метят. Большой спор был, чуть ли не до драки. Когда попритихли, возговорил Лукич Селиверстов, не больно могутен он был, однако, хватистый по торговому делу. Лен, воск и прочее в Уренях на себя искупал и сам в пород возил; там и набрался разуму. – Старцы, – говорит, – нам, извините, непригодны. Писание, конечно, святое Божие слово, а только мы люди есть, человеки, во грехе пребывающие, и по Писанию жить не можем. С другого же понимания старшина и урядник есть власть, однако, начальству подчиненная. Досель становому и исправнику повиновались, а в конечном счете царское повеление соблюдали. А теперь – в чьем они будут повиновении? Выходит, этого-то товарища Ленина, который на царское место заступил, а от него опять к Фролке, к другому такому злодею в лапы... Это так... Опять же рассудить: тот же Фролка объяснял, что товарища Ленина приказ: власть на местах утверждать. Значит мы, Урени, свою власть сотворить в полном праве, и такую власть, чтобы верху над ней не было... – Царя, что ли! – А хотя бы и царя... или как бы вроде... Пообсели старцы и мужики. Есть над чем позадуматься. Оно и правильно выходит, и боязно. Царь есть Помазанник Божий, откуда же сие Уреням? Однако же, цари Российские из Ипатьева монастыря вышли, и хоромы их там доселе нерушимы стоят, монахи по ним богомольцев водят. И царя в те поры на Руси не было, а вступил он на царство по народному избранию, утвержденному праведным патриархом. До окаянного Никона дело было. С другой стороны глянуть: Ленин эту власть на местах избирать велит, значит, с ним спора никакого быть не может, к тому же Урени – место отлетное, сокрыто лесами и топами и проезда к нему летом нет. Начетные старцы тоже соглашаются: – Несть бо власть, еще не от Бога, – говорят, – так и в Писании сказано, только царю править с ними в совете, как оно было в древние праведные времена, щепотникам на прельщение не поддаваться и в истинном благочестии пребывать. Порешили – царя! Вышли к народу и устами Нафанаила объявили: – Своего царя избираем, а кого хотите звать на царство – того кричите! И крикнул весь народ одним голосом: – Хотим государя Петра Алексеевича, кроме его никого! Дело решенное. Старцы с могутными опять затворились в правлении. Приговор на избрание писать надо и всё в точности указать. Позвали учителя, бумагу правильно составить велели, чтобы потом чего не вышло. А каким способом Петра на престол возводить – опять спор. Начетные старцы утверждают: – Соборно помажем. Того достаточно, и царство будет крепкое. Мужики же такой пример им подводят: – А венец ваш старческий крепок? На живую нитку он без узла шьется! Окрутите в моленной потаенно, а за метрикой на младенцев богоданных в церковь иди. Хлопот потом не оберешься и мощну вытрясешь! А такого разве не бывало, чтобы парень, в моленной округившись, жену оставлял и в церкви вдругоряд венчался? Нет, вы свое благочестие творите, как хотите, а для верности без церковного не обойтись... Зовите попа! Пришел поп Евтихий, по порядку всё выслушал. – Решение, – говорит, – правильное и богоугодное. Ясное дело: Петра надо ставить, а не Фролку-подлеца, душегуба! Но помазанье производить и на ектенью поминать я Петра без указа из консистории не могу. Вот молебен с акафистом благодарственным за избавление от супостата или о здравии и преуспевании в благих делах, это возможно. Совершу и одобряю. На том и помирились: старцы у себя, как хотят, в церкви же молебен особо, и старцам идти туда надобности нет. Над приговором же до вечера трудились. Шесть раз учитель листы переписывал. Пришли к тому: быть Петру Алексеевичу царем полновластным и единодержавным над всеми Уренями. Творить ему, царю, суд справедливый в своей царской воле, по Божьему закону и его цареву разумению. Быть тому суду нерушимым, хотя бы добра и живота кого лишить. Всем же уренчанам тому его царскому суду не противиться. Ему же, царю Петру Алексеевичу, войско созывать, коли потребуется, и под начал свой брать, кого пожелает. Всем же уренским мужикам царю Петру быть покорными и не прекословить, за его же царские труды положить ему в год по полтине с дыма и по пуду зерна, иных же податей ни подушно, ни на землю, ни на промысел не накладывать. Писаря же содержать самому царю из его царских милостей. Быть тому приговору нерушимым на вечные времена. В том и расписались, кто мог, а сам царь праведный крест поставил. В моленной помазали соборно при малом народе, в церкви же на молебствие, окромя старцев, все Урени сошлись. Правда, больше вокруг храма стояли. Благолепно всё было. Сам Петр слезно молился, не вставая с колен, и мужики стояли истово. Все разумели: – Дело великое! От церкви Петра всем народом до избы его проводили, и стал он с того часа царем всех Уреней, Петром Первым. Снова жизнь в Уренях потекла тихую мерою. Святая Пасха всему народу истинным воскресением стала. Вместе с Фролкою ушел страх из села. На розговены по всем избам разубранные столы стоят. Всяк своим достатком похваляется. Не боятся, что советская власть, как при солдатишках, за “излишки” ухватится. А похвальба такая крестьянину в грех не ставится: от трудов своих разубран стол, от “пота лица”. Тем, у кого Фрол весь хлеб начисто выгреб, приказал царь Петр Алексеевич помощь мукой собрать с каждого по достатку, и сам первый три пуда отвесил. Только не в милостыню, Христа ради, такое каждому хозяину зазорно, а в долг, с отдачей к Покрову, после обмолота, и бумагу на то учитель составил. Все очень довольны были: и Христу послужили и без убытку. Светлую заутреню отстояли, кто в церкви, кто по моленным, как кому от отцов положено. Сам царь в церковь не пошел, а к Нафанаилу, но попа с крестом к себе принял, тропарь простоял, похристосовался с ним честь-честью и водкой подчевал. Нафанаил и старцы не препятствовали: царь – надо всеми царствует, и над истинными, и над щепотниками. Лишь бы себя в благочестии соблюл. Погуляли. Без этого и праздника нет. Случилась и драка промеж парней. Царь судил тут же, на месте, и тут же наказание произвел: всем драчунам без изъятия, и битому и небитому, по дюжине ременных лестовок отсчитать для вразумления. Отсчитали. Прошла Фоминая. Русалья неделя настала. Береза пахучим листом украсилась, невестой стоит в весеннем своем уборе. Лесные дебри устлались синим первоцветом, Легким духом из бора потянуло. Медведь зимнюю шерсть на дубовую кору счесывает – хозяину лесному на валенки. Русалки и чарусницы от зимнего сна пробудились, на вольной

озерной глади играют. Снял с них ледовую кабалу морозного деда повеселевший Ярило-Купало. Поэтому и неделя эта Русальей прозвана. На Егория разубрались бабы в китайчатые летники (теперь этой китайки и в Москве не сыскать). Старцы Фролу и Лавру, скотину соблюдающим, помолились, святой водой дворы окропили. Заиграл на берестяной жилейке старший уренский пастух дед Емеля, и погнали бабы мягкотелыми вербными хворостинами оскудевших за зиму чернопегих очкастых холмогорок на привольные корма, на сладкую вешнюю траву. Всё как будто по старине пошло и даже лучше. Допреж урядник себя показать любил, настырный был покойник и крикун, а также на руку скор. Перепадало от него по уху и безвинно, особливо, когда во хмелю пребывал, а к водке он был усерден. Царь же Петр Алексеевич в чужие дела не входил, молчаливым был отроду, без вины никого пальцем не трогал и не было от него никому беспокойства. Зато и крепла день ото дня его царская власть, в пояс ему и могутные мужики кланялись, а величали не иначе, как: – Царь наш, Петр Алексеевич. Только не прошло всё же без следа пребывания в Уренях Фролкиных солдатишек. На Красную горку задумала мать Колоуриха скороспелку-свадьбу сыграть. Была к тому причина: девка ее Евпраксия с одним из солдатишек погуливала. В Уренях такое дело девке в укор не идет. Обычай там вольный: девок в затворе не держат. Особенно в тех домах, которые по старой вере. Бабам иное дело. Бабу, – скудельный сосуд, – держат в страхе Господнем и мужу повиновении. Ибо сказано в Писании, и старцы подтверждают: “да боится жена своего мужа”, про девок же умолчено. Поклонилась Колоуриха бабке Лутонихе. Холстеца положила и сотенку яичек. Лутониха в книгу свою глянула и на жениха указала, на Кузнецова сына. Кузнец от того не прочь. Колоуровы хозяева статные, дом – полная чаша и роду известного, хорошего; приданным не обидят девку – самим зазорно будет. Жених тоже согласен: девка в самом соку, ягода. А свадьбы не вышло. Заартачилась девка, как кобыла норовистая. – Нет и нет! К кому захочу, к тому и пойду! Своим умом изберу любушку-лапушку, яхонта-князя! Уговаривали девку. Старицы из скита приходили усовещивать – ничего не берет, а на стариц и смотреть не хочет. – Молодыми, – крик, – были – сами жили, любовь сладкую крутили, а ушла краса, в черных галок перевернулись, деньгой чулок набивают... Родитель поучил лестовкой, а в ночь девица сгинула. Сказывал потом ходок Нилыч, что в городе ее видел. Солдата своего она там не нашла, потонул он в болоте, из Урений идучи. А живет в почете. Косы остригла, красным платком по-никониански повязана и сама вроде начальства. В главном совете сидит и на мужиков покрикивает. Бывали и раньше в Уренях свадьбы-самокрутки. Так с венцом, хотя бы никонианским. Такого же срама, чтобы косы стричь и без мужа жить, не случалось во все века. И в других девках шатание стало заметно. Бывало на праздник, под вечер, на завалинках посядут и про Алексея Божьего человека, и про Книгу Голубиную стихиры поют, али мирские стародавние: “Сад виноградный”, “Лебедь белую”. Теперь про Алексея и вспоминать не хотят. Смеются. – Алексей – человек Божий, а нам, девкам, не гожий. Одна скука от этой песни, а вот не хотите ли: Яблочко, ты мелко-рубленное! Не целуйте меня, я напудренная... У солдатишек, паскуды, научились. От парней тоже солдатским духом несет. Иные от солдат табак курить выучились. Опоганились. А он, бес, зелье антихристово, за собой блуд тянет. – Ничего, – говорят, – в том плохого нет. Всё это про грех скареды-старцы врут. Вот, когда из правления иконы выкидали, солдаты одну себе взяли, цыгарку запаленную Спасу ко рту прилепили: – На, – говорят, – товарищ Бог, покури, а то попы не дадут. И ничего им за то Бог не сделал. Отцы иных поучили лестовками и сами тому не рады: баловаться парни не перестали, только что в избах не дымят, материнского лая боятся, на гумнах украдкой дым пуцают, того гляди овины сожгут, и смотреть стали волчатами. Как пообсохло, кто пободрее лесными путаными тропами в город бегать зачал и, оттуда вернувшись, похваляется: – В городе, конечно, голодно. Откуда им, куцым кобелям, хлебушка взять! Зато весело! Собрания идут всякие, на них мудрственные слова говорят: про Бога, про советскую власть, иноземных буржуев и прочее. Ишь, какого ума набрались! Каждый вечер в мучном лабазе Баранова-купца (самого-то забрали) – представление: комедианты приезжие Петрушку строят или киношка. Про комедиантов мы и ранее слышали, это навроде ряженные или как ранее было – скоморохи, а что за киношка такая – не ведали. Учитель объяснял: – Американское изобретение. Живая движущаяся фотография. Опять ничего не поняли. К сенокосу пришли теми же тропами последние из уренских, что на войну были взяты. Себя фронтовиками зовут. Совсем обмирщенные. Цыгарки по весь день изо рта не вынимают и в избах дымят, а на бабий лай лишь посмеиваются. – От нашего дыму, бабы, целей будете. Копченые окорока по три года нетленны. Пришли голодные, но одежда справная и сапоги принесли тонкого офицерского хрома. При оружии к патронах. – Товарищ Ленин нам для защиты советской власти оставил. Опять он, Ленин, везде встречается. Для начала погуляли-покуражились: – Мы-де растакие-сякие, опора пролетарской революции! Однако, царь Петр Алексеевич их укротил, хотя без боя не обошлось. Один фронтовик навек с косою рожей остался, так его царская рука по скуле благословила. И оружие царь Петр отобрал. В правление вместе с пулеметом заперли. Присмирели фронтовики, посбавили куражу, видят – не их здесь сила. Между прочим, и сено косить надо. Дни стоят ясные, сухие, каждый зимнего месяца стоит. Занялся каждый по крестьянству. Рыло, однако, скоблить не перестали, божьего подобия не придерживаются.

Глава 17.

ИГОЛКА - СТО РУБЛЕВ!

Как скопнили сена, решил царь со старейшинами ходуна Нилыча в Кострому сгонять. Тут у крестьян недельки две льготных получается. Ране первого Спасу у нас жита не косят. Вышел из дому Нилыч, еще зорька не занималась. Путем-дорогою двух верст не прошел и взял напрямик через топь. С кочки на кочку, как заяц, попрыгивает, посошком твердыню ощупывает. Прыткий, даром, что седьмой десяток на исходе... Солнышко ясное на полдень стало, а Нилыч уже топь перевалил и, лаптей не замочив, присел в буреломе, в тенечке, хлебушка из котомки

достал, соли в тряпочке, пожевал, перекрестясь на восток, испил водички болотной и дале побрел. Любо ему бором идти. Земля чистая, желтой хвоей, как песком морским, усыпана. Могучие сосны стеной стоят, в небо вершинами упираются. Холодок. Не пробивает Ярило своими стрелами зеленые своды нерукотворенного Божьего храма. Черныши-тетерева молодые из-под ног порхают. Лиса Патрикеевна из дремучего папоротника остроносое рыльце высовывает. В чаще, в гущине и на самого хозяина очень просто наскочить. Залезет он, бурый, в малину, загребаёт лапами кусты и сосет спелую душистую ягоду. Ничего. В эту пору медведь человеку не страшен. Сытый, весь жиром залит, что боров кормленный. На ягоду, на сладкий мед его тянет. Сунь ему под самое рыло хоть телка – отвернется. Гукни на него с присвистом – убежит. Нет страха в лесах для Нилыча. Все лесные приметы ему ведомы: взглянет на пень замшальный, и тот; пень ему путь укажет. Полон творений Господних темный лес, и каждое хвалу своему Создателю воспекает. Вот хоть грибы, уж, кажется, проще их нет созданий. Бабам да ребятишкам лишь ими заниматься. А погляди, у каждой свой обычай. Стоит пузатый гриб-боровик, как купец раздулся. Нашел – ищи рядом другого. Всегда парой живут. А грузди – те скопом, в кучу собьются, сухим листом укроются и прижукнутся в тайности. Осенью опенки на пнища гнилые набегут, что цыпочки под наседку. Бери их всею горстью. Папоротник-трава клады указывать может, если кто петушиное слово знает. Много их в лесах позарыто. Хоронились здесь лихие душегубы и разбойники от царского гнева. Что нагрябят на матушке-Волге, сюда леса ташут, куда царская рука коротка. Много чего от дедов про лес слышал Нилыч, многое и сам повидал. Ученые люди говорят – лешего нет, одна выдумка. А ты ночуй в глухом лесу: и услышишь и увидишь. Днем-то он спит, а ночью хозяйство свое блюдет, осматривает. Встретишь, иди к нему без страха, но с вежливостью, шапку скинь, скажи: – Здравствуй, дедушка Когтев! И ничего тебе не будет. Тоже и русалки. Скушно им без мужского племени, известно – девки все на один лад. Попадешь к ним, – играм их не противься. Повесели водяниц, песню спой. Поиграй с одной, другой. Греха в том нет. Не исчадьа они сатанинские, а души бездольные, тоже Божьи творения. Переспал в лесах две ночи Нилыч и на луга вышел, которые матушка Волга поит. Потому они и поймой прозываются. Заблестели главы Ипатьева. Свято место древнее. Отсель земли русской устройство вышло. Мимо врат монастырских идет Нилыч. Что за притча такая? Врата настезь растворены, а монахов да нищей братии не видно. И пора бы уж к ранней благовестить, а молчат надиво подобранные певуны-колокола. Над вратами красные полотнища протянуты, а на них что-то мелом написано. Николи такого не видывал на святых вратах Нилыч. – Чудеса! Через Костромку мост, как и прежде. Только бутаря нет, который проходную копейку брал. Ну, что ж. Это к прибыли. Вот и Зотова фабрика. Велика она, десять тысяч народу кормит. А людей опять не видно, и из труб дым не валит. Неужель прикрыл Зотов свое огромное заведение? Чем же тогда людям сим существовать? Что дале, то чуднее становится. На главной площади, от которой улицы на все стороны идут, по прежнему столп каменный стоит, под ним Сусанин колена преклонил, а Царя-отрока со столба, как ветром снесло... Заместо него красный флаг утвержден. И на присутствии, и на кордерегардии, и на доме губернаторском – везде красные флаги болтаются. Здесь людно, спешит, бежит народ, а куда – не понять: на Русиной улице все окна у лавок досками забиты. Нилыч на базар подался. И здесь людно. У мясных лотков бабы йа крик друг у дружки говядину рвут. Чудная говядина, темная... Осведомился Нилыч у одной: – Почем, сударыня, за говядину эту платили? А она на него бельмы выпучила. – Слепой ты, что ль аль пьян с денатура? Говядина-то – конина! – Тьфу! Окаянство! Перед булочной – светопреставление. В двери народ лезет, друг дружку давит, а подалье чуть не на полверсты один за одним в ряд стоят, и всё лаются. Из дверей кто выскочит, малый кулечек в руках держит, а то и прямо в горсти: хлеба окромышек и еще что-то. Опять поинтересовался Нилыч: – Что это такое будет? – Не видишь, что ль, старый чорт, опять хлеба четверка да полфунта жмыха на талон! – Эге! Вот оно почему люди лаются! А навстречу баба идет. Пачку иголок в руке держит. Аккурат, что Нилычу надо. Заказала своя баба бесприменно иголок купить. – Почем пачка, мать? – На штуки продаю. Советскими сто, керенскими сорок. В уме ли она своем, али смеется? – Нилыч! Здорово! Как Бог принес? Слава те, Господи! Человек знакомый. Жирновский приказчик, что товар в Урени возил. – Здравья вам желаем. На своих, на двоих, по первопутку. – Ишь, веселый какой! Из Урени? – Из них самых. – Наслышаны. Царство там свое учредили, а у нас вишь какая республика. – Глазом вижу, а в толк не возьму. Бабонька вон эта сто рублей за иголку просит... – Скоро, дед, и тысячу заплатишь, к тому идет. – Да ведь то разоренье народу? – А кого разорять-то? Русину улицу видал? Вся торговля прикрыта, а какой был товар – обобран. Купцы побогаче в заложники взяты, в остроге содержатся, а Огородникова, барина, что за воров да за мошенников в суде заступался, на смерть застрелили. Вот она какая, республика-то – а сам в сторонку Нилыча отводит, на ухо шепчет: “Красный террор объявили, чтоб, значит, всех буржуев искоренить, чека в город прибыла и трибунал с матросней. Теперь держи ухо востро. Дай срок, и до вас доберутся. Сила! Ну, прощевай, Нилыч, мне жену сменять надо, с вечера в очереди стоит”. И улег. У Нилыча в голове, как обухом, стучит. Вот где лес-то темный! К кому пойти, кого спросить, что всё это обозначает? Решился. К землемеру. Барин хороший, ученый, годков пять назад, когда дачу казенную обмерял, в Урених у попа помещался. С той поры у него же на кухне Нилыч всегда ночевал, когда в Кострому бегал. К нему, значит. Землемер дома оказался. В огорожке копаются. Нилыча встретил ласково. – Чайку попьешь? Ничего, брат, не обмирщишься, он морковный. Китайский-то – тютю скончался, царствие ему небесное. Ну, выкладывай, с чем пришел? Все ему Нилыч поведал: и про Фролку, и про царя избрание, и про конину, и про иголку сторублевою. – Скамей, барин, на милость, что всё сие означает? Землемер бороденку почесал и очки протер. – Объяснить тебе это трудновато. Означает, сие революцию и крушение общественных устоев. Долго рассказывал землемер. Неукулемные слова выговаривал, но всё же дал мозгам просветление. Народ, царя скинув, разбаловался: работать никто не хочет, и всяк за готовое хватается. Удержу никому нет. Жрать всем надобно. Господ обобрали, купцов тоже и крестьян пообчистили. Это и есть коммуна. Теперь обирать больше некого. Потому и в булочной жмых, а иголка – сто рублей.

Фролки же всякие с мужика последнюю шкуру дерут. – А когда же тому конец наступит? – Это ты, брат, в пророки меня произвести хочешь? Но предполагать возможно. С наступлением холодов должно вспыхнуть народное возмущение, и советский строй падет. – Ленину, значит, крышка будет? – Всенепременно. И не далее, как к Новому году. – А нам как быть? – Ваша судьба может сложиться двояко: или наступлением зимнего пути вас уничтожат, или советский строй падет раньше, и тогда вы спасены. – Значит, ожидать? – Ожидать и надеяться, а по мере сил – защищаться. – Та-а-ак... Значит, всё от Бога! И на ту сторону кладет и на эту. Барин ученый, а и ему в точности ничего не известно. Где же нам-то понять! В ту же ночь Нилыч домой тронулся. Ну ее, Кострому, шутову сторону! Еще шибче назад бежит Нилыч. Земля ему споды ножные жжет. Не радуется его теперь ни дух легкий, куща зеленая, ни птичий свист. Повидал он людское томление, скверность, оскудение, и думается, что то ж и в Уренях будет. Порубят тебя, темный сосновый бор, поразгоняют птицу и зверя, сгинут русалки и девки чарусные, леший хозяин в иные места уйдет. Правое слово сказал землемер: «порублены жизни устои». Где же устоять Уреням когда вся Русь великая суетным беспутством объята?

Глава 18.

ВСЕ В ВОЛЕ ГОСПОДНЕЙ

Прибежал и без роздыха тут же царю и старейшим пересказал всё, что видел. Мужики и старцы сидят молча. Нет ни шуму, ни гомону. Царского слова ждут. Протекло время немалое, пока начал свой сказ царь Петр Алексеевич. – Что городские вместо хлеба скотьем кормом пробиваются и поганый татарский махан жрут, нам то ни к чему. Своего хлеба хватит, а убоины более того. И что иголка по сто рублей пошла, тоже беда невеликая: шивали в старые времена деревянной иглой, пошьют ею и теперь бабы, а что лавки да лабазы заколочены стоят, даже и к лучшему: соблазна менее для крестьянства. Корень же всего в том, о чем барин двоеручно высказал: устоять ли Уреням, пока Ленину с его властью рушение придет, или же наступит нам ранее того разор и от города порабощение. Коли судил Господь Уреням непогранными пребывать, и сойдется по баринскому слову, что к Рождеству Ленину и его сатанинской орде конец, то стоять на своем надо: накрепко затвориться, заставы на путинах учредить, лесу порубить и засеки поставить. Аракчеевскую гать, что при Галицком шляхе – разорить. Своего же воинства до трех сотен поставить можем, и все стрелки. Окромя того и солдатский пулемет имеется, фронтовик же Яшка палить из него умудрен. Даст Бог – отсидимся. Если же по баринскому слову не сбудется, то лучше нам допреж самим на мир идти и городских к тому склонить. Поклонимся хлебушком, рыбкой, убоинкой от своего изобилия. Голодный народ за хлеб святой крест с шеи снимет, а тем более на нашу сторону склонится, Вот это причинство и надлежит нам здесь соборно порешить. Теперь все разом зашумели. Кричат, один другого не слушает. Мельник орет: – Знаем это дело по Фролкину примеру! Накормишь их, несытых! В одной Костроме сорок тысяч ртов, а, поди, по другим городам посчитай. Оберут дочиста! – Верно! Палец им дай, они всю руку потянут. – Нет! На мир надо склоняться. Против рожна не поперешь! Сам говоришь – одна Кострома сорок тысяч. А по всей губернии сколько? Не устоять Уреням супротив такой силы, – орет Лукич Селиверстов, что торговлишкой занимался. – А тем более, народ отощал, злой, что волки о Николу Зимнего. – С отошальными-то легче! Какая в них сила? – Всё от Господа! – На мир идти! – Затвориться! – Пропадем в затворе! – Отсидимся, милостив Бог! Нафанаил восстал с простертой дланью. Огнем-полымем палит, честная скуфейка со лба на темечко сдвинулась. Велиим гласом орет, всех покрывает: – Стоять, яко столпы веры истинной! Аввакуму подобными быти, ибо на правящих след ему – благодать! Многие гонения претерпевали в вере истинной пребывающие, однако ж и доселе лампы наши пред святыми ликами теплятся. В дебри уходили, в пещерах и звериных логовах укрывались, а устояли. Позор, разграбление и мученический венец принимали, а живы по сей день! Огнем себя палили и неопалимы остались! И днесь смирится лютость супостатов, посрамлена будет гордыня антихристова! Устоим, не покоримся! В затворе пребудем, яко с нами Бог! Страхолюден Нафанаил, аки лев рыкающий. Истинно на нем сила Господня! Кто за мир стоял, те устрашились и покорились. Также, конечно, всяк достаток свой посчитал, почто из него немалую часть сдавать городской швали? И царь думы крестьянские понял, встал, окрестился двуперстно и рек: – Затворимся и станем нерушимо! Убрались. Обмолотились. Что главное по крестьянству – всё справили, лен подергали, картошку порыли. Олень уже давно в Унже рога омочил – застуденели воды. Пали инеем на траву первые заморозки, и рябина в лесу пожухла. – Пора! Созвал царь всеобщий сход. Посчитали силу – с солдатами поболее трех сотен ружей набралось, хотя многие старинного изделия – шомпольные и даже кремневые с растробом попадались. Постановили быть всем до едина в воинстве, кому призывной срок подошел. У кого же оружия нет – косу напрямь переладить или рогатину сотворить. Вилки тоже годятся, и на медведя с ними хаживают. Когда до ратного устройства дело дошло, царь Петр всю премудрость свою показал. Отколь что взялось! Слово Скобелев – белый генерал распоряжается, делил всё Урени на два конца, а каждый конец на три сотни. Назначил концевых, сотенных и десятских на чальников. Аракчеевскую гать более чем на две версты разорили и в малом расстоянии потаенную в лесу землянку вырыли. Там Нилыча с подручными безотлучно пребывать оставили. Перед самими же Уренями многие засеки навалили из сосен. – Сунься! Бери нас! Ожидают городских в Уренях без особой тревоги. На Нилыча крепко надеются. Не сплешает старый, вовремя весть даст. Снежок по малости перепадает, но пути настоящего не становится. По Унже только шуга идет, льду нет. Крестьянство ободрилось: – Не пойдут на нас городские! Сплоховали! на расправу... Повеселело и суровое лицо царя Петра Алексеевича. Думалось ему: – Недалек уже срок, барин советской власти поставленный. Вести из города идут добрые: голод там и на этот год лютует, дров, тоже нет – не везут мужики. Весь народ на советскую власть в большой обиде, даже фабричные, что прежде стеной за нее стояли, теперь

отшатнулись. Конец приходит Ленину. К тому же и погода держится. Хотя и снег, но настоящей зимы нет. Крепкие морозы ударили лишь на Варвару Великомученицу. Унжу в одну ночь сковало. В болотах же вода потеплее, споду греется. На них твердынька тонкая. Но советская власть того не ведала, и разом, как стала река, войско снарядила на Урени. Нилыч сподручного прислал: – Видно. По шляху идут, перед гатью стали. Вскоре же сам прибежал. – Сунулись, окаянные, мест наших не зная, в топь, где гать была. Ста шагов не прошли – пушку свою увязили! А сила большая: не меньше, как сот два, а то и три... И назад поспешил для наблюдения. Каждый день стали вести приходиться: – Согнали мужиков из Чудова, гать мостят. Работа споро идет. – Орудие вытащили. В ночь все трое прибежали и прямо к царю: – На твердь вышли. В бору ночуют, костры палят. Надо думать, завтра ждем гостей. С солнышком царь повелел в била ударить. Не идут, а бегут на выгон мужики. Иные веселы, а на иных лица нет. Друг дружку спрашивают, а пока ничего толком не знают. Кто гуторит: – Большая сила идет, и сам Ленин с ними. А кто смеется: – Солдатишек беглых, “дезиков”, которые за хлебом с мешками по мужикам шастают за воинство посчитали... Тоже Аники-воины!.. Вышел на крыльцо царь и всё в точности объяснил. По концам народ разбил и по сотням развел. Навстреч городским малый дозор выслал. Самых первых охотников; на лыжах побежали. С остальными старческую молитву на выгоне отстоял, а церковники к попу на молебен сходили. Потом собрал Петр Алексеевич начальников, концевых и сотенных, и на совет в правлении затворился. Говорил там царь: – Сподручнее нам этой ночью самим на супостата ударить, пока он с краю топи обозом стоит. Время ночное – жуткое. Всполошим, попятим маленько, с тверди собьем, а на болоте-то еще не крепок лед, споду его греет. Завязнут люди, а орудие всенепременно. Наш верх будет. Концовые же и прочие сомневаются. – Наши мужики от дворов не пойдут, а коли и двинутся начала ради, то со страхом и трепетом. Силы боевой, куражу в них не станет. И царь и старцы сами про то знают: – Мужик, как кобель цепной: на своем дворе лют и могутен, а отведи его от родного дома – осунется и духом смирится. Вся доблесть из него паром выйдет. Это верно. Порешили в засеках держаться. Там и укрытия крепкие. Стрелки наши меткие: иные векшу в глаз пулькой малой достают, чтобы шкурка красу не теряла. – Сподобит Бог городским отпор дать, тогда осмелеет мужик, окрепнет духом. Возможно супостата и в топь гнать, а болот у нас повсеместно в достатке. На том и решили: – Стоять. В тот же час царь концевым и сотенным места боевые указал. В ночь от лыжных двое прибежали. – До Дивьего дуба достигли и округ часовни, что по купце, злодеями убиенном, в давние времена поставлена, обоз расположили. Дивий дуб тот верстах в восьми от Урени стоял. Триохватное древо, многовечное. И при дедах таким же был и Дивьем прозывался. На Троицу уренские девки, кто заневестится, венки с лентами на ветви его вешали, чтобы Див к Покрову хорошего жениха сыскал. А что за Див такой и какой ему чин, того никто не помнил. Ночью округ села дозоры ходили, однако ничего не заметили. Солнышко ясное на небо не восходило – наши все по засекам, а царь со старцами уже там. Ожидаем. Остатние лыжники прибежали. – Близики. Мы лесом бежали, а ихних пять саней по тропе след нам правят. Эти – передовые, сила же за ними верстах в двух. Не минуло долго времени, выкатывают по тропе пять саней, как сказывали. Едут не шибко. Тропа – не шлях. Снежно. Коням по пузо в низинах. На передних санях красный флаг утвержден необычного вида, поперечно, вроде хоругви и на золотых шнурах с кистями. Кони тоже все красным тряпьем разубраны. Сидят в санях по пятеро. Более ничего не видно. Подъехали шагов на два ста. Мы не палим. Ожидаем. Снимаются с саней. Подводы оборачивают, в ряд ставят и чего-то на них копошатся. Трое флаг берут и к нам идут. Флагом помахивают, издали орут. – Товарищи-крестьяне, не стреляйте! Допреж того поговорим. – Поговорить можно. Отчего же? Подошли не ближе, как на дубовую тень, – шагов на двадцать. Трое. Один в шубе опашной, енотовой. Другие в солдатских шинелишках. Тот, что в шубе, становится, флаг передает и кричит: – Товарищи-крестьяне, вы обмануты! Обнаглевшие контрреволюционеры, враги советской власти распространяют о нас гнусные слухи. Не верьте им! Мы, коммунисты, несем крестьянству мир и раскрепощение... – и пошел чесать. Уренские слушают. Знают: мир-то мир, так и Фролка объяснял, а между прочим хлебушко выгреб и скотинку посчитал... Однако, послушать можно. Даже интересно. Тут царь подошел, и старцы набежали. Вожак царя не признал, потому никакого отличия на нем не было – мужик, как и все, – а начетных старцев отличил по скуфьям и по древности. – Вот они, – орет, – попы ваши, опиумную отраву распространяют!.. А старцы как зашумят: – Антихрист! Анафема! Велиил! Слова твои блуд и смрад! Изыди от нас, окаянный! Нафанаил надрывается на все груди: – Соблазна твоего и прельщения не приемлем! Изыди, сатана! Не устрашимся врат адовых! – суковник с засеки обламывает и в жоака пуляет. Стало и нам обидно: пошто наших честных старцев срамит! Сребролюбия они подвержены, это верно, но отравлением человек не занимались! Того испокон века не было. Начали и мы в городских снежинами и древом бить. Одному угодили в самый сап: кровью залился. Видят они – кончена их речь. Мужики сами орут, матерятся, Фролку и его продрозверстку в мать поминают. Поворотили лыжи к саням. Там остатние порассунулись, а Симка Трохимов глазастый был – пулеметы в санях подузрил. – Глядите, – кричит, – с миром пришли, а в соломе пулеметы... Мужики сильно обозлились и палить хотели, только царь не велел до времени. Стала ихняя главная сила подходить. Пулеметы с саней стащили и в лес поволокли. Что ж, Урени свой имеют: в срединной засеке, на самой дороге поставлен, ветками еловыми фронтовики его укрыли. Они же при нем и состоят – пять человек. Солдатишки в лес по обе стороны расходятся, но палить не зачинают. Урени тоже греха брать на душу не хотят, да из охотничьего снаряда и далековато. Царь Петр Алексеевич засеки обошел, с ним старцы – иконы древние носят, стихиры дроботными голосами поют. Урени – ничего, не робеют. Так больше часа прошло. Совсем ободрились. Кто и духом слабел, и те повеселели. – Надо полагать, без крови обойдется. Не пойдут солдаты на Урени, – многие так подумали. Вдруг, как ударит, завыло, засвистело... Словно змей огненный из лесу вынесся... С краев пулеметы, как тетерева, затокали. – Мать Пресвятая Богородица! Владычица Небесная! Вот она, война-то, какова! Пулечки промеж нас посвистывают, по засечным соснам постукивают, чок да чок. Уренские тоже палить начали, не в прицел, а более для личного ободрения. А оно

опять ударило, завывало, засвистало... И еще, и еще, разов пять или шесть... Фронтовики орут! – Шрапнель! По селу бьет! Васютка Железнов, только с Покрова его оженали, на снегу карежится, словно вьюн, выкликает дурным голосом: – Смертушка моя пришла! Пришел мой час! – в утробу ему пулька ударила. Оглянулись, а из села бабы бегут, ребяташек волокут, иные, что под руку попало, тащут. Словно на пожаре. Это их шрапнель проклятая напугала. Обезумели. Царь Петр Алексеевич вдоль засек бежит, как лось сохатый, снег пургой раскидывает. Шумит фронтовикам издалека: – Чего вы, растакие-сякие, из пулемета своего бить не зачинаете! А те – через засеку – скок! Отбежали шагов на двадцать, руки вздели и орут: – Не стреляй – свои!.. Тут на Урени страх и нашел. Потекли мужики, кто куда! Одни в село, к бабам и добру своему, другие – в лес. Добежал до средней засеки царь Петр и видит: там одни старцы округ Нафанаила в кучу сбились, кто подревнее – в снег поседали, крестятся. Нафанаил же стоит, аки столп, Нерукотворенного Спаса древнюю икону подъявши, глаза выпучил, уста отверзты, а голос из нутра не идет. Словно закаменел. Оглядел Петр Алексеевич округ себя на все четыре стороны, перекрестился, опустил могучие длани и стал под сосенку. А солдаты из засеки бегут по всей линии, винтовки держат наперевес и не палят даже, разве один-другой стрельнет из озорства. Добежали. Окружили царя и старцев, наставили на них штыки. – Сдавайтесь! Какая может быть сдача! Сами видят: стоят перед ними немощные старцы, все без оружия. Петр Алексеевич свою винтовку допреж того в снег бросил. Солдаты лаются: – Кончилась ваша контра, гады! Ишь, чего задумали: советскую власть сокрушать! Поумней вас о том стараются, да не выходит дело! Фронтовики наши уже промеж них крутятся, цыгарки раскуривают, указывают на Петра Алексеевича: – Вон он самый царь есть, всему глава! Солдаты разом на него, кушак открутили и руки ему назад повязали. Тоже сотворили и над Нафанаилом. Оба они не противились. На могучность Петра Алексеевича дивуются. – Ну и сила! По ней судя, должно, и в цари выбран. Прямой Петр Великий. – А его и звать Петром, – кажут уренские фронтовики. Смеются. Приспел и в енотовой шубе. – Этот царь? – указывает на Петра. – Он. – Здравия желаем, ваше уренское величество, – смеется. Повели всех к Уреням. Царя с Нафанаилом впереди и штыки на них наставлены, старцы сзади кучей. Однако, никого не бьют, только лают. Царь за весь путь ни одного слова не вымолвил. Всегда молчалив был мужик, а тут как окаменел. Только когда его на крыльцо правленское возводили, оглянулся и в пояс Уреням поклонился. – Да будет воля Твоя, о Господи! После взятия Уреней красной армией началась обычная расправа. Кроме царя, Нафанаила и начетчиков, забрали около пятидесяти зажиточных крестьян, мельника, торговца Селиверстова, а также и попа с учителем. Всех в ту же ночь погнали пешком в Кострому, дав, правда, проститься с родными. Отряд остался в селе. Начался такой грабеж, что уренчане с умилением вспоминали о Фролке. – Тот хоть жито забирал, но на прокорм оставлял, а скотинки хватил самую малость. Эти же... Село было обязано не только выполнить продналог и все поставки за просроченное время, исчисленные в непомерно высоких цифрах, но внести пеню и уплатить контрибуцию деньгами. Для гарантии уплаты взяли заложников. Жены арестованных, ошалев от страха, вытаскивали заветные кубышки и вытряхивали их в полы красноармейских шинелей. Красноармейцы, участвовавшие в “Уренском походе”, так разжились, что цена золота и “романовских” на костромском базаре пала чуть не на половину. Зерно выкачали дочиста, угнали большую часть скотины. Подвод нехватало даже в богатых лошадьми Уренях. Созвали возчиков из соседних сел. Картошку тоже забрали и, как водится в социалистическом хозяйстве, свалили на правленском дворе в огромный ворох и поморозили. Но всё же увезли к весне: голодные горожане всё сожрут, еще в очередях за нее драться будут. Тащили и по мелочи. Зайдет красноармеец в избу, увидит хорошие хозяйские сапоги или валенки: – Дай-ка примерить! И кончено. Всегда по ноге приходились. Шитые шелками ручники из-под образов, как правило, шли “на оборону”. Впрочем, существовала своя воровская этика: красноармеец, живущий на постое, в своей избе не крал и даже защищал хозяйское добро от налетов, если баба прикармливала жирно. – Разжирели, аспиды, как боровы к Пасхе, – говорил Нилыч, но сам он этого уже не видел, так как был взят в первую очередь и пошел с царем и старцами в Кострому. Всего в первую очередь было взято человек тридцать: сам царь, писарь, все старцы с Нафанаилом, православный священник, дьячок, начальники уренского ополчения, Нилыч с подручными, мельник, из мужиков – кто побогаче. Эти пошли в первую голову, а через недельку за ними последовало столько же заложников. Брали и после, но уже по мелочи – двух, трех, пятерых. В костромском остроге, переименованном уже в трудовой исправительный дом и украшенном огромным плакатом с надписью: “Советская власть не карает, но исправляет”, в те времена еще царил хаотическая “вольность”. Большинство камер днем не запирались, передачи принимались в любое время и почти без проверки, в одиночках сидело по 8-10 человек, да иначе и невозможно было бы вместить в тюрьму толпу, в десять раз превышающую ее нормальную вместимость. Заключенные спали даже в коридорах. Чека еще оформляла себя и вырабатывала свой костяк. Действовали “суды народной совести”, военно-революционный трибунал, железнодорожный трибунал, и на ее долю оставалось немного, главным образом добывание остатков офицерства и вылавливание “недорезанных”. Расстреливали, но не особенно рьяно. Кострома была в этом отношении “тихим” городом. Делалось это просто, часто даже без приговора: возьмут человека ночью “с вешшами” – и поминай, как звали. Запевалами были матросы. Они составляли ядро трибуналов, верховодили в “народном”, послабее, но всё же значили многое в Чеке. Их сплоченная кучка в 80-100 человек держала в руках и город и губернию. К матросам и попали уренчане. Встречать их сбежалась чуть ли не вся “братва”. Гоготали. – Смирррно! Равнение направо! Его уренскому в личеству салют! – Который же самый царь? – Не видишь, что ли? Какой всех выше... – Прямо Петр Великий из кунсткамеры! – Вершка на два повыше будет. – Здравия желаем, ваше императорское величество! Становились во фронт и отдавали честь, глумливо выворачивая растопыренные пятерни, кланялись в пояс, прижавши руки к животу. Петр Алексеевич прошел мимо них, словно их и не было. Входя в ворота, окрестился двуперство и, назад обернувшись, поклонился. Это он с волей прощался. В тюрьме повторилось почти то же. Сбежались из всех открытых камер. Коридор до того забили, что конвойные

штыки наставили и даже для острастки в потолок раза два хлопнули. Мужички, за несдачу продналога взятые, помалкивали, лишь любопытствовали царя увидеть, слух-то об Уренском царстве по всей губернии прошел, ну, а жульё, то почище матросов глумилось. Им тюрьма “родной дом”, дело привычное. Когда принимали по списку и в книгу записывали о годах и происхождении, Петр Алексеевич ответил: – Крестьянин. – А как же царем стал? – И из крестьянства царю быть возможно... Разместили по камерам. Царя со старцами в одиночку загнали и заперли. С ними попал и Нилыч. – Тесно было, это верно, – рассказывал он, – днем-то ничего еще, сидим себе по стеночкам на мешках, а вот спать трудновато. Ложились на бочки, поплотней друг к дружке и аккуратно на всю камеру. Ночью, если кому повернуться, бок затечет или по своим надобностям встать, так буди всех. Вставайте и сызнова ложитесь. Всё же в Костроме нам жилось сходственно: бабы приезжали, хлеба, пирожков привозили; не голодовали, слава Богу. Шпана тоже не озорничала. Боялись нас. Уренчане-то народ дружный и к ручному действию привычный: о масленую всегда концы на кулачки сходились и в буднее время случалось. Поди, подступись! Сунулись спервоначалу, да и отстали. На допросы водили и в одиночку и группами. Дознаваться особенно было нечего. Дело ясное – контрреволюционное восстание. Уренчане сами не запирались. Зачем врать? Что было, то было. Только над одним вопросом пришлось потрудиться следственной комиссии. – Кто зачинщик? Кто подстрекал царя избирать и советским распоряжениям противиться? – Мир порешил, – слышался всегда один и тот же ответ. Этот всеобъемлющий и вместе с тем не осязаемый реально “мир” был вполне понятен матросам, самой состоявшей из крестьян, но совершенно не уясним полуинтеллигентным горожанам, оформлявшим следствие. Им “зачинщики” были необходимы. А зачинщиков не было. В среде самих судей, они же следователи, возник раскол, и для разрешения его был вызван следователь по особо важным делам с самой Лубянки. Вот как рассказывал о нём Нилыч: – Обходительный был этот чиновник, вежественный. Не рыготал, как флотские. Волосы на нём длинные, как у дьячка, были, сам худощавый, всё покашливал и в баночку плевал да крышечкой завертывал, больной, видно. Позвал нас всех, на лавочки рассадил, а царя на стульчик. – Здравствуйте, – говорит, – граждане, я вот из Москвы приехал поговорить с вами, потому что очень ваше дело интересное... Мы молчим, а он дальше объясняет, как царя сбросили и народную власть поставили, – а вы, говорит, сами и есть народ, а против народа идете. А мы отвечаем: – Нет, господин-товарищ, не так. Наш царь – самая народная власть и есть, он от народа поставлен. – Ну, – говорит, – хорошо, ваш царь истинно от народа, а Николай царь от кого? Вы его и не видели. – И он от народа, через дедов наших, а что мы, в болотах сидючи, его не видели, в том удивления никакого нет. Другие видели. – Так он, – говорит, – царь Николай вас казнил, угнетал и налогами разорял... – Ничего такого мы от него не видели... Может, где в другой местности, а у нас, в Уренях, о казнях не слыхивали, а ежели и порол кого урядник, то по нашему мирскому соизволению... Насчет же налогов ты, барин, полегче. Мы их без царя-то на горбу своем узнали! Он тогда к Петру Алексеевичу. – Вы от какой корысти в царство вступили? – Не по корысти, – отвечает тот, – а по мирскому решению. Послужить народу всяк повинен. От той службы отказу нет. – Так вы не служили, а царствовали, правила и подать на себя собирали. – Правильно ваше слово – царствовал, а только на царстве служил, закон исполнял и закона от прочих требовал. Подать же собирал, верно, однако, по согласию, как за труды полагается. Видит барин, что не одолеть ему нас на слове. Подался. Очки снял и платочком протер. – Дело, – говорит, – ваше очень сложное. В нём не простая контрреволюция, а большая глубина. К чему это он говорил, не уразумели. Словно не по-нашему, словами неслыханными. А говорил долго и обещал на суде всё в ясность привести. Подошел и суд. Главными-то судьями матросы были, а барин этот, вроде как от себя, прокурором. Председатель – главный матрос, очень веселый попался и без руки. Но не злобный и не ругатель. Ругала нас больше барыня, что около него заседала. – Гады, – кричит, – рабочего дела враги! – всех пострелять требовала и по столу стучала, даже чернила разлила. Прокурор московский тоже нас врагами изобличал, только видно было – без злобы. – Это враги особенные, – говорит, – с генералами и буржуями их равнять нельзя. Не та линия. И мы, – говорит, – особую линию должны взять к ним в отношении. При конце суда с барыней очень поспорил. У самого даже кровь изо рта пошла, весь платочек измарал и ослабел. – Делайте, – говорит, – как знаете, а я своего мнения держусь и в Москву о том сейчас же отпишу. Отписал или нет – неизвестно. Но только после его речей матросы добрей как-то стали и даже на злобствующую барыню покрикивали. – Будет тебе, банка кровососная! Не офицерей судим, а мужиков. Это понимать надо, кто в сознании... Увели нас из суда затемно, а наутро опять привели. – Встаньте, – говорит безрукий, – и слушайте нашего пролетарского революционного суда справедливое решение. Читать приговор вам будет секретарь, потому что сам я малограмотный... Потом, ежели что нужно, то словесно разъясню. Читали приговор долго. Сначала всё про революцию, что до нас не касается, а потом и про нас: кому что полагается, каждому в отдельности, по его заслуге. Петру Алексеевичу определили расстрел, но тут и смягчение дали по несознательности и крестьянскому его происхождению. Снизостили на десять лет. Попу же, старцу Нафанаилу и учителю такого снисхождения не дали. Всем же прочим разные сроки: кому пять, кому; восемь, а кому и все десять – наравне с царем. Так и мне десять годочков перепало. Безрукий матрос посмеивается: – Смотрите, старцы, доживайте каждый свой срок, сколько кому лет дадено. Помирать вам воспрещено. Советскую власть не обманете...

Глава 19.

УМЕРЛИ, КАК ЖИЛИ

Вот отсюда и начались наши мытарства. Попа Евтихия, Нафанаила и учителя в ту же ночь расстреляли, а нас малыми партиями в разные места рассылать начали. Кое-кому и хорошо вышло, слава Тебе, Господи: на

Кинешемскую постройку попали. Оно недалеко. Волга-матушка водами своими до Кинешмы донесет. А нам с царем Петром Алексеевичем Господь иной жребий указал: великие мытарства и странствия. Месяца после суда не прошло, вызывают нас восьмерых в канцелярию: царя, значит, четверых старцев подревнее, военачальников наших, что уренскими концами в бою командовали, ну и меня... Тюремный начальник сперва бумагу нам прочел, а потом начисто всё объяснил. – Московская власть вами очень интересуется и судебное решение про вас не укрепляет. Поедете вы все в Белокаменную столицу для нового разбора и розыска в самую главную Чеку, и требует вас туда сам товарищ Дзержинский, которому от Ленина полная власть над врагами революции предоставлена. Что вам там последует, неизвестно, но полагаю, что вас всех там шлепнут. Однако же, хлеба я вам по три фунта выдам. В тюрьме-то только по четверке давали. В ту же ночь повезли нас поездом. В Москву за одни сутки доехали. Стража попалась подходящая, безо всякого безобразия, и даже на станциях кипятком нас пользовала. – Пейте, старцы, в полное ваше благоутробие, принимайте в нутро теплоту, а то вы очень древни и простым манером померзнуть можете. Доехали. В Москве нас на самоходную машину перегнали. Как она дернула, да зашумела, старцы так на гузочки и осели, крестятся, кротость царя Давида поминают. В Москве-то мы истинную тюрьму и познали. Подлинный Содом и Гоморра. Хлад, глад и всяческая мерзость. Народы там всяческие в едину кучу смешаны и несть им различия. Теснота и смрад. Праведники купно со злодеями возлежат и во едином обличий пребывают. Тут-то мы голода и хлебнули. Из дому, конечно, ничего. Следок наш и тоновому кобелю не разыскать. В тюрьме же одно поганое хлебово, да и оно из общей посуды мерзостной и нелуженой. Мы, что греха таить, в тот же самый день обмирщились, а старцы твердо свое благочестие держат, окромя полуфунта хлеба ничего не приемлют. Прошла неделя, другая... Видим: хиреют наши молитвенники, слабнут. Бывало, в уставной час на канон становились и всё, что полагается по Писанию, вычитывали. Рыгочут на них арестанты, мерзостные песни поют, а они, как колоды в омшаннике – не тронутся, только губы под честными власами пошевеливаются. Теперь нет. Выползут из-под нар (арестанты нас всех под нары забили, говорят: закон такой в московских острогах), вылезут на карачках, лбами о каменный пол стукнут, перекрестятся и назад. Отец Варнава первый преставился. Выволокли мы его за ноги из-под настила, хотели на стол положить, обмыть-обрядить, – нет! Как заорут арестанты: – Куда падаль свою волокете? Стол поганить вздумали? Стучи дежурного! Снесли мы покойничка в подвал, там их еще с десяточек понавалено было, и к вечеру от нас и остатних старцев увели, сказали – в больницу. Только мы их и видели. Еще с месяц прошло. Мы уж стали подумывать: позабыли о нас. Нет, вызывают. – Распишитесь, – и бумажку дают. – А что же прописано-то тут, милый ты человек? – Прописано тут: ехать вам в Соловецкие лагеря особого назначения и замаливать вам там грехи сроком по десяти лет... Понятно? На Соловках уренчане держались обособленной группой, словно связанной в тугой сноп крепким оржаным пряслом. В общей казарме Преображенского собора твердо заняли свой угол и отстояли его от натиска шпаны, а ночью, когда хозяева “общей” – уголовники сунулись щупать добротные уренские мешки, первая пара уркаганов, воя и матерясь, покатила по каменному полу, словно скошенная железною рукою Петра Алексеевича. Так и потекла уренская капля в мутном соловецком потоке, не растворяясь в нем и не смешиваясь с его струями. Не было ни вражды, ни дружбы, ни сближения, ни отчужденности. Огромная суровая фигура Петра Алексеевича разом привлекла внимание соловчан, а слух о его непомерной силе скоро стал обрастать легендами. От приехавших в одной партии с ним бутырцев узнали и необычайную историю Уренского царства. Любопытствующие тянулись к царю-то с искательной улыбкой: – Вашим необычайным делом очень интересуюсь... То с наглой издевкой: – Ну, медвежье твое величество, расскажи, как ты с Лениным воевал? И те и другие получали один и тот же ответ: молчание. Словно не видел Петр Алексеевич кружащихся возле него назойливых мошек. Со своими говорил тоже редко и то разве лишь по надобности, коротко и грузно бросал слова, как тяжкие кули с плеч. В конце второго месяца жизни уренчан на Соловках случилось происшествие, разом определившее место уренского царя в многоликом каторжном муравейнике. Шпана по твердо установившемуся тюремному обычаю обокрала ночью вновь прибывших повстанцев-ингушей. Те, заметив наутро пропажу, перекликнулись хриплыми птичьими возгласами, помахали руками и застыли, сбившись в тесную кучу и вращая синеватыми белками немигающих круглых глаз. Шпана была разочарована. Она ожидала воплей, причитаний, ругательств, словом, обычного дарового спектакля, возможности лишней раз поглумиться над слабейшим, покуражиться жалкой иллюзией удали и молодечества. Вместо этого – молчаливое презрение. Сквозь тесно охватившую ингушей толпу протиснулся Ванька Пан, первый заводчик всего дела, “артист тюремной эстрады”, распевавший по вечерам гнусавым тенором похабно-сентиментальные куплеты. В руках его болтались полосатые тиковые подштанники. – Шурум-бурум, халат покупай! – орал Ванька, подражая московским старьевщикам – нонче вечер в очко барахло пускай! Плакали твои порточки, свиное ухо, – сунул он свернутую углом штанину в лицо ближайшего ингуша. В воздухе мелькнула цепкая коричневая рука, послышался сухой треск разорванной материи, и в руке у Ваньки осталась лишь одна сиротливо повисшая штанина. – Ты что? “Купленное” отнимать? Ах, гад ползучий! – и уверенный в поддержке окружающих Ванька ринулся на кавказца. Драка вспыхнула, как по команде. Ингуши, встав на нары, отбивались ногами и руками, а шпана молотила их заготовленными для такого случая выхваченными из настила досками. Соотношение сил было явно в пользу атакующих, и плохо пришлось бы ингушам, если бы в борьбу не вступила третья неожиданная сила. Этой силой был Петр Алексеевич. Не произнес ни слова, он, медленно и твердо ступая, подошел к ревушей и воющей, сбившейся в клубок толпе и, словно выполняя обычную повседневную работу, начал вырывать из нее и бросать на задние нары мгновенно затихавших в его руках шпанят. Серые комки рванья с подобиями человеческих лиц взлетали на воздух и шлепались на грязные доски настила. Так, вероятно, он метал тяжелые ржаные снопы на высокие скирды в родных Уренях. Через минуту лишь один он стоял перед сбившейся на нарах кучкой тоже притихших ингушей, а у

его колен корчился с закрученными назад руками позеленевший от страха Ванька Пан. – Чтобы всё забранное сейчас назад снести, а то... вот этого изломаю! – Сдавай “товар”, братюги, – хрипел Ванька, – а то он всамделе в ящик загонит. В наполненном за минуту до того криком и гамом соборе стояла мертвая тишина. Кое-кто из шпаны торопливо рылся в темных углах, воровато бежал к ингушам и скрывался снова, бросив на их нары рубаху, мешок, полотенце... Петр Алексеевич выпустил Ванькины руки, и тот отполз на четвереньках, оглядываясь, как побитая собака... В тот же день о происшествии узнали все Соловки, и оно стало переломным моментом в жизни «общей» Преображенского собора. Традиционные ограбления и избиения новоприбывших, не только допускаявшиеся, но поощрявшиеся получавшей свою долю “фарта” чекистской охраной, прекратились на время пребывания там Петра Алексеевича. И не физическая сила уренского богатыря играла в этом главную роль, но подсознательно понятая шпаной мощь его духовного превосходства. Он один смог противопоставить себя множеству – массе. Если бы за ним ринулись в драку и остальные уренчане, исход ее был бы иным: сотни шпанят, несомненно, избили бы и покалечили их. Так бывало не раз. Эпизод стал известен и начальству. Комендант Соловков Ногтев вызвал Петра Алексеевича к себе в кабинет, внимательно осмотрел его мутными, пьяными глазами обошел кругом, как около жеребца на базаре, и, сплюнув сквозь зубы, раздумчиво произнес: – Да... кабы такой сидел, вместо Николки, пожалуй, и революции бы не было... Иди! Когда волна острого интереса к уренскому царю спала, он всё же не затерялся в безликой соловецкой толкучке. Где бы ни находился он, вокруг него всегда было какое-то пустое место – мертвое пространство, словно какая-то незримая сила отделяла его от остальных – и от уголовников и от политиков всех видов. Это был не страх и не осознанная отчужденность, а какое-то чувство несоразмерности себя с ним, то, что заставляет говорить шепотом в пустой церкви... Страшная эпидемия сыпного тифа 1926 г., переполовинившая всё население Соловков, унесла и всех уренчан. Первым подался Нилыч. Почувствовав признаки болезни, от которой не было спасения, старик не хотел им верить, не мог примириться с неизбежным уходом от жизни, столь понятной ему и столь любимой им во всех ее проявлениях. – Неможется? – глухо спросил его царь, когда старик отвернулся от поданного ему ломтя хлеба. – Нет, так что-то... Хлеб-то непропеченный... На следующий день он всё же вышел на работу, но, войдя в ледяную воду, – мы вязали плоты, – затрясся в смертельном ознобе, потянул мокрую веревку и, напрягая всю силу воли, попытался закрепить узел. Сведенные судорогой пальцы не повиновались. Мы не могли не смотреть на него, хотя каждый из нас знал, что не нужно смотреть. Нилыч обвел нас ответным взглядом и понял то, во что не хотело верить всё его естество. Понял и вдруг улыбнулся хитровой и ласковой улыбкой, той, с которой он завершал обычно какое-нибудь мудреное дело или раскрывал перед слушателями неожиданную развязку затейливой сказки. – Вишь ты как... Вот оно, значит, отходил свои дни. Господь призывает. Вышел из пены прибоя и разом обмяк, ослабел, присел на валун, тяжело и порывисто дыша. Идти один он уже не мог. Сила жизни как-то разом угасла. Охранники, любившие веселого и говорливого старика, разрешили довести его до лазаретных барачков. Провожали Нилыча царь и я. Стоял конец мая; мелкие соловецкие березки лишь окутались нежною паутиной бледно-зеленых душистых листьев. Нилыч сорвал лепесток, растер его в пальцах, долго нюхал, еще помял на ладони и пожевал беззубым ртом, потом нагнулся, колупнул парную придорожную землю, помял, пожевал и ее, но не выплюнул. Словно причастился телом и кровью своей Великой мужицкой Матери... – Полеток-то нонче грибной будет. Земелька сладостный вкус содержит, – это к урожаю. Примета верная. У дверей барака, из которого никто не выходил живым, мы передали Нилыча санитару из уголовников. Старик виновато и заискивающе заглянул ему в глаза: – Рубаху вот они и порты чистые передадут, так ты уж соблюди, Христа ради, чтобы в целости... – потом поклонился нам в пояс: – Простите, в чем согрешил... Живите с Богом... Вечером, когда мы принесли его смертный убор, санитар сказал нам, что Нилыч уже в беспамятстве и в бреду непрерывно поет веселые песни... Много он их знал. Петра Алексеевича тиф захватил, когда все уренчане уже покрылись черным саваном соловецкой земли. Утром на работе, как всегда неторопливо и размеренно, выполнил обычный урок, но, войдя в ворота кремля, не завернул в свой Корпус, а пройдя шумный в эту пору дня двор, стукнул дверью в шестую роту, где концентрировалось православное и католическое духовенство. – К отцу Сергею... Самый старый из всех ссыльных священников отец Сергей Садовский приоткрыл дверь кельи. – Ко мне? Чем могу... – и удивленно огладил свою седую бороду, разглядев выцветшими глазами знакомую всем фигуру посетителя. – Исповедуйте, батюшка, и допустите к Причастию... – Да ведь ты... вы как будто старой веры придерживаетесь? – У Господа все веры равны. Помирать буду. – Вступите, – приоткрыл дверь священник, и лишь спустя долгий час вышел из кельи уренский царь Петр, дав там ответ Богу в своих великих и малых мужицких грехах и приняв из Круглой некрашеной мужицкой ложки сок клюквы и тяжкий арестантский хлеб, претворенные Таинством Подвига и Страдания в Тело и Кровь Искупителя. Зайдя к себе, он вынул что-то из мешка, бережно завернул в расшитое петухами полотенце и позвал ротного. – Всё, что есть, – ткнул он рукой в мешки, – отдать сырым и нагим. На помин души. – Да ты что? Спятил? Здоров, как бугай! Петр Алексеевич молча поднял руку и засучил полотно рубахи. – Высыпало?! А тебя на ногах еще чорт держит, – изумился чекист, – ну, топай в лазарет, прощевай, царь уренский! Аминь тебе! Петра Алексеевича никто не провожал в его последнем земном пути. Ухаживавшая за обреченными и вскоре умершая сама баронесса Фредерике рассказывала потом, что, раздевшись и улегшись на покрытый соломою пол барака, Петр Алексеевич перекрестился и вытянулся во весь свой огромный рост, словно готовясь к давно желанному отдыху. В лазарете он не сказал ни слова. Молчал и в беспамятстве. Агонии никто не видал, и смерть его была замечена лишь на утреннем обходе. Старая фрейлина трех венчаных русских цариц закрыла глаза невенчанному последнему на Руси царю, несшему на своих мужицких плечах осколок великого бремени подвига державного служения. С тех пор прошла четверть века. Темная ночь висит над многострадальной Русью и не размыкает своих черных покровов, лишь немногие яркие искры вспыхивают и гаснут в беспросветной мгле, и в их трепетном свете я вижу лицо Уренского

царя, его широкие кряжистые плечи и прикрытые разметом нависших бровей никогда не улыбающиеся глаза. Он встает в моей памяти таким, каким я видел его, когда мы работали на вязке плотов предназначенного для Англии экспортного леса. Плоты шли буксиром на Кемь и Мурманск, и там лес перегружался на корабли. Плохо связанный плот мог быть разбит волной и поэтому хорошими вязчиками дорожили; их прикармливали, давали вволю хлеба и даже мяса. Но работа на плотях считалась самой тяжелой даже на Соловецкой каторге, и немногие могли вынести шестичасовое стояние по пояс в воде Белого моря, где и летом температура не поднималась выше шести-семи градусов. Мы с Нилычем вязали “на пару”, а у царя, кроме вязки, была своя, особая работа в нашей артели. Когда грузовик подвозил очередную партию бревен и сваливал их перед грядой валунов, окаймлявших берег, нужно было быстро перебросить эти бревна через вал в пену прибоя. Мы работали урочно, и темп работы был в наших интересах. А перетаскивание через сплошную, метров пять высоты гряду, отнимало много времени. Когда гудок автомобильной сирены показывал нам, что бревна сброшены, Петр Алексеевич не спеша (он никогда не торопился) уходил за грядю. – Берегись! Мы разбегались в стороны, а из-за гряды, как из кратера вулкана, летела непрерывная череда десятипудовых обрубков. Поблескивая смолистой корой, гигантские стрелы взвивались над валунами и падали в пену прибоя, втыкаясь в прибрежную гальку. Переброска двух тонн никогда не занимала более пяти минут. – Готово! Из-за гряды медленной, осанистой поступью выходит Петр Алексеевич и подлинным русским богатырем плавною, величавою стопою идет к берегу. Ни капли пота не блестит на его широком, оправленном в посеребренную чернь лбу. Мерно вздымается богатырская грудь под расстегнутой в ворота рубахой. На темной жилистой шее – медный старинный крест. Узкую и долгую, как у апостола Павла на древних иконах, бороду чуть относит ветром к плечу. Страстотерпцем-трудником русским ступает он по святой Соловецкой земле, идет сквозь дикие, темные дебри к студеному покою полуночного Белого моря.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

СИХ ДНЕЙ ПРАВЕДНИКИ.

Глава 20.

ПРЕДДВЕРИЕ

Это было в первый год моей соловецкой жизни. Я томился еще на общих работах, рубил в лесу укутанные в снежные шубы стройные и строгие ели, очищал их от сучьев и выволакивал на дорогу. Последнее было самым трудным: нести вдвоем на плечах десятипудовый балан, пробиваться иногда по пояс в снегу, то роняя проклятое бревно, то падая вместе с ним, и совершать в день по двадцать таких переходов длиной в полкилометра каждый было под силу далеко не всем из лесорубов, а слабым старикам и непривычным к физическому труду – совсем невозможно. Но мы с моим партнером, мичманом Г-ским, были молоды, тренированы спортом и службой, он – во флоте, я – в кавалерии. Мы были здоровы и, научившись владеть топором, урок выполняли. Страдать нам приходилось только от голода, так как оба были бедны, как церковные крысы, и от вшей при ночевках на третьем этаже нар общежития в руинах Преображенского собора. Но свет не без добрых людей. Даже на Соловках. Правдами и неправдами нас перетаскивали в десятую роту, состоящую из учреждений и спецов. Я попал шестым постояльцем в просторную келью. Сожители были славными людьми, и жили мы дружно, верили друг другу, говорили свободно и единодушно боролись с тяготами режима, то посильно протестуя, то обходя их, ловчась и хитря. Но все мы были различны в своих “вчера” и “сегодня”. Старшим по камере был Миша Егоров, “Парижанин”, здесь и завязалась моя с ним дружба. Он, как полагалось старшему, занимал стоявший около печки непомерный и столь же неуклюжий “бегемот” – оставшийся от монахов широкий деревянный диван, жесткий, но со спинкой. На другом таком же диване – в нашей келье в монастырское время жили два монаха – помещался его друг еще по коммерческому училищу – Вася Овчинников, тоже московский купец, но с Рогожской старообрядец, воспитанный в строгой, еще хранившей вековой уклад семье и в столь же строгих правилах древнего русского благочестия. Приятели любили друг друга, но это не мешало им постоянно пикироваться. Третьим был турок Решад-Седад, их сверстник по годам, но с иным, пестрым и экзотическим даже для Соловков прошлым. Во время гражданской войны Решад занимался коммерческими, а быть может и контрабандными операциями между Турцией и Грузией. При захвате Тифлиса попал к большевикам и разом приспособился к новой обстановке. Он вступил в партию, куда, как иностранец, был принят в те времена с распростертыми объятиями, и начал делать карьеру, спекулируя на самоопределении наций. Сначала всё шло блестяще, коммерсант-контрабандист Решад-Седад стал ни мало, ни много, как наркомом просвещения автономной Аджарской республики. Но потом стряслось что-то, о чем Решад говорил коротко: – Очень хорошо жил, как жантильом жил... только маленькая ошибка вышла... Из Батума – на Соловки. Политическая беспринципность Решада происходила от полной чуждости его политике вообще. Он понимал и расценивал ее только с коммерческой точки зрения. Но это поклонение мамоне не мешало ему быть в личной жизни вполне порядочным, очень отзывчивым человеком и добрым, верным товарищем. Малых талантов и умения ими пользоваться у Решада было хоть отбавляй. Он был и графиком, и рисовальщиком, умел делать игрушки, музыкальные инструменты, варить сыр и мыло, коптить рыбу, готовить конфеты из картошки... чего только он не умел! С такими знаниями на Соловках не пропадали: Решад стал заведующим мастерской экспортных художественно-кустарных игрушек и поставил дело неплохо, пользуясь всем разнообразием профессий соловецкой

каторги. Рядом с ним спал на едва прикрытом какой-то тоненькой тряпочкой топчане – старый барон Иоганн-Ульрих Риттер фон Рикперт дер Гельбензандт – его полная противоположность, который абсолютно ничего не умел делать, даже сколько-нибудь сносно приспособиться к соловецкому быту. Остзеец, просидевший всю жизнь в своем рыцарском замке, читая Готский альманах и лютеранский молитвенник, он был начисто обобран шпаной в дороге, всадил себе топор в колено в первый же день работы и, лишившись коленной чашки, как полный инвалид, попал в ночные сторожа какого-то склада. Это и спасло его от гибели. Земляки-остзейцы, которым уже удалось пробраться к мизерному каторжному счастью, вытащили старика в привилегированную роту. Свободный днем, он педантично следил за чистотой и порядком в келье, работая за своих беспорядочных соседей, а убрав и буквально выскоблив ее, садился у окна и читал свой молитвенник. Готский альманах отобрали при выгрузке. Как он ухитрялся проделывать всю процедуру уборки на своем костыле, – для меня до сих пор непонятно. Его соседом по койке и соперником по древности рода был шляхтич вольный Стась Свида-Свидерский, герба Яцута, тоже хранитель феодальных традиций, на иного порядка. Пан Свидерский был молод, силен, красив и неглуп, но делом, достойным его древнего, от самого Казимира Великого, происхождения, он признавая только войну и охоту. Сколь доблестны были его подвиги на войне, мы знали только по его, заставлявшим вспоминать пана Заглобу, рассказам, но во всем, что касалось охоты, он был действительно большой и глубокий знаток. Распознавание следов зверя, обкладка его дрессировка собак, пристрелка ружей – весь обширный и сложный комплекс охотничьих наук не имел от него тайн. Право на жизнь в десятой роте ему давала очень приятная для него и небезвыгодная служба. Он был егерем Эйхманса и проводил все дни, скитаясь по острову, выслеживая дичь и тренируя собак. Сожитель он был приятный, веселый, покладистый и забавный собеседник. – Пан, спать еще рано, читать не хочется, поври чего-нибудь, – просил его по вечерам бесцеремонный и простоватый Овчинников. – Лайдак! – беззлобно огрызнулся Свида – учись гонору. Врут только хлопы и хамы, а шляхтич если и мовит неправо, то фантастикует, – однако тотчас же начинал красочный рассказ о какой-нибудь необыкновенной охоте или о роскоши “палаца” князей Любомирских. Шестым в келье был я. По странной случайности мы все были не только разных вероисповеданий, но и религиозного воспитания. Вася Овчинников – истовый старообрядец, Решад – правоверный мусульманин, барон – умеренный, как и во всем, добропорядочный лютеранин, пан Стась – фанатичный католик, я – православный, с налетом тогда деизма, Миша Егоров – полный и убежденный атеист-эпикуреец. Однажды, в декабрьский вечер, случилось так, что мы все шестеро собрались в келью довольно рано. Так бывало редко. Пан обычно поздно возвращался из леса, я репетировал или выступал в театре, Миша Егоров засиживался у своих многочисленных приятелей, и лишь барон в одиночестве перебирал в памяти своих предков – магистров и комтуров – перед уходом на сторожевку. – А знаете, ведь сегодня пятнадцатое декабря, – изрек Миша. Он всегда начинал речь с сентенций. – А завтра – шестнадцатое, – в тон ему ответил Овчинников. – Через десять дней – Рождество, – пояснил Миша, оглядывая всех нас. – Тебе-то, атеисту, до этого какое дело? – возразил Овчинников, не прощавший безверия другу и однокашнику. – Как – какое? – искренно изумился Миша, – а елка? – Елка? А Секирку знаешь? Елки, брат, у вас в Париже устраивают, а социалистическая пенитенциария им другое назначение определила, – кольнули мы Мишу его партийным прошлым. – А мы и здесь свой Париж организуем! Собственное рю Дарю! Замечательно будет – одушевился Миша. – После проверки в келью никто не заглянет... Дверь забаррикадируем, окна на третьем этаже... хоть молебен служи! Идея была заманчива. Вернуться хоть на час в безвозвратно ушедшее, пожить в том, что бережно хранится у каждого в сокровенном уголке памяти... Даже барон вышел из своего обычного оцепенения и в его тусклых оловянных глазах блеснул какой-то теплый свет. – Елка? Таппенбаум? Да, это есть очень хорошо. В моем доме я всегда сам заряжал, нет, как это будет по-русски? Надряжал семейную елку... И было много гости. Мы верили друг другу и знали, что “стукачей” меж нас нет. Предложение Миши было осуществимо, и мы тотчас приступили к выработке плана. – Елочку, небольшую, конечно, срубишь ты, – говорил мне Миша, – через ворота нести нельзя – возбудит подозрение. А мы вот что сделаем: я на угловую башню залезу и бичевку спущу. Ты, возвращаясь, привяжи елку, а я вздерну. В темноте никто не заметит. – Украшения изготовит, конечно, Решад. Он мастер великий. А свечи? – Склеим трубочки из бумаги, вставим фитили и топленой ворванью зальем, – отозвался Овчинников. – У нас в моленных фабричных не приемлют. Сами делают, и я мальчишкой делал. Умею. – Есть, капитан! Но еще вопрос: угощение? Без кутьи какой же сочельник... – Ша, киндер! – властно распорядился Миша. – Это мое дело. Я торгпред! Парижские штаны реализую, лучших уркаганов мобилизую, а угощение будет! Ручаюсь! – Но ведь еще надо один священник... Это Рождество, Heilige Nacht... Надо молиться... Я, конечно, могу читать молитвы, но по-немецки. Вам будет, как это? Непонимаемо? – Да, попа надо, – раздумчиво согласился Миша, – мне-то, конечно, это безразлично, но у нас всегда в сочельник попа звали... Без попа как-то куцо будет. Не то!.. – Вопрос в том – какого? Мы-то, как на подбор, все разноверцы. – Россия есть православный Империя, – барон строго обвел всех своими оловянными глазами и для убедительности даже поднял вверх высохший, как у скелета, указательный палец, – Россия имеет православный религион. Мой батюшка ходил в русски Kirche на Пасх, на Рождество и на каждый царский день. Он был российски генерал! – Ты, пан, как полагаешь? Ты, адамант истинный? – Пан ксендз Иероним, конечно, не сможет. Он будет занят... Пусть служит русский. – Далековато от нас Рогожское-то, – улыбнулся Вася Овчинников, – пожалуй, не поспеет оттуда нашего привезти! – Решено. Вопрос лишь, кого из священников, – резюмировал я. – Никодима Утешителя? – Ясно, его! По всем статьям – отозвался Миша. – Во-первых, он замечательный парень, а, во-вторых, голодный. Подкормим его для праздника! “Замечательному парню”, как назвал его Миша, отцу Никодиму было уже лет под восемьдесят и парнем он вряд ли был, но замечательным он был действительно, о чём рассказ впереди. Его знали все заговорщики, и кандидатура была принята единогласно. Подготовка к запрещенной тогда и на материке и на Соловках рождественской елке прошла, как по маслу. Решад задумал изумить всех своим искусством и,

оставаясь до глубокой ночи в своей мастерской, никому не показывал изготовленного. – Всё будет, как первый сорт, – твердил он в ответ на вопросы, – живой товар! Я всё знает, что тэбэ нада... Всякий хурда-мурда! И рыбка, и ангел... – А у вас, у басурманов, разве ангелы есть? – с сомнением спросил Вася. – Совсэм ишак ты! – возмутился турок. – Как мошет Аллах быть без ангел? Один Бог, один ангел всех! И фамилия та же самая: Габариил, Исмаил, Азараил... Совсем одинаково!.. Миша также держал в тайне свои приготовления, лишь Вася Овчинников с бароном открыто производили свои химические опыты, стараясь отбить у ворвани неприятный запах. Химики они были плохие, и по коридору нестерпимо несло прелой тюлениной. Выручил же ловкий Решад, добыв у сапожников кусок темного воска, каким натирают дратву. В сочельник я срубил елочку и, отстав от возвращавшихся лесорубов, привязал ее к бичеве в условленном месте, дернул, и деревцо поползло вверх по заснеженной стене. Когда, обогнув кремль и сдав топор дежурному, я вошел в свою келью, елочку уже обряжали. Хлопотали все. Решад стоял в позе триумфатора, вынимая из мешка рыбок, домики, хлопушки, слонов... Он действительно превзошел себя и в мастерстве и в изобретательности. Непостижимо, как он смог изготовить всё это, но его триумф был полным. Каждую вещь встречали то шепотом, то кликами восторга. Трогательную детскую сказку рассказывали нам его изделия... Теснились к елке, к мешку, толкались, спорили. Миша, стремившийся всегда к модернизму, упорно хотел одеть в бумажную юбочку пляшущего слона, уверяя, что в Париже это произвело бы шумный эффект. – Дура ты монпарнасская, – вразумлял его степенный Овчинников, – зеленые слоны еще бывают, допиваются до них некоторые, но до слона в юбке и допить никому не удавалось... хотя бы и в Париже! На вершине елки сиял... нет; конечно, не советская звезда, а венец творчества Решада – сусальный вызолоченный ангел. Украсив елку, мы привели в порядок себя, оделись во всё лучшее, что у нас было, выбрались, вымылись. Трудновато пришлось с бароном, имевшим лишь нечто, покрытое латками всех цветов, бывшее когда-то пиджаком, но Миша пришел на помощь, вытащив из своего чемодана яркий до ослепительности клетчатый пиджак. – Облачайтесь, барон! Последний крик моды! Даже не Париж, а Лондон... Модель! Рукава были несколько коротки, в плечах жало, но барон сиял и даже как будто перестал хромать на лишенную чашечки ногу. – Сервируем стол, – провозгласил Миша, и теперь настал час его торжества. – Становись конвейером! Сам он поместился около своего необъятного дивана и из скрытого под ним ящика начали появляться и возноситься в Мишиных руках унаследованные от монахов приземистые оловянные мисы и деревянные блюда. – *Salade des pommes de terre*. *Etoile du Nord* – торжественно, как заправский метр-д-отель, объявлял Егоров. – *Saute de тюленья печенка*, чорт ее знает, как она по-французски будет! – Ну, это брат, сам лопай, – буркнул Овчинников. – Действительно ты – адамант рогожский! Столп и только! Дубина! Я пробовал, лучше телячьей! Поверь! *Ragou sovietique*. Пальчики оближете! *Frit de селедка авес луком*! *Riz russe*... кутья... Вот что даже достал! С изюмом! – Подлинно изобилие плодов земных и благорастворение воздушных! В азарте сервировки мы не заметили, как в келью вошел отец Никодим. Он стоял уже среди нас, и морщинки его улыбки то собирались под глазами, то разбегались к седой, сегодня тщательно расчесанной бороде. Он потирал смерзшиеся руки и ласково оглядывал нас. – Ишь ты, как прифрантились для праздника! Герои!.. А сиятельного барона и узнать невозможно: жених, прямо жених! Ну, а меня уж простите, ряска моя основательных дополнений требует, – оглядел он отрезанные полы, – однако, материал хороший... В Киеве купил, в году – дайте вспомнить... в девятьсот десятом Знаменито тогда вырабатывали... – Дверь! Дверь! – страшным голосом зашептал Миша. – Забыли припереть, анафемы! Чуть-чуть не влопались. Придвигай “бегемот”... Живее да потише! Приказание было мгновенно исполнено. – Ну, пора и начинать. Ставь свою икону, адамант. Бери требник, отче Никодимче! На угольном иносческом шапчике-налое, служившем нам обычно для дележки хлебных порций, были разостланы чистые носовые платки, а на них стал темный древний образ Нерукотворного Спаса, сохраненный десятке поколений непоколебимого в своей вере рода Овчинниковых. Но лишь только отец Никодим стал перед аналоем и привычно кашлянул... вдруг “бегемот”, припиравший дверь, заскрипел и медленно пополз по полу. приоткрылась, и в щель просунулась голова дежурного по роте охранника, старого еврея Шапиро, бывшего хозяйственника ГПУ, неизвестно за что сосланного на ловки. Попались! Секирка неизбежна, а зимой там верная смерть, – пронеслось в мозгах у всех, кроме разве барона, продолжавшего стоять в позе каменной статуи. – Ай-ай!.. Это-таки настоящее Рождество! И елка! И батюшка! И свечечки! Нехватает только детишек... Ну, и что? Будем сами себе детишками! Мы продолжали стоять истуканами, не угадывая, что сулит этот визит. Но по мере развития монолога болтливой Шапиро возрастала и надежда на благополучный исход. – Да. Что же тут такого? Старый Аарон Шапиро тоже будет себе внуком. Отчего нет? Но о дежурном вы всё-таки позабыли. Это плохо. Он тоже человек и тоже хочет себе праздника. Я сейчас принесу свой пай, и мы будем делать себе Рождество, о котором будем знать только мы... одни мы... Голова Шапиро исчезла, но через пару минут он протиснулся в келью целиком, бережно держа накрытую листком бумажки тарелку. – Очень вкусная рыба, по-еврейски фиш, хотя не щука, а треска... Сам готовил! Я не ем трешного. Я тоже верующий и знаю закон. Все евреи верующие, даже и Лейба Троцкий... Но, конечно, про себя. Это можно. В Талмуде всё сказано, и ученые ребби знают... Батюшка, давайте молиться Богу! – Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно и во веки веков! Аминь. – Амен, – повторил деревянным голосом барон. – Амен, – шепотом произнес пан Стась. Отец Никодим служил вполголоса. Звучали простые слова о Рожденном в вертепе, об искавших истины мудрецах и о только жаждавших ее простых, неумудренных пастухах, приведенных к пещере дивной звездой... Электричество в келье было потушено. Горела лишь одна свечка перед ликом Спаса, и в окнах играли радужные искры величавого сполоха, окаймлявшего торжественной многоцветной бахромой темную ризу усыпанного звездами неба. Они казались нам отблесками звезды, воссиявшей в мире Высшим Разумом, перед которым нет ни эллина, ни иудея. Отец Никодим читал Евангелие по-славянски. Методичный барон шепотом повторял его по-немецки, заглядывая в свой молитвенник. Со стороны стоявшего сзади всех шляхтича порой

слышалась латынь... На лице атеиста Миши блуждала радостная детская улыбка. – С наступающим праздником, – поздравил нас отец Никодим. И потом совсем по-другому, по-домашнему. – Скажите на милость, даже кутью изготовили Подлинное чудо! Все тихо, чинно и как-то робея, словно стыдясь охватившего их чувства, сели за стол, не зная, с чего начать – О главном-то и забыл с вашими молитвами! – хлопнул себя по лбу Миша, метнулся к кровати, пошарил под матрацем и победно взмахнул такой знакомой всем бутылкой. – Вот она, родимая! Полных 42 градуса, печать... Из закрытого распределителя достал! На парижскую шелковую рубашку выменял... Ликование превысило все меры. Никто из нас никогда в жизни, ни прежде, ни потом не ел такого вкусного салата, как Etoile du Nord из промерзшей картошки; рыба-фиш была подлинным кулинарным чудом, а тюленья печенка – экзотическим изыском... Выпили по первой и повторили. Разом зарумянившийся барон фон-Риккерт, встав и держа в руке рюмку затянул Stille Nacht, Heilige Nacht, а Решад стал уверять всех, что: – По-турецки тоже эта песня есть, только слова другие... Потом все вместе тихо пропели “Елочку”, дополняя и импровизируя забытые слова, взяли за руки и покружились вокруг зажженной елки. Ведь в ту ночь мы были детьми, только детьми, каких Он звал в свое царство Духа, где нет ни эллина, ни иудея... Когда свечи догорели и хозяйственный Вася собрал со стола остатки пира, отец Никодим оглядел все изделия Решада своими лучистыми глазами и даже потрогал некоторые. – Хороша елка, слов нет, а только у нас на Полтавщине обычай лучше. У нас в этот день вертеп носят. Теперь, конечно, мало, а раньше, когда я в семинарии был, и мы, бурсаки, со звездой ходили. Особые вирши пели для этого случая. А вертепы-то какие выстраивали – чудо механики! Такое устроят бурсаки, что звезда по небу ходит, волхвы на коленки становятся, а скоты вертепные, разные там – и овцы, и ослы, и верблюды – главы свои пред Младенцем преклоняют... а мы про то поем... – Скоты-то чего же кланяются? – удивился Миша. – Они что понимают? – А как же, – всем лицом засветился отец Никодим, – понимать не понимают, а сочувствуют. Потому и они – твари Божие. Даже и древо безгласное и то Радость Господню приемлет. Апокрифическое предание о том свидетельствует... Как же скотам-то не поклониться Ему в вертепе? – Поклонился же Ему сегодня ты... скот в вертепе... – Ты иногда не так уж глуп, как кажешься, адамант, – не то раздумчиво, не то удивленно ответил Миша своему другу.

Глава 21.

ПРИХОД ОТЦА НИКОДИМА

Впервые я увидел отца Никодима в казарме Преображенского собора, куда прямо с парохода загоняли еще не рассортированные прибывающие партии. Вернее, не увидел, а услышал его. Увидеть было трудно. Высоко вверху, под опаленными, закопченными сводами древней храмины мутно желтело несколько слабых лампочек, а внизу, в тумане испарений от мокрой одежды и дыхания сбитых в сплошную кучу двух тысяч человек, неясно вырисовывались столбы тянущихся вдоль стен и между поддерживающими свод колоннами трехъярусных нар. Между ними и на них – густая, растекающаяся, как грязевая жижа, копошащаяся, гудящая толпа. – Как черви в гнилом падле... Вам приходилось видеть? – спросил мой спутник по поиску знакомых среди новоприбывших, в прошлом земский ветеринар. – В таком месиве и брата родного не угадаешь. Все на одно лицо. Вернее, совсем без лиц. Протоплазма какая-то вместо людей... Протоплазма однотонно гудела, жужжала, как гнездо потревоженных шмелей. Но у одной из ближних к поломанному иконостасу толстых четырехгранных колонн было тише, хотя сгусток безликих человеческих тел там был плотнее. Нам были видны только наполозающие одна на другую спины, а из-за них слышался ровный, шуршащий, как камешки в глинистой осыпи, голос: – Сказку тюремную похабную кто-то рассказывает. Вы такие слышали? – сказал мой спутник. – Записал даже пару. Хотел и дальше этот фольклор собирать, но бросил – все на один лад. Мерный шорох глинистой осыпи вдруг зазвенел серебристыми колокольцами, всплеснулся с ними и заиграл, как весенний ручей. – И дошел, – ликующе воскликнул кто-то, – дошел всё-таки! В язвах весь... в стружьях, значит. Ноги, конечно, в кровь сбил, – место там каменное, босому плохо. А всё-таки дошел до дому и стал на коленки... Вот! Завтра утром посмотрите, так увидите. Аккурат сзади меня, на этом столбе весь вырисован. На коленках стоит – это сын, а руки вверх поднял – это отец. Радует, значит, и Господа благодарит. – Есть за что благодарить, – отозвался другой голос, – пропойца, сукин сын, обормот, – загрохал он увесистыми булыжниками. – Такого надо поганой метлой от порога гнать!.. – Вот и нет, – всплеснул в ответ ручеек, – совсем даже по-другому вышло. Отец-то велел самого первого во всем стаде телка зарезать, гостей позвал, чтобы все радовались. Сына, конечно, в баню сводил, прибрал, как полагается, и показывает гостям, – добавил он полупшепотом. – Вот он, глядите! – ликующе выкрикнул первый голос. – Вот он у меня какой! Везде побывал; сквозь огонь, воду и медные трубы прошел; какой только грязи не валялся, а из этого смрада восстал и ко мне опять возвратился! К отцу своему! Как из мертвых воскрес. В том и радость великая... – Это по Писанию, конечно, так выходит, как выл батюшка, наставляете, – снова грохнули булыжники, – а в жизни совсем наоборот следоват, – по костромскому обрубая окончания, не унимался басовитый спорщик, – такого поганца и в избу не надо пускат... Я б его... – Вот и врешь! И ты бы пустил. Что ж ты, сына родного не пожалел бы? Нет, врешь, пожалел бы! Сын он. – Ну, може пустил бы, – помягчали булыжники, – а перед тем поучил бы. – Аккурат и поучил его отец. Наилучшим способом выучил – любовью. Твоя баба как корову к дойке приучает? Чтобы она, значит, стояла без брыка? Как? Помоев ей соберет, да поставит... Так? Значит, угощение ей, любовь. А если боем?.. – Боем никак невозможно, – согласился булыжный бас, – от боя молоко пропасть могёт. Такого нельзя. Скотина, она тоже понимает... – А ты человека, да еще сына родного ниже бездушной скотины располагаешь. – Зачем ниже, – совсем притих басовитый, – душа, это, конечно... без души быть невозможно. А всё же... – Ну тебя к... Слушать не даешь, – закричал кто-то из тесноты. – Дальше, поп, сказки крути! – Ну, дальше пошло обыкновенно. Сели за стол, проздравили родителя.

Другому сыну обидно стало. “Что ж ты, говорит, папаня, сколько я на тебя трудился, а ты меня не награждаешь, а его вон как уважил!” – Конечно, обидно, – словно его самого обидели, прогудел бас. – Опять врешь. Никакой тут обиды нет. Ты, примерно, если рупь, там, или полтинник затерял, а потом найдешь, так радуешься? Обязательно радуешься, хотя у тебя, кроме того рубля, может еще и десятка есть. А найденный целковый против нее всё-таки веселее станет. Не было его – и получился! – Фарт! Ясно-понятно, веселей! – выкрикнул опять кто-то из гущи. – Потом что было? Крути, поп! – Потом по-хорошему зажали. Все свои убытки вернули, овец приумножили и прочей скотины... Это на другой стороне обрисовано. Овцы, там, козы... А на этой, где я сижу, тут только возвращение его и пирование. В тесноте кто-то завозился, протискиваясь сквозь гущину. – Пусти! Сейчас бумагу запалю, все увидят. Вспыхнул бледный отсвет спички, а за ним по темной стене суетливо забегали красноватые блики от зажженного бумажного жгута. Но втиснувшись сам в толпу, я увидел только чью-то седую бороду, а над ней – затасканную буденовку со споротой звездой. Ни лица рассказчика, ни фрески притчи о блудном сыне, писаной кистью какого-то давно ушедшего из мира художника, рассмотреть я не смог. И то и другое я увидел лишь на следующий день придя в обеденный перерыв в казарму Преображенского собора. Рассмотреть фреску было трудно – полки верхних нар затемняли ее, а рассказчик, отец Никодим (я узнал уже его имя) сидел на краю нижних нар, и солнце, пробиваясь сквозь узкое, как бойница окно собора, ударяло прямо ему в глаза. Старик жмурился, но головы не отклонял. Наоборот, подставлял лучу то одну, то другую щеку, ласкался о луч и посмеивался. – Вы ко мне за делом каким? Или так, для себя? – спросил он меня, когда, бросив рассматривать фреску, я молча стал перед нарами. – Ко мне, так садитесь рядом, чего на дороге стоять, людям мешать. – Пожалуй, что к вам, батюшка, а зачем – сам не знаю. – Бывает и так, – кивнул головой отец Никодим, – бредет человек, сам пути своего не ведая, да вдруг наскочит на знамение или указание, тогда и свое найдет. Ишь, солнышко-то какое сегодня! – подставил он всё лицо лучу. Будто весеннее. Радость! – старик даже рот открыл, словно пил струящийся свет вместе с толпой танцующих в нем пылинок. – Ты, сынок, из каких будешь? По карманной части или из благородных? – Ну, насчет благородства здесь, пожалуй, говорить не приходится. Каэр я, батюшка, контрреволюционер. – Из офицеров, значит? Как же не благородный? Благородиями вас и величали. Правильное звание. Без него офицеру существовать нельзя. Сколько ж тебе сроку дадено? – Десятка. – Многонько. Ну, ты, сынок, не печалься. Молодой еще. Тебе и по скончании срока века хватит. Женатый? – Не успел. – И слава Богу. Тосковать по тебе некому. Родители-то, живы? – Отец умер, а мать с сестрой живет. – Опять хвали Господа, Значит, и тебе тоски нет: мамаша в покое, а папашу Сам Господь блюдет. Ты и радуйся. Ишь, какой герой! Тебе только жить да жить! – Какому чорту тут радоваться в такой жизни! Отец Никодим разом вывернулся из солнечного луча. Лицо его посерело, стало строгим, даже сердитым. – Ты так не говори. Никогда так не говори. От него, окаянного, радости нету. Одна скорбь и уныние от него. Их гони! А от Господа – радость и веселие. – Хорошенькое веселье! Вот поживете здесь, сами этого веселья вдосталь нахлебаетесь. Наградил Господь дарами. – Ну, и выходишь ты дурак! – неожиданно рассмеялся отец Никодим. – Совсем дурак, хотя и благородный. А еще, наверное, в университете обучался. Обучался ведь? – Окончил даже, успел до войны. – Вот и дурак. Высшие философские премудрости постиг, звезды и светила небесные доставать умудрен, а такого простого дела, чтобы себе радость земную, можно сказать, обыкновенную добыть, – этого не умеешь! Как же не дурак? – Да где она, эта обыкновенная радость? – ошетинился я. – Где? Вонь одна, грязь, кровь с дерьмом перемешана – вот и всё, что мы видим. Кроме ничего! И вся жизнь такая. – Не видим, – передразнил меня отец Никодим, ты за других не говори. Не видим!.. Ишь, выдумал что, философ. Ты не видишь, это дело подходящее, а Другие-то видят. За них не ответствуй. Вот, к примеру: родит иная баба немощного, прямо сказать, уroda, слепого, там, или хроменького... Над ней все скорбят: несчастная, мол, она, с таким дитем ей одна мука... А оно, дитё это, для нее оказывается самый первый бриллиант. Она его паче всех здоровых жалоствует и от него ей душе умиление. Вот и радость. А ты говоришь – дерьмо. Нет, сынок, такое дерьмо превыше нектара и всякой амброзии. Миро оно благовонное и ладан для души. Так и здесь, хотя бы в моем приходе. – Да какой же у вас теперь приход, батюшка? – засмеялся на этот раз я. – Были вы священником, приход имели. Это верно. А теперь вы ничто, не человек даже, а номер, пустота, нихиль... – Это я-то нихиль?! – вскочил с нар отец Никодим. – Это кто же меня, сына Господнего, творение Его и к тому же иерея может в нихиль, в ничто обратить? Был я поп – поп и есть! Смотри, по всей форме поп! Старик стал передо мной, расправил остатки пол своей перелатанной всех цветов лоскутами ряски и поправил на голове беззвездную буденовку. – Чем не поп? И опять же человек есмь, по образу и подобию Божьему созданный. А ты говоришь – нихиль, пустота! – даже плюнул в сторону отец Никодим. И прихода своего не лишен. Кто меня прихода лишал? Вот он мой приход, вишь какой, – махнул он рукой на ряды нар, – три яруса на обе стороны! Вот какой богатый приход! Такого поискать еще надо. – Хороши прихожане, – съиронизировал я. – Что ж, они у вас исповедуются, причащаются? Обедни им служат? – А как же? Врать тебе не буду: к исповеди мало идут, разве кто из вашей братии да мужики еще. Но душами примыкают многие. И служу по возможности. – Здесь? В бараке? – Здесь мы всего третий день. Еще не осмотрелись. А когда везли нас, служил. – Разве вас не в “Столыпинском” вагоне везли? Не в клетках по-трое? – В нем самом. – Как же вы служили? Там, в этих клетках, и встать нельзя. – Самая там служба, – залучился улыбкой старик и, снова всунув голову в солнечную струю, прижмурил глаза, – там самая служба и была. Лежим мы, по одну сторону у меня жулик, а по другую – татарин кавказский, мухамед. Стемнеет, поезд по рельсам покачивает, за решеткой солдат ходит... Тихо... А я повечерие творю: “Пришедши на запад солнце, видевши свет вечерний, поем Отца, Сына и Святого Духа”... Татарин враз понял, что хвалу Господу Создателю воздаем, хотя и по-русски совсем мало знал. Уразумел и по-своему замолчался. А жулик молчит, притулился, как заяц. Однако, цыгарку замял и в карман окурок спрятал. Я себе дальше молитвую: “От юности моя мнози борют мя страсти, но Сам мя заступи и спаси, Спасе мой... Святым духом всяка

душа живится”, а как дошел до Великого Славословия (это я всё шепотом молил, татарин тоже тихо про себя), на Славословии-то я и в полногласие вступил: “Господи Боже, Агнче Божий, вземляй грех мира, прими молитву нашу”. Тут и жулик закрестился. Так ежевечерне и служили все девять ден, пока в вагоне нас везли. Чем тебе не приход? Господь обещал: во имя Его двое соберутся, там и Он промеж них, а нас даже трое было... Мне же радость: пребываю в узилище, повернуться негде, слова даже громко сказать боюсь, духом своим свободен – с ближними им сообщаюсь воспаряюсь с ними. – Ведь они не понимали вас, молитвы ваши. – Как это так не понимали? Молились, значит, понимали. Ухом внимали и сердцем разумели. – Я вчера ваш рассказ о блудном сыне здесь слушал. Верно, шпаны к вам набралось много. Но они всегда так. И похабные сказки тоже слушать всю ночь готовы, лишь бы занимательными были. – А ты думаешь, ко Христу, человеколюбцу нашему, все умудренными шли? Нет, и к нему такие же шли, одинаковые. Ничего они не знали. Думаешь, они рассуждали: вот Господь к нам пришел, спасение нам принес? Нет, браток. Прослышат, что человек необыкновенный ходит, слепых исцеляет, прокаженных очищает, они и прут на него глазеть. Придут, сначала, конечно, удивятся, а потом Слово Его услышат и подумают: стой, вот оно в чем дело-то! Телесные глаза, конечно, каждому нужны, но, окромя них, и духовное зрение еще существует. Как они это самое сообразят, то и сами прозревать начнут. Вроде котят. И с проказой тоже: одному Он, Человеколюбец, чудом ее с тела снимал, а сотням с душ словом своим. Так и в Евангелии написано. – Где же это там написано, батюшка? Я Евангелие читал, а этого не помню... – Значит, плохо читал, – снова сердито буркнул старик, – на каждой страничке там это значится. Отец Никодим встал с нар, сделал два шага в сторону, поправил сбившуюся на затылок буденовку и потом снова обернулся ко мне. Теперь из его глаз лился свет и словно стекал из них по лучащимся морщинкам, струился по спутанной бороде и повисал на ней жемчужными каплями. – Ты, дурашка, телесными глазами читал, а душевными-то в книгу святую не заглядывал, – ласково проговорил он и погладил меня обеими руками по плечам. – Ничего. Потому это так получилось, что ты, чуда прозрения не выдавши, сам не прозрел. Очищенных от проказы не зрил. – Какие теперь чудеса, – с досадою отмахнулся я, – и прокаженных теперь нет. Исцелять некого. – Нет? Нет говоришь? Прокаженных нет? – быстро зашептал, тесно лепя слово к слову отец Никодим. Улыбка сбежала с его лица, но оно по-прежнему лучилось ясным и тихим светом. – Ты не видал? Так смотри, – повернул он меня за плечи к рядам трехъярусных нар, – кто там лежит? Кто бродит? Они! Они! Все они прокаженные и все они очищения просят. Сами не знают, что просят, а молят о нем бессловесно. И не в одном лишь узилище, в миру их того больше. Все жаждут, все молят... Лучшее светом лицо старого священника стало передо мною и заслонило от меня всё: и ряды каторжных нар, и копошащееся на них человеческое месиво, и обгорелые, закопченные стены поруганного, оскверненного храма... Ничего не осталось. Только два глаза, опущенные редкими седыми ресницами и на них, на ресницах – две слезы. Мутных старческих слезы. – Вот он, приход мой, недостойного иерея. Его, Человеколюбца, приход, слепых, расслабленных, кровоточивых, прокаженных, бесноватых и всех, всех, чуда Его жаждущих, о чуде молящих. Две мутные слезы спали с ресниц, прокатились по тропинкам морщин и, повиснув на волосах бороды, попали в последний отблеск уходившего зимнего солнца. Зарозовели в нем, ожили двумя жемчужинами и растеклись. Отец Никодим повернул мою голову к темной фреске, по которой тоже стекали капли сгустившейся испарины, такие же мутные, как его слезы. Скатывались и растекались. Рисунок уже совсем не было видно. На темном фоне сырой стены едва лишь брезжили две ликующе вздетых руки обретшего блудного сына отца. Только. – Зри, прозри и возрадуйся! – шептал отец Никодим.

Глава 22.

“УТЕШИТЕЛЬНЫЙ ПОП”

Фамилии его я не помню, да и немногие знали ее на Соловках. Она была не нужна, потому что “Утешительного попа”, отца Никодима, и без нее знали не только в кремлевском муравейнике, но и в Муксомломском богоспасаемом затишьи, и в Савватиеве, и на Анзере, и на мелких, затерянных в дебрях командировках. Так сложилась его соловецкая судьбина – везде побывал. Ссылное духовенство – архиереи, священники, монахи, – прибыв на остров и пройдя обязательный стаж общих работ и жительства в Преображенском соборе, обычно размещалось в шестой роте, относительно привилегированной, освобожденной от проверок и имевшей право выхода из кремля. Но для того, чтобы попасть в нее, одного духовного сана было мало, надо было запастись и соответствующей статьей, каравшей за антисоветскую агитацию, преступное сообщество, шпионаж или какое-нибудь иное контрреволюционное действие, а отец Никодим был осужден Полтавской тройкой НКВД за преступление по должности. Вот именно это отсутствие какой-либо контрреволюции в прошлой жизни отца Никодима и закрывало ему двери в тихий, спокойный приют. Получался анекдотический парадокс: Владимир Шкловский, брат известного литератора-коммуниста Виктора Шкловского, пребывал в окружении иереев и высших иерархов, как “тихоновец”, хотя по происхождению и был евреем. Он взял на хранение церковные ценности от своего друга-священника [11], а священствовавший более пятидесяти лет иерей, отец Никодим, кружил по всем командировкам то в качестве лесоруба, то скотника, то рыбака, то счетовода. К политике он, действительно, не имел никакого отношения ни в настоящем, ни в прошлом. – Кого-кого только в нашем селе ни побывало, – рассказывал он, – и красные, и белые, и немцы, и петлюровцы, и какие-то еще балбачановцы... всех повидал... Село-то наше стоит на тракту, что от Сум на Полтаву идет. А мне – всё единственно, что белые, что красные. Все сыны Божие, люди-человечки грешные. Господь на суде Своим не спросит, кто красный, кто белый, и я не спрашивал. – А не обижали вас, батюшка? – Нет. Какие же обиды? Ну, пасеку мою разорили... Что ж, это дело военное. Хлебает солдат свои щи... Год хлебает, другой хлебает,

так ведь и медку захочется, – а где взять? А они, пчелки-то, твари Божие, не ведают, кому медок собирают – мне ли, солдату ли? Им единственно, на кого трудиться, ну и мне обиды быть не может. – Не смеялись над вами? – Это бывало, – засмеется сам отец Никодим, и мелкие морщинки, как резвые детишки, сбегутся к его выцветшим, с хитринкой, глазкам, – бывало даже часто. Один раз большой какой-то начальник у меня на ночь стал. Молодой, ловкий такой. – Поп, а поп, – говорит, – я на ночь бабу к себе приведу. Как ты на это смотришь? – Мне чего смотреть, – отвечаю, – я за семьдесят-то лет всего насмотрелся. Дело твое молодое, грешное. Веди, коли тебе без того невозможно. – Может и тебе, поп, другую прихватить? – Нет, сынок, обо мне, – говорю, – не беспокойся. Я пятнадцатый год вдовствую, а в этом не грешен. – И не смущал тебя бес? – Как не смущать? Смущал. Ты думаешь, поп – не человек? Все мы – люди, и всему людскому не чужды. Это и латинскими мудрецами доказано. Бесу же смущать человек и по чину положено. Он свое выполнять обязан. Он меня – искушением, а я его – молитвою... Так поговорили с ним, посмеялись, а бабы он всё же не привел. Один спал, и наутро две пачки фабричной махорки мне дал, заусайловской. – Этим грешен, – говорю, – сынок! Табачком занимаюсь. Спасибо! А в другой раз на собрание меня потребовали, как бы на диспут. Оратор ихний меня вопрошает: – Ответьте, служитель культа, подтверждаете ли, что Бог в шесть дней весь мир сотворил? – Подтверждаю, – говорю, – в Писании так сказано... – А современная наука доказывает, что за такой малый срок ничего создано быть не может. На этот процесс миллионы тысячелетий требуются, а не дни. – А какие дни? – вопрошаю. – Как какие? Обыкновенные. Двадцать четыре часа – сутки. – А ты по науке читал, что на планете Сатурне день больше двух лет выходит? – Это, – говорит, – верно. Астрономия подтверждает. – А у Господа, Творца вселенной, какие дни? Это тебе известно? Земные человеческие или сатурнальные? Его день-то может в сто миллионов лет вскочит! Что ж Он, Бог-то, по гудку, что ли, на работу выходит? Эх, ты, философ, не решивший вопросов, хотел надо мною посмеяться, а вышло ему самому посрамление. – За что же вас всё-таки посадили? – Правильно посадили. Должностное преступление совершил. – Да какая же у вас должность была? – Как какая? Своя, иерейская, по чину положенная: рожденных – крестить, во плоти укрепившихся – венчать, Господом прибранных – отпевать и напутствовать. Дела хватало! Я его и выполнял по старинке: крещу, венчаю, хороню и в свои книги церковные записываю. Ан, новая-то власть новой формы требует: без свидетельства из города не венчать, без врачебного удостоверения не хоронить... Ну, а мое положение какво?! Люди всё обладили, кабана зарезали, кур, гусей, самогону к свадьбе наварили, гостей назвали, одно осталось – “Исайя, ликуй” отпеть! А тут на тебе – в Полтаву ехать! Виданое ли дело? – Батюшка, – говорят, – обвенчай! Да разве ты Оксанки с Грицьком не знаешь? Сам ведь их крестил! Какое тебе удостоверение? Ну, и венчал. А с покойниками еще труднее, особенно в летнюю пору: жара, а тут доктора ожидай трое суток... Входил в положение – хоронил. Новые правила должности своей нарушал, конечно. За то и осужден. Свои пастырские обязанности отец Никодим выполнял и на Соловках. Наперстный крест серебряный, епитрахиль, ризу и камилавку отобрали в Кеми при последнем перед Соловками обыске. Евангелие оставили, это служителям культа разрешалось. Последняя камлотовая, подбитая ватой ряска изорвалась на лесных работах до непристойности. Пришлось полы обрезать. Священническая шляпа, в которой он попал в тюрьму, давно уже пришла в полную негодность, и седую голову отца Никодима покрывал подаренный кем-то красноармейский шлем с ясно видневшимся следом отпоротой красной звезды. Посылка с воли отец Никодим не получал. Но он не унывал. Сгорбленный под тяжестью последних лет восьмого десятка, он был необычайно бодр и крепок для своего возраста. Рубить дерево под корень он, правда, уже не мог, но при обрубке сучьев топор в его руках ходил лучше, чем у многих молодых, а скотником на Муксолонской ферме он считался незаменимым. Лохмотья обрезанной рясы и мало подходящий к его сану головной убор не смущали отца Никодима. – Попа и в рогоже узнаешь, – говорится в народе, а меня-то и узнавать нечего, без того все знают. Кроме того, не рогожа на мне, а материал знатный, в Киеве купил. Починить бы толком – век служил бы еще... Всё же “нужное” у меня в исправности. Это “нужное” составляли: искусно вырезанный из дерева наперстный крест на веревочке, носившийся под одеждою, епитрахиль суконная, короткая, подбитая легким слоем ваты, и дароносица из плоской немецкой солдатской кружки с ловко подогнанной крышечкой. – Зачем же вы епитрахиль-то ватой подстегали? Отец Никодим хитро улыбался. – От соблазну. В случае обыска – чекист ее отобрать обязан. А я в грех его не введу, на себя грех возьму – нагрудничек по древности моей от кашля, а в кружечке – лекарство. Ему и свободно будет всё мне оставить. С этим “нужным” для его перевалившего за полвека служения отец Никодим никогда не расставался. Святую литургию он совершал ежедневно, встав раньше всех и забравшись в укромный уголок. Спал он по-стариковски, не более двух-трех часов. – Потому при себе ношу, что служение мое всегда может потребоваться. В Господа же веруют в тайнике своей души все. Раз заехал к нам важный комиссар, орденом. Закончил он свои дела и в сад ко мне идет, садок у меня был любительский, редкие сорта я разве пасака там же... Комиссар со мною вежливо... всё осмотрел, похвалил. Чай со свежим медком сели пить, разговорились. – Как это вы, – говорит, – в садоводстве, в пчеловодстве и прочей ботанике столь сведущий, предпо читаете мракобесием своим заниматься, людей морочить? Шли бы к нам в зимотдел инструктором – полезным бы человеком стали... – А вы, – спрашиваю, – господин-товарищ, действительно в Господа не веруете? Он даже обиделся. – Станный вопрос! Как же я веровать буду, рад я коммунист, а кроме того, человек сознательный, интеллигентный... – Так вы никогда, ни разу, сознательным став Имя Его святое не призывали? Смутился мой комиссар. – Было такое дело; – говорит, – наскочили казаки ночью на наш обоз. Я, как был в подштаниках, под тачанку. А казак приметил. Кружится на коне окрест тачанки и пикой меня достать норовит. А я, как заяц, то к передку, то к задку перескакиваю. Тут-то и Бога, и Богородицу, и Николу Угодника, всех вспомнил. Махнул на меня рукой казак и ускакал. Тут я перекрестился. Верно. Но ведь это от страха, а страх есть основа религии... – Отчего же вы от страха иное имя не призвали? – Пережитки... – потупился мой комиссар. Все в Господа веруют, и все приобщиться к Те Его жаждут. Не всегда только дано им

понять это. Вы Губичева знавали? Нет? Быть не может! Человек приметный, ростом – Петр Великий и характером крут; из бандитов был. Дня за три до кончины раздатчика чуть не задушил: порцию будто тот ему неправильную дал. Матершинник и к тому же богохульник. Владычицу Небесную беспрестанно поносил. Так вот, с неделю назад сосною его придавило, прямо поперек груди ударила. Лежит на земле и хрипит: – Амба! Попа зовите! – а у самого уже смертные пузыри изо рта идут. Ребята за мной сбегали. Я приспел, и солдат уж тут. Как быть? А Губичев глаза под лоб подкатывает. Я – солдату: – Отвернись, господин-товарищ, на малое время и не сомневайся. Видишь, человек помирает. – Вали, – говорит, – поп, исполняй свою обязанность, – и к сторонке отошел. Я Губичева эпитрахилью накрыл, прегрешения ему отпускаю, а он хрипит: – Три души... Больше понять ничего невозможно было. Приобщил я его Святых Тайн, дернулся он разок и душка отлетела. Вот вам и вера. Значит, была она у него, у смертоубийцы и богохульника! А солдат-то, думаете, зря отошел? Нет, и он под своей политграммотой искру Божию таил. От выполнения своего служения отец Никодим никогда не отказывался. Служил шепотком в уголках молебны и панихиды, исповедывал и приобщал Св. Тайн с деревянной струганой лжицы. Таинство Евхаристии он совершал над водой с клюквенным соком. – Вина где ж я достану? А клюковка, она есть тоже виноград стран полуночных и тот же Виноградарь ее произрастил. Нет в том греха. По просьбе группы офицеров он отслужил в лесу, на могиле расстрелянных, панихиду по ним и Царе-Искупителе. Его же под видом плотника проводили в театр к пожелавшим говеть женщинам. Шпана ухитрялась протаскивать его через окно в лазарет к умирающим, что было очень трудно и рискованно. Никто из духовенства не шел на такие авантюры. Ведь попадись он – не миновать горы Секирной. Но отец Никодим ни ее, ни прибавки срока не боялся. – Что мне могут сделать? Ведь восьмого-то десятка всего один годик мне остался. Прибавляй, убавляй мне срок человеческий, Господнего срока не изменишь! А с венцом мученическим перед Престолом Его мне, иерею, предстать пристойнее, – скажет отец Никодим и засмеется дробным стариковским смехом. Побегут к глазам лучистые морщинки, и поверишь, что так – светлую, веселую радостью переступит он предельную черту. С этою радостью прошел он весь свой долгий жизненный путь. С нею не расставался он и в дни свои последние, соловецкие. Этой же радостью своей стремился он поделиться с каждым, плеснуть на него водой жизни из сосуда Духа своего. За то и прозвали его “утешительным”. Долгие зимние вечера на командировках много отличны от кремлевских. Нет ни театра, ни кино, никакого электрического света. Нет возможности пойти в другую роту, послушать беспрерывно обновляющуюся информацию “радио-парашу”. На командировке раздадут ужин, пораньше, построит команду дежурный, просчитает и запрет барак. Чадит тюлений жир в самодельных коптилках... Кое-кто ругается с тоски... Случаев самоубийства в кремле я не знаю, а на глухих командировках кончали с собой многие. Затоскует человек, добудет обрывок веревки... вот и всё. Или на сосне найдут или утром висящим в углу барака обнаружат. Такого затосковавшего отец Никодим разом узнавал своими бесцветными, с хитринкой глазками. Вечерком в бараке, а то и днем на работе будто невзначай с ним разговорится. Начнет совсем про другое, расскажет, как он, будучи в киевской семинарии, яблоки в архиерейском саду воровал и попался на этом деле. Посмеется. Или попадью свою вспомнит, садик, пасеку. Смотря по собеседнику. И тот повеселеет. Тут ему отец Никодим и шепнет тихонечко: – Ты, сынок, Николе Угоднику помолись и Матери Божией “Утоли моя печали”. Так и так, скажи, скорбит раб Божий имя рек, скорбит и тоскует... Прими на себя скорбь мою, Заступница, отгони от меня тоску, Никола Милостивый... И поможет. Да почаще, почаще им о себе напоминай... У Святителя дела много. Все к нему за помощью идут. Может и позабыть. Человек он старый. А ты напомни!.. Как ручеек из-под снега, журчит тихая речь Утешительного попа. Смывает с души тоску ручеек... Светлеет чадная тьма барака. – Ты молодой еще. Кончишь срок – домой поедешь, а не домой, так в Сибирь, на “вольную”... Что ж, и в Сибири ведь люди живут. Даже похваляют. Жена к тебе приедет... Вспыхивала радужным светом Надежда. Загоралась пламенем Вера, входили они в черное, опустошенное, перегорелое сердце, а из другого, светлого, лучисто улыбалась им Любовь и Мудрость немудрящего русского деревенского Утешительного попа. Был и другой талант у отца Никодима. Большой, подлинно милостью Божией талант. Он был замечательный рассказчик. Красочно, сочно выходили у него рассказы “из жизни”, накопленные за полвека его священнослужения, но еще лучше были “священные сказки”. Об этом таланте его узнали еще в дороге, на этапах, а в Соловки он прибыл уже знаменитостью, и слушать его по вечерам в Преображенский собор приходили и из других рот. – Ну, батя, начинай “из жизни”, а потом и “священное” не забудь! “Из жизни” бывало всегда веселым и забавным. – Чего там я буду о скорбях вам рассказывать! Скорбей и своих у каждого много. Лучше повеселее что, а у меня и того и другого полные чучалы... “Священные сказки” были вольным пересказом Библии и Евангелия, и вряд ли когда-нибудь был другой пересказчик этих книг, подобный отцу Никодиму. Строгий догматик и буквоед нашел бы в них, может быть, много в Библии не упомянутого, но всё это были детали, фрагменты, не только не затемняющие, но выделяющие, усиливающие основной смысл рассказа, а, главное, отец Никодим рассказывал так, словно он сам не далее, как вчера, сидел под дубом Мамврийским, шатра... нет, не у шатра, а у крепко, навек сколоченной избы Авраама. И сам патриарх был подстать избе, смахивал малость на тургеневского Хоря, только писанного не мирским легкомысленным художником, а твердою кистью сурового суздальского иконописца. Живыми, во плоть и в рубище одетыми были и ангелы-странники. Жила и “бабка” Сара, подслушивавшая под дверь беседу мужчин... Ни капли казенного елеса, ни буквы сухой книжной премудрости не было в тихоструйных повестях о рыбаках неведомой Галилеи и их кротком Учителе... Всё было ясно и светло до последнего камешка пустыни, до малой рыбешки, вытасненной сетями из глубин Генисаретского озера. Шпана слушала, затаив дыхание... Особенным устхом пользовалась притча о блудном сыне. Ее приходилось повторять каждый вечер. Я слушал “Священные сказки” только в крикливой сутолоке Преображенского собора, но и оттуда уходил очарованный дивной красотой пересказа. С какой же невероятной силой должны были они звучать в чадном сумраке нескончаемой ночи лесного барака? Но Секирки и мученического

венца отец Никодим не миновал. На первый день Рождества вздумали всем лесным бараком – человек двадцать в нём жило – обедню отслужить затемно, до подъема, пока дверей еще не отпирали. Но, видно, припозднились. Отпирает охрана барак, а там отец Никодим Херувимскую с двумя казаками поет. Молившиеся успели разбежаться по нарам, а эти трое были уличены. – Ты что, поп, опиум здесь разводишь? Отец Никодим не отвечает – обедню прерывать нельзя – только рукой помахивает. Все трое пошли на Секирку. Весной я спросил одного из немногих, вырвавшихся оттуда, знает ли он отца Никодима? – Утешительного попа? Да кто же его не знает на Секирке! Целыми ночами нам в штабелях “священные сказки” рассказывал. – В каких штабелях? – Не знаете? Не побывали еще в них? Ну, объясню. Зимой Секирная церковь, где живут штрафные, не отапливается. Верхняя одежда и одеяла отобраны. Так мы такой способ изобрели: спать штабелями, как баланы кладут. Ложатся четыре человека в ряд, на бок. На них – четыре поперек, а на тех еще четыре, снова накрест. Сверху весь штабель имеющимся в наличии барахлом укрывают. Внутри надыхат и тепло. Редко кто замерзнет, если упаковка тщательная. Укладывались же мы прямо после вечерней поверки. Заснуть, конечно, не можем сразу. Вот и слушаем “священные сказки” Утешительного попа... и на душе светлеет... Отца Никодима у нас все уважали, епитрахиль ему соорудили, крест, дароносицу... – Когда же он срок кончает? – Кончил. На самую Пасху. Отслужил ночью в уголке Светлую Заутреню, похристосовался с нами. Потом в штабель легли досыпать, он же про Воскресение Христово «сказку» сказал, а наутро разобрали штабель – не встает наш Утешительный. Мы его будим, а он холодный уже. Надо полагать, придушился – в нижний ряд попал. Это бывало. Сколько человек он у нас за зиму напугивал, а сам без напугивания в дальний путь пошел... Впрочем, зачем ему оно? Он сам дорогу знает.

Глава 23.

ВАСИЛЕК - СВЯТАЯ ДУША

Каждая прибывающая на Соловки партия попадает сначала в первичную обработку. В первый год жития Соловецкой каторжной обители первый повелитель острова Ногтев встречал новых ставшим теперь пословицей окриком: – Здесь вам власть не советская, а соловецкая! Потом, став у окна сторожевой будки на пристани, “шлепал” из карабина одного или двух, остановивших на себе его внимание. Приехавшая из Москвы комиссия “шлепнула” самого Ногтева. Таков неписанный закон всех революций. “Первичная обработка” приняла иной вид. Всех прибывших, проверив их по списку, загоняли в одно из отделений Преображенского собора и тотчас же, разбив на группы, усылали в лес на работу. Проработав 5-6 часов, они возвращались; ели, спали четыре-пять часов, затем их снова угоняли на работы, снова возвращали и так в течение 10-15 дней. В это время на острове стояли белые летние ночи. Главные многочисленные партии прибывали в июне-июле, – солнце едва скрывалось за горизонтом и снова выныривало... День? Ночь? Представление о времени терялось... На измученных, истомленных тюрьмой и следствием людей накатывалось раздавливавшее их волю бремя непрерывного бессмысленной труда. Ими овладевала безнадежность. Такова была цель “первичной обработки”. В эту обработку попал тот, кого я условно называю вымышленным именем Василий Иванович, т. к. не уверен в его смерти и никоим образом не хочу нанести какой-либо вред этому светлему во всех днях его жизни человеку. Василий Иванович был русским интеллигентом полным и лучшим значении этого слова. Более того, был носителем той специфически московской культуры которая сто с лишним лет гнездилась и выводила птенцов в лабиринте переулков Арбата и Пречистенки, тихой заводи Собачьей площадки, где над одинокой урной пахнущие медом липы и теперь шепчут имена живших здесь Хомяковых, Аксаковых и здесь же их посещавших Пушкина, Гоголя, Герцена... Последнее поколение этой славной плеяды не покинуло своего родового пепелища, и его азиатским именем назвал Андрей Белый одну из своих симфоний. Это поколение можно было видеть на премьерах Художественного театра, на симфонических концертах в скромном зале консерватории, в редакциях толстых московских журналов и “Русских ведомостей”, на кафедрах университета, на средах литературно-художественного кружка... и мало ли где еще... Оно носило на себе неповторимый отпечаток гармоничного сочетания московской фрондирующей чаадаевской барствственности с лучшими традициями искреннего и истинного народничества. К этому поколению принадлежал и Василий Иванович. Окончив Московский университет в блестящую эпоху Ключевского, Муромцева и Трубецких, он, под эгидой одного из крупнейших адвокатов того времени, вступил защитником прав человека в храм законности и суда правого, скорого и милостивого, лучшего и гуманнейшего в мире суда Российской Империи. Ко времени революции он сам уже был видным адвокатом, бравшимся, как говорили, только за “чистые” дела. Это было правдой. Компромисс со своею совестью был чужд, противоречив всему кристаллически-ясному духовному складу Василия Ивановича. Революция коснулась его лишь поверхностно. Он не был политиком, и ни одно из политических течений не вовлекло его в свой круговорот. Время катилось... Октябрьский сквозняк сдул с игорного стола революции карточные домики прекрасных слов, благородных устремлений, буквенной, книжной премудрости. Один за другим стали пустеть арбатские и пречистенские уюты. Василий Иванович имел полную возможность эмигрировать, но не сделал этого, потому что всем существом своим верил в человека, в его совесть и волю к добру. Наступавшее безвременье казалось ему, как и многим тогда, лишь краткими часами похмелья народной души, после которого она неизбежно должна воскреснуть очищенной и обновленной. Но в отличие от многих, мысливших одинаково с ним, он не считал себя вправе даже временно оторваться от народных масс вздыбленной, мечущейся Руси. Он остался, не изменив своего пути служения праву и справедливости, но стал лишь называться правозаступником, а не адвокатом или присяжным поверенным. В те годы уголовный кодекс СССР еще не был разработан. В судах сидели не бездушные роботы, тупые исполнители постановлений ЦК ВКП(б), а малограмотные,

обалделые, порою даже осатанелые, но всё же люди, поставленные судить “по революционной совести”. С одним из таких судей я был приятелем на Соловках. Это был одноногий матрос-инвалид, бузотер и матерщинник, разудалая головушка. – Вышел нам приказ из ЦИК'а за перевод зерна на самогон полный бант в десятку давать, а в особых случаях и шлепку, – рассказывал он мне. – Вот сделают облаву на селе, приведут ко мне десяток стариков да солдаток, вещественных доказательств ведер пять представят. Я и сужу по революционной совести: дюжина вас? Вот и получайте себе сто лет на всех да сами и делите! Через неделю всех их из тюрьмы амнистирую по разгрузке, а вещественное доказательство в срочном порядке ликвидирую. Потому мне так моя революционная совесть велит. У солдаток дома ребята кашки просят, да и самогон не гидра-контра. Может, там у Ленина совесть стрелять таких позволяет, а у меня – своя... Эта своя личная революционная совесть, совместно с усиленной ликвидацией спиртуозных вещественных доказательств и привела на Соловки красу и гордость революции, ее искреннего партизана. Василий Иванович в своей новой судебной практике безошибочно находил верный путь к этой, порою уродливой, искривленной, но еще жившей тогда в сердцах людей совести, к чувству личной ответственности перед; живым человеком, а не перед мертвой буквой постановления ЦК, и легко прокладывал к ней дорогу. Уродливость и кривизна путей не отталкивала, а привлекала его. – Люблю я неправильных людей, – признавался он после задушевного разговора с рецидивистом или чекистом-“шлепальщиком”. Он говорил с ним без брезгливости, не снисходя, не осуждая, но и не впадая в слезливость, подлаживание, своеобразную елейность, столь обычную в разговоре интеллигента с простым человеком. Этот природный внутренний такт, соединенный с нерушимой уверенностью в наличии зерен добра в каждом человеческом сердце, открывал ему, казалось бы, наглухо замкнутые двери. В бытность правозащитником ему пришлось хлопотать за какого-то уже приговоренного к расстрелу, но совершенно чуждого политике арбатского москвича. Пользуясь старыми связями с революционным подпольем, Василий Иванович чуть ли не накануне казни пробился к Дзержинскому и с той же верой в наличие совести в тайных глубинах его темной окровавленной души, стал убеждать “принципиального палача” не в невинности осужденного (это знал и сам Дзержинский), но в ненужности казни. – Он мне о неизбежности революционного террора толкует, а у самого глаза вот так, вот так крутятся, – рассказывал об этой встрече Василий Иванович, и не осуждение, не гадливость, а тот же огромный интерес к “неправильности” звучал в его словах. Словно в темный, глубокий колодезь заглянул и дно его увидел. Он на самом деле достал тогда до дна этого колодца: казнь была отменена. Казалось бы, спокойному бытию Василия Ивановича, непричастного ни к каким формам контрреволюции, лояльно выполнявшего свою работу правозащитника в рамках революционной законности, ничего не угрожало, но никогда не покидавший его бесенок юмора ввел лояльного советского адвоката во грех перед, советской властью. Он подтолкнул его руку написать в час досуга сатирическую поэму на тогдашнюю советскую действительность, даже не злобную, а только меткую, остроумную и забористую, написанную прекрасным русским языком, которым Василий Иванович владел безупречно. Списки ее пошли по рукам и, конечно, попали на Лубянку. Остальное понятно без слов. Популярность Василия Ивановича среди уголовников создавалась еще во время его сидения в Бутырках. В общей камере его, как правозащитника, конечно, завалили просьбами писать всякого рода заявления, на которые так падка шпана. От части таких просьб Василий Иванович отказывался, как от явно безнадежных, что умел просто и убедительно разъяснить своим “клиентам”. – Ну, что ж из того, что ты “без дела” задержан? А “на ролях” сколько раз играл? [12] Приводов сколько? Судился сколько раз? – Приводов четырнадцать, а судился четыре раза, – смущенно признавался шпаненок. – Ну вот. Как же ты не рецидивист? Всё это там зафиксировано. Чего же зря писать? Но несколько написанных им заявлений имели успех и упрочили за ним славу. С этой славой заступника, которого и “сам Катанян слушает”, Василий Иванович прибыл в Преображенский собор и попал в “первичную обработку”. Несомненно, что ему, физически слабому, даже хилому и малорослому, она была очень трудна, а еще труднее сама жизнь в непрерывной суতোлке, гаме, вонии сбитой в провшивевший войлок толпе людей, потерявших право носить имя человека. Вот тут-то и определилось то назначение, которое суждено было выполнить арбатскому интеллигенту Василию Ивановичу, каторжнику Соловецких лагерей особого назначения, труднику обители Зосимы и Савватия, святителей русских, просветителей Полуночной дебри. Однажды два уголовника подрались из-за какой-то спорной вещи. Их растащили, но один, намного сильнее другого, отъявленный буян и драчун, вырвался из рук державших его и, схватив тяжелую скамью, ринулся на своего врага. Защитники его врага метнулись в стороны. Получить удар скамьей ни у кого не было охоты, и быть бы бедняге в братской могиле, если бы перед буяном неожиданно не оказалась тщедушная цыплячья фигура Василия Ивановича. – Что ты? Что ты? Ведь так ты его и убить можешь! Надо толком, толком всё разобрать!.. Эти слова были сказаны без тени патетики, так же просто, как “держи чашку крепче, а то уронишь”. В этом и была сила их убедительности, тот безошибочный путь к человеческой совести, который находил Василий Иванович потому, что беспредельно верил в нее. Буян отбросил скамью, и разбор дела “толком” состоялся тут же: Василий Иванович, соблюдая судебный порядок, допросил свидетелей, дал слово тяжущимся и поставил свое “резюме председателя” на решение всех присутствующих. Голосовали в буквальном смысле голосом и присудили спорную вещь слабейшему. Буян отдал ее беспрекословно. Второй известный мне случай того же порядка, произошедший за время пребывания Василия Ивановича в Преображенском соборе, был много труднее и сложнее. Уголовный мир дореволюционного времени имел собственную этику и собственные, твердо выполнявшиеся в тюрьмах, законы. Теперь эта “законность” утратила в тюрьмах и концлагерях СССР свою силу, так как и сам уголовный мир своеобразно “разложился”, утратив свой кастовый характер. Кражи вросли в повседневность, в быт. Грань между вором и обывателем стерлась, и в силу этого само воровство перестало быть замкнутой профессией “отверженных”. Но в те годы “блатной закон” был еще крепок. Одной из самых жестоких, самых звериных его

статей была статья, присуждавшая к “динаме”. “Динама” – пария среди париев, отверженный среди отверженных, спит только около зловонной “параши”, даже когда камере есть место; каждый может его ударить, плюнуть ему в лицо, в пищу, отнять пайку хлеба или обидеть каким-либо иным способом. Камера всегда встанет на сторону обидчика против “динами”... Случится что-нибудь, подлежащее наказанию от начальства, – виновником будет “динама”, и все покажут на него. Все грязные тяжелые работы по камере будет нести он же, “динама”. Ни вор, укравший у товарища пайку хлеба, ни предатель-“стукач” к “динаме” не присуждаются. Но неуплативший карточного долга неизбежно становится “динамой”. Игра в карты, в “святцы” – самое яркое, самое острое из переживаний, возможных в тюремном быту, и ее законы очень строги. Шулер наказанию не подлежит, он даже в почете – мастер своего дела! Игруют на затыренные (спрятанные при обыске) деньги, на “барахло”, на “пайки”, на “службу”, на “палец”, на “очко”... Последнее – сексуальная тюремная гнусность, “служба” – безоговорочное рабство на условленный срок, полное безобразнейших издевательств, “палец” – отрубание себе пальца или нескольких, причем рубить должен сам проигравший. Отрубивший – герой, струсивший – “динама”. Вот на таком-то суде по поводу двух неотрубленных пальцев и пришлось выступить Василию Ивановичу на этот раз в качестве защитника. Он понимал, что преодолеть, разрушить звериный закон ему не под силу и прибегнул к аргументу, доступному пониманию “присяжных”. “Саморубы”, не наказывавшиеся в тюрьмах, на Соловках неминуемо шли на Секирку, как дезертиры труда. Таким образом, к потере проигранного пальца должник добавлял непроигранные полгода страшного изолятора, а, быть может, и жизнь. Создавался казус, подобный тому, которого не смог преодолеть Шейлок: – Фунт мяса, но без крови! Палец, но без Секирки! И так же, как некогда в далекой Венеции, примитивная логика здравого смысла победила букву волчьего закона. “Камера”, на этот раз большое отделение Преображенского собора, где размещалось несколько сот человек, оправдала отказавшегося рубить. “Прецедент” получил силу, и в последующие годы (я имел сведения о двух годах: 1926 и 1927) следственная часть УСЛОН не отметила ни одного случая саморубства из-за проигрыша. Друзья нажимали все пружины, чтобы выволочь Василия Ивановича из адского котла, в котором он варился. Это было нелегко. В следственную часть, куда охотно брали опытных беспартийных юристов, поручая им расследование уголовных преступлений, он идти не захотел. Наконец, подвернулась спокойная вакансия сторожа разведенного на лесной поляне огорода. Но беда в том, что туда требовался не только добросовестный, чуждый “блату” охранник, но и физически сильный человек, способный дать отпор похитителям картошки и репы. Всё зависело от решения Баринова, который захотел сам видеть рекомендованного кандидата. Властный начальник 1-го отделения УСЛОН критически осмотрел представшую перед ним тщедушную фигурку и недоверчиво спросил: – А как же ты, брат, шпану погонишь, когда она наскочит? Василий Иванович напряг все силы, чтобы сделать свое лицо страшным и даже кулаком потряс: – А я им крикну... – прозвучало неожиданное диссонирующее всему облику Василия Ивановича грубое “крылатое” слово. В эту минуту он удивительно был похож на... царя Феодора Иоанновича в исполнении Москвина: – Да, я суров, грозен... весь в батюшку... Вероятно, наивно-трогательный комизм этой сцены коснулся каких-то сокровенных струн огрубелого, обросшего колючей щетиной, но всё же русского, мужицкого сердца Баринова. Василий Иванович получил назначение и переселился в лесную землянку, где жил тихо спокойно вместе с одним из самых экзотических соловчан – бывшим обершталмейстером и начальником конюшен корейского императора, одноглазым колчаковцем, выплеснутым из пределов родной земли и вернувшимся в Россию только потому, что незримые нити, связывавшие его с ней, революция порвать не смогла. Шпана быстро нашла дорогу в лесной уют. Авторитет совести, приобретенный Василием Ивановичем, не снизился, а возрос, и нередко по протоптанной между густыми папоротниками тропинке пробирались искавшие правосудия, иногда даже целыми группами. Здесь, под густыми лапами пятисотлетних елей, слышавших еще зовы убогого била над землянкой-часовенкой первых соловецких трудников-иноков, творился суд “скорый, правый и милостивый”, твердо стоявший на основе закона совести, гуманнейшего в мире закона Российской Империи. Последний суд совести в забывшей ее и свое имя России... Злопыхатели и завистники – были, конечно, и такие у Василия Ивановича – с усмешечкой называли его “доктором блатного права”. Шпана дала ему другое имя – “Василек – Святая душа”. Его сторожевка на огороде прошла благополучно. Первые воры, накопавшие там ночью картошки, были уличены в своем же бараке и крепко побиты. Этот самосуд был своеобразным, уродливым откликом совести, разбуженной призывными ударами убогого одинокого “била” нового соловецкого трудника “Василька – Святой души”, совести – Света Божьего, в чью силу верил он тою же нерушимой верой, с которой шли на далекий остров его первые древние трудники...

Глава 24.

ФРЕЙЛИНА ТРЕХ ИМПЕРАТРИЦ

По строгому уставу Соловецкого монастыря женщины на остров не допускались. Они могли поклониться святыням лишь издали, с крохотного “Заячьего островка”. От пристани до него – верста с небольшим, и весь кремль с высящимися над ним куполами виден оттуда, как на ладони. Традиция сохранилась. Новый хозяин острова отвел “Зайчики” под женский изолятор, куда попадали главным образом за грех против седьмой заповеди и куда в качестве представителя власти был допущен лишь один мужчина – семидесятилетний еврей, Бог весть какими путями попавший на службу в хозяйственную часть ЧК, проштрафившийся чем-то и угодивший в ссылку. Возраст и явная дряхлость ставили его, как жену Цезаря, вне подозрений. Каторжницы, ни в чём не провинившиеся на Соловках, жили на самом острове, но вне кремля, в корпусе, обнесенном тремя рядами колючей проволоки, откуда их под усиленным конвоем водили на работы в прачечную, канатную мастерскую, на торфоразработки и на

кирпичный завод. Прачечная и “веревочки” считались легкими работами, а “кирпичики” – формовка и переноска сырца – пугали. Чтобы избавиться от “кирпичиков”, пускались в ход все средства, и немногие выдерживали 2-3 месяца этой действительно тяжелой, не женской работы. Жизнь в женбараке была тяжелее, чем в кремле. Его обитательницы, глубоко различные по духовному укладу, культурному уровню, привычкам, потребностям, были смешаны и сбиты в одну кучу, без возможности выделиться в ней в обособленные однородные группы, как это происходило в кремле. Количество уголовных здесь во много раз превышало число каэрок, и они господствовали безраздельно. Притонодержательницы, проститутки, торговки кокаином, контрабандистки... и среди них – аристократки, кавалерственные дамы, фрейлины. Выход из барака строго контролировался; даже в театр женщины ходили под конвоем и сидели там обособленно, тоже под наблюдением. Женщины значительно менее мужчины приспособлены к нормальному обществу. Внутренняя жизнь женбарака была адом, и в этот ад была ввержена фрейлина трех императриц, шестидесятипятилетняя баронесса, носившая известную всей России фамилию. Великую истину сказал Достоевский: “Простолюдин, идущий на каторгу, приходит в свое общество, даже, быть может, более развитое. Человек образованный, подвергшийся по законам одинаковому с ним наказанию, теряет часто несравненно больше него. Он должен задавить в себе все свои потребности, все привычки; должен перейти в среду для него недостаточную, должен приучиться дышать не тем воздухом... И часто для всех одинаковое наказание превращается для него в десятеро мучительнейшее. Это истина”... (“Мертвый дом”, стр. 68). Именно такое, во много более тяжелое наказание несла ЭТА старая женщина, виновная лишь в том, что родилась в аристократической, а не в пролетарской семье. Если для хозяйки кронштадтского портового притона Кораблихи быт женбарака и его среда были привычной, родной стихией, то чем они были для смолянки, родной стихией которой были ближайšie к трону круги? Во сколько раз тяжелее для нее был каждый год, каждый день, каждый час заключения? Бесперывная, непрекращавшаяся ни днем, ни ночью пытка. ГПУ это знало и с явным садизмом растасовывало каэрок в камеры по одиночке. С мужчинами в кремле оно не могло этого сделать, в женбараке это было возможно. Петербургская жизнь баронессы могла выработать в ней очень мало качеств, которые облегчили бы ее участь на Соловках. Так казалось. Но только казалось. На самом деле фрейлина-баронесса вынесла из нее истинное чувство собственного достоинства и неразрывно связанное с ним уважение к человеческой личности, предельное, порою невероятное самообладание и глубокое сознание своего долга. Попав в барак, баронесса была там встречена не “в штывы”, а более жестоко и враждебно. Стимулом к травле ее была зависть к ее прошлому. Женщины не умеют подавлять в себе, взнуздывать это чувство и всецело поддаются ему. Слабая, хилая старуха была ненавистна не сама по себе в ее настоящем, а как носительница той иллюзии, которая чаровала и влекла к себе мечты ее ненавистниц. Прошлое, элегантно, утонченное, яркое проступало в каждом движении старой фрейлины, в каждом звуке ее голоса. Она не могла скрыть его, если бы и хотела, но она и не хотела этого. Она оставалась аристократкой в лучшем, истинном значении этого слова; и в Соловецком женбараке, в смраде матерной ругани, в хаосе потасовок она была тою же, какой видели ее во дворце. Она не чуждалась, не отграничивала себя от окружающих, не проявляла и тени того высокомерия, которым неизменно грешит ложный аристократизм. Став каторжницей, она признала себя ею и приняла свою участь, неизбежность, как крест, который надо нести без ропота, без жалоб и жалости к себе, без сетования и слез, не оглядываясь назад. Тотчас по прибытии баронесса была, конечно, назначена на “кирпичики”. Можно представить себе, сколь трудно было ей на седьмом десятке носить на л двухпудовый груз. Ее товарки по работе ликовали: – Баронесса! Фрейлина! Это тебе не за царицей хвост таскать! Трудись по-нашему! – хотя мало из них действительно трудился до Соловков. Они не спускали с нее глаз и жадно ждали во жалобы, слез бессилия, но этого им не пришлось увидеть. Самообладание, внутренняя дисциплина, выношенная в течение всей жизни, спасли баронессу от унижения. Не показывая своей несомненной усталости, она доработала до конца, а вечером, как всегда, долго молилась стоя на коленях перед маленьким образом. Моя большая приятельница дней соловецких, кронштадтская притонщица Кораблиха, баба русская, бойкая, зубастая, но сохранившая “жалость” в бабьей душе своей рассказывала мне потом: – Как она стала на коленки, Сонька Глазок завела было бузу: “Ишь ты, Бога своего поставила, святая какая промеж нас объявилась”, а Анета на нее: “Тебе жалко, что ли? Твое берет? Видишь, человек душу свою соблюдает!” Сонька и язык прикусила... То же повторялось и в последующие дни. Баронесса спокойно и мерно носила сырые кирпичи, вернувшись в барак, тщательно чистила свое платье, молча съедала миску тресковой баланды, молилась и ложилась спать на свой аккуратно прибранный топчан. С обособленным кружком женбарачной интеллигенции она не сближалась, но и не чуждалась и, как и вообще не чуждалась никого из своих сожительниц, разговаривая совершенно одинаковым тоном и с бесперывно вставлявшей французские слова княгиней Шаховской и с Сонькой Глазком, пользовавшейся в той же мере словами непечатными. Говорила она только по-русски, хотя “обособленные” предпочитали французский. Шли угрюмые соловецкие дни, и выпады против баронессы повторялись всё реже и реже. “Остроумие” языкатых баб явно не имело успеха. – Нынче утром Манька Длинная на баронессу у рукомойника наскочила, – сообщала мне вечером на театральной репетиции Кораблиха, – щетки, мыло ее покидала: крант, мол, долго занимаешь! Я ее поганой тряпкой по ряшке как двину! Ты чего божескую старуху обижаешь? Что тебе воды мало? У тебя где болит, что она чистоту соблюдает? Окончательный перелом в отношении к бывшей фрейлине наступил, когда уборщица камеры, где она жила, “объявилась”. “Объявиться” на соловецком жаргоне значило заявить о своей беременности. В обычном порядке всем согрешившим против запрета любви полагались Зайчики, даже и беременным до седьмого-восьмого месяца. Но бывших уже на сносях отправляли на остров Анзер, где они родили и выкармливали грудью новорожденных в сравнительно сносных условиях, на легких работах. Поэтому беременность тщательно скрывалась и объявлялась лишь тогда, когда можно было, минуя

Зайчики, попасть прямо к “мамкам”. “Объявившуюся” уборщицу надо было заменить, и по старой тюремной традиции эта замена производилась демократическим порядком – уборщица выбиралась. Работа ее была сравнительно легкой: вымыть полы, принести дров, истопить печку. За место уборщицы боролись. – Кого поставим? – запросила Кораблиха. Она была старостой камеры. – Баронессу! – звонко выкрикнула Сонька Глазок, безудержная и в любви и в ненависти. – Кого, кроме нее? Она всех чистоплотней! Никакой неприятности не будет... Довод был веский. За грязь наказывалась вся камера. Фрейлина трех всероссийских императриц стала уборщицей камеры воровок и проституток. Это было большой “милостью” к ней. “Кирпичики” явно вели ее к могиле. Я сам ни разу не говорил с баронессой, но внимательно следил за ее жизнью через моих приятельниц, работавших в театре: Кораблиху и ту же Соньку Глазок, певшую в хоре. Заняв определенное социальное положение в каторжном коллективе, баронесса не только перестала быть чужачкой, но автоматически приобрела соответствующий своему “чину” авторитет, даже некоторую власть. Сближение ее с камерой началось, кажется, с консультации по сложным вопросам косметических таинств, совершающихся с равным тщанием и во дворце и на каторге. Потом разговоры стали глубже, серьезнее... И вот... В театре готовили “Заговор императрицы” А. Толстого – халтурную, но игровую пьесу, шедшую тогда во всех театрах СССР. Арманов играл Распутина и жадно собирал все сведения о нём у выдавших загадочного старца. – Всё это враки, будто царица с ним гуляла, – безапелляционно заявила Сонька, – она его потому к себе допускала, что он за Наследника очень усердно молился... А чего другого промеж них не было. Баронесса наша при них была, а она врать не будет. Кораблиха, воспринявшая свое политическое кредо среди кронштадтских матросов, осветила вопрос иначе: – Один мужик до царя дошел и правду ему сказал, за то буржуи его и убили. Ему царь поклялся за Наследниково выздоровление землю крестьянам после войны отдать. Вот какое дело! Нарастающее духовное влияние баронессы чувствовалось в ее камере всё сильнее и сильнее. Это великое таинство пробуждения Человека совершалось без насилия и громких слов. Вероятно, и сама баронесса не понимала той роли, которую ей назначено было выполнить в камере каторжного общежития. Она делала и говорила “что надо”, так, как делала это всю жизнь. Простота и полное отсутствие дидактики ее слов и действия и были главной силой ее воздействия на окружающих. Сонька среди мужчин сквернословила по-прежнему, но при женщинах стала заметно сдерживаться и, главное, ее “эпитеты” утратили прежний тон вызывающей бравады, превратившись просто в слова, без которых она не могла выразить всегда клокотавших в ней бурных эмоций. На Страстной неделе она, Кораблиха и еще две женщины из хора говели у тайно проведенного в театр священника – Утешительного попа. Таинство принятия Тела и Крови Христовых совершалось в темном чулане, где хранилась бутафория, Дарами, пронесенными в плоской солдатской кружке в боковом кармане бушлата. “На стреме” у дверей стоял бутафор-турок Решад-Седад, в недавнем прошлом коммунист, нарком просвещения Аджаристана. Если б узнали, – быть бы всем на Секирке и Зайчиках, если не хуже... Когда вспыхнула страшная эпидемия сыпняка, срочно понадобились сестры милосердия или могущие заменить их. Нач. санчасти УСЛОН М. В. Фельдман не хотела назначений на эту смертническую работу. Она пришла в женбарак и, собрав его обитательниц, уговаривала их идти добровольно, обещая жалованье и хороший паек. Желающих не было. Их не нашлось и тогда, когда экспансивная Фельдман обратилась с призывом о помощи умирающим. В это время в камеру вошла старуха-уборщица вязанкой дров. Голова ее была укручена платком – дворе стояли трескучие морозы. Складывая дрова печке, она слышала лишь последние слова Фельдман: – Так никто не хочет помочь больным и умирающим? – Я хочу, – послышалось от печки. – Ты? А ты грамотная? – Грамотная. – И с термометром умеешь обращаться? – Умею. Я работала три года хирургической сестрой в Царскосельском лазарете... – Как ваша фамилия? Прозвучало известное имя, без титула. – Баронесса! – крикнула, не выдержав, Сонька, но этот выкрик звучал совсем не так, как в первый день работы бывшей фрейлины на “кирпичиках”. Второй записалась Сонька и вслед за нею еще несколько женщин. Среди них не было ни одной из “обособленного” кружка, хотя в нем много говорили о христианстве и о своей религиозности. Двери сыпнотифозного барака закрылись за вошедшими туда вслед за фрейлиной трех русских императриц. Оттуда мало кто выходил. Не вышло и большинство из них. М. В. Фельдман рассказывала потом, что баронесса была назначена старшей сестрой, но несла работу наравне с другими. Рук не хватало. Работа была очень тяжела, т. к. больные лежали вповалку на полу и подстилка под ними сменялась сестрами, выгребавшими руками пропитанные нечистотами стружки. Страшное место был этот барак. Баронесса работала днем и ночью, работала так же тихо, мерно и спокойно, как носила кирпичи и мыла пол женбарака. С такою же методичностью и аккуратностью, как, вероятно, она несла свои дежурства при императрицах. Это ее последнее служение было не самоотверженным порывом, но следствием глубокой внутренней культуры, воспринятой не только с молоком матери, но унаследованной от ряда предшествовавших поколений. Придет время, и генетики раскроют великую тайну наследственности. Владевшее ею чувство долга и глубокая личная дисциплина дали ей силы довести работу до предельного часа, минуты, секунды... Час этот пробил, когда на руках и на шее баронессы зарделась зловещая сыпь. М. В. Фельдман заметила ее. – Баронесса, идите и ложитесь в особой палате... Разве вы не видите сами? – К чему? Вы же знаете, что в мои годы от тифа не выздоравливают. Господь призывает меня к Себе, но два-три дня я еще смогу служить Ему... Они стояли друг против друга. Аристократка и коммунистка. Девственница и страстная, нераскаянная Магдалина. Верующая в Него и атеистка. Женщины двух миров. Экспансивная, порывистая М. В. Фельдман обняла и поцеловала старуху. Когда она рассказывала мне об этом, ее глаза были полны слез. – Знаете, мне хотелось тогда перекрестить ее, как крестила меня в детстве няня. Но я побоялась оскорбить ее чувство веры. Ведь я же еврейка. Последняя секунда пришла через день. Во время утреннего обхода баронесса села на пол, потом легла. Начался бред. Сонька Глазок тоже не вышла из барака смерти, души их вместе предстали перед Престолом Господним

Глава 25.

ДУШУ ЗА ДРУГИ ПОЛОЖИВШИЙ

Удачных побегов с Соловков не было. Напечатавший в Риге в 1925 или 1926 г. свои очерки “Остров крови и смерти” Мальсагов бежал не с самих островов, а с одной из командировок на Кемском берегу. Но и оттуда его побег был до 1927 г. единственным и, несомненно, героическим. Три или четыре офицера, выйдя на работу в лес, разоружили и связали конвоира и без карты, без компаса, устремились к финской границе. Нужно было идти тундрой и болотистым лесом не менее 300 км., избегая больших поселков. Продовольствия у них не было, оружия – одна винтовка и две обоймы патронов. Питались, очевидно, лишь ягодами да грибами. Погоня, пущенная через несколько часов по их следу, шла всё время по пятам. Ее вели собаки. Иногда беглецов настигали. Тогда их лучший стрелок маскировался и меткими выстрелами укладывал ближайших преследователей. Говорили, что пять-шесть красноармейцев было убито и ранено. Беглецы всё же дошли до финской границы, были приняты генералом Маннергеймом и позже переехали в Ригу, где Мальсагов и выпустил свои очерки. Но попыток к побегу было много. Бежали исключительно уголовники с большим сроком, главным образом бандиты-“мокрятники” (убийцы). Обычно они пытались незаметно проскочить на отходящий пароход и спрятаться где-нибудь в трюме. Проскочить удавалось, но спрятавшихся неизменно обнаруживали при выгрузке в Кеми. Расстреливали их не всегда, чаще гноили на Секирке. Бывали и трагикомические случаи. Один шпаненок решил укрыться в трубе парохода, но как только затопили печь, конечно, сам выскочил оттуда. Самой смелой из попыток уголовников был побег бандита по кличке Драгун. Он бежал в одиночку и рассчитывал перебраться на лодке, но захватить ее ему не удалось. Тогда Драгун скрылся в лесу, в тот же день напал на проходившего лесной дорогой охранника и отобрал у него оружие. Эйхманс выслал погоню, но она не смогла найти Драгуна в дебре. Не помогли и собаки. Драгун появлялся то там, то здесь, нападал на мелкие рабочие посты, отбирал продовольствие и действовал настолько смело, что обобрал даже повараху Эйхманса, несшую продукты в его резиденцию, отстоявшую в двух-трех километрах от кремля. Взбешенный Эйхманс разнес чекистов-охранников и двинул на Драгуна чуть ли не весь Соловецкий особый полк, который прочесал цепочками весь остров от края до края. Драгун снова ускользнул. Тогда Эйхманс ввел на острове нечто вроде осадочного положения, покрыл его сетью застав, пустил патрули, но не помогли и эти меры. Эйхманс капитулировал. Он снял заставы и разбросал по дорогам объявления, в которых гарантировал “своим честным чекистским словом” жизнь Драгуну, если тот придет с повинной. Драгун сдался. Эйхманс пытался сдержать свое “чекистское слово”. Много странных сплетений было в душе этого чекиста из рижских студентов, захлестнутого русской революцией, и, несомненно, в ней была своя трещина, своя драма, закончившаяся его расстрелом на Новой Земле. Он просил о смягчении приговора Драгуну, мотивируя просьбу тем, что убийств при побеге тот не совершил. Но Москва не сочла нужным посчитаться с его “чекистским словом”, и Драгун был расстрелян. Рассказывали что, узнав о приговоре, он только крепко выругался, а смерть встретил совершенно спокойно. Но вряд ли бы удалось Драгуну спастись, даже захватив лодку. Его настигли бы моторные катера или единственный имевшийся тогда на Соловках самолет. Их наличие делало летом побег морем невозможным. Зимой бежать было еще труднее. Белое море замерзает не сплошь, остаются широко пространства чистой воды. Следовательно, надо тянуть с собой лодку. Это требует страшных усилий нескольких человек, так как лед не ровен, а загроможден хаосом глыб. Самым удобным временем для побега морем была поздняя осень, когда над ним ползут густые туманы. Под их покровами беглецы могли рассчитывать укрыться и от катеров погони и, главное, от зорких глаз самолета. Но в это время года их подстерегал другой страшный враг – шуга. Море замерзает не сразу. Сначала по нему идут отдельные мелкие льдинки. Потом они скопляются густыми массами и ползут, подгоняемые ветром или течением. Это и есть шуга. Не только лодки, но и промысловые шхуны, попав в нее, не могут вырваться. Соловецкая летопись сохранила предание о нескольких; монахах-рыболовах, занесенных шугою на Новую Землю – далекий пустынный Грумонт, где они прожили робинзонами десять лет, пока их не спас норвежский китобой. Это-то время и избрали для осуществления своего плана несколько морских офицеров. Душою заговора был князь Шаховской, более известный на Соловках под фамилией Круглов, под которой он был захвачен после провала заговора Таганцева, к которому, кстати сказать, прямого отношения не имел. Все флотские держались особняком, работали обычно, сбиваясь в свои группы. Тяжелых работ не боялись и странно, что в этих группах и офицеры и матросы не только легко уживались вместе, но стремились к этому объединению и крепко держались друг за друга. От слепой ненависти “братвы” к “драконам”, столь ярко вспыхнувшей в первые годы революции, не осталось следа. Наоборот, в этих морских группах, всегда твердо державших свою внутреннюю дисциплину, было заметно, если не чинопочитание, то во всяком случае признание старшинства и авторитета офицера. Он всегда становился фактическим старшим в группе, даже если назначен был другой. Но чужаков в эти артели и не назначали. После нескольких печально окончившихся попыток начальство решило предоставить флотских самим себе, так как дорожило ими, как лучшими ударниками на самых тяжелых работах. Характерен такой случай. Позднюю осень на Соловки зашел возвращавшийся в Архангельск ледокол. Капитан пропьянствовал ночь с Эйхмансом, а в то время ударил сильный мороз и бухта разом покрылась толстым слоем льда. Ледокол вмерз и вмерз безнадежно, т. к. был построен по системе адмирала Макарова, т. е. пробивал себе путь ползая на лед сразбега и продавливая его своею тяжестью. Лишенный возможности разбежаться по чистой воде, он был бессилен. Работавший в то время в порту морской офицер Вонлярлярский предложил пропилить путь ледоколу во льду, пользуясь обычными двуручными пилами. На один конец такой пилы привязывался груз, который тянул ее книзу, а за другой пильщик вытягивал ее вверх,

действуя по вертикали. Но для успеха дела – пропилки дороги в полтора-два километра – была необходима одновременная работа на всем ее протяжении, так как иначе уже готовые участки замерзали бы снова за время пропилки последующих. Для такой работы нужно было мобилизовать всех дроворубов и побудить эту нестройную хаотическую толпу к одновременному, дружному и напряженному действию в тяжелых условиях. Чтобы достигнуть этого, Вонлярлярский, которому было поручено руководство работой, использовал именно эту внутреннюю спайку и дисциплину флотских. Он поставил их старшими групп по всей линии и создал этим крепкий передаточный аппарат для утверждения своей воли. Работа была выполнена быстро и четко, без неразберихи и сутолоки, ругани и избиения, неизменно сопровождавших администрирование грузино-меньшевистской рабсилы. Только в такой среде мог возникнуть и вызреть рациональный, обладавший шансами на успех план побега. Возможность предательства в ней была сведена к нулю, хотя сексотов, намербованных из самих заключенных, было много. Но среди флотских каждый возможный предатель знал, что он будет узнан и неминуемо убит не самими пострадавшими от него, но коллективом – “братвой”. О подготовке к побегу этой группы знали и другие, но тайна была сохранена. Выполнению плана помог случай. Талантливый молодой инженер Стрижевский сконструировал для морских прогулок Эйхманса глиссер – моторный катер с воздушным винтом, – развивавший скорость вдвое большую, чем катера обычного типа. Получив пять-шесть часов преимущества, он становился, безусловно, неуловимым для наводных преследователей. Но оставался самолет. Он мог догнать глиссер и потопить его одной ручной гранатой. Нужно было избавиться от угрозы. Ангар тщательно охранялся чекистами. Сам лётчик уходом за машиной не занимался, называл ее не иначе как “гробом”, чего этот аппарат времен первой Великой войны вполне заслуживал. Кажется, в авиационной механике летчик сам был слаб и поднимался в воздух только в пьяном виде, но летал смело и искусно. Уход за самолетом вел некто Силин, лицо мало кому известное, инвалид, хромавший на обе ноги, помещался при ангаре, под строгим контролем охраны, имел большой срок. Появляясь иногда в кремле, он редко с кем разговаривал, брал помногу книг в библиотеке, закупал продукты в закрытом магазине, куда был допущен, и уходил. Начальство, видимо, им дорожило и даже платило ему какое-то жалованье. Позже говорили, что это был известный морской летчик, носивший тогда другую фамилию, но точно, об этом знали очень немногие. Силин, этот загадочный человек, – таких немало было тогда на Соловках, – и взял на себя главную роль в осуществлении побега. К намеченному времени, не раньше, не позже, он должен был вывести самолет из строя. Это был не риск. Это было осознанное обречение себя на гибель. Сам бежать он не мог. Он находился под постоянным наблюдением, и даже отсутствие его на квартире в ночное время, несомненно, тотчас бы вызвало тревогу. Кроме того, можно было предполагать, что при его выходе из ангара за ним направлялся наблюдатель. Следовательно, побег был бы сорван. Удача побега без него тоже была вполне ясна. Непригодность аппарата к полету в нужный момент была вполне достаточной причиной для расстрела, даже при отсутствии других улик. На сохранение жизни у Силина не было ни одного шанса. Он шел на неотвратимую смерть. И все же он пошел. Туманной ноябрьской ночью, после вечерней проверки, из кремля скрылось три или четыре человека. Вероятно, они спустились со стены по веревке, что было нетрудно, потом веревка была кем-то убрана. Нападение на часового при катерах вынырнувшими внезапно из тумана людьми тоже не представляло большого труда. Он не был убит, а лишь обезоружен и связан. Гораздо труднее было снабдить к этому моменту глиссер большим запасом бензина. Это мог выполнить только Силин, имевший в своем распоряжении горючее самолета. Вероятно, он заранее пронес баки в условленное место. Отважные беглецы вышли в море ночью. Их отсутствие было замечено только на утренней проверке. В то же время обнаружили исчезновение глиссера. Беглецы могли уйти за ночь на 250-300 километров. – Самолет! Мотор был разобран для генеральной чистки без приказа пилота. Некоторые части его оказались не годными. Силин был расстрелян, но, очевидно, не назвал никого при допросах. Несколько моряков было арестовано, но держали их недолго. Улик не было. Лишь один Силин “положил живот свой за други своя” и совершил этот подвиг, следуя славной традиции Российского Императорского флота. Он был верен ей до конца. О дальнейшей судьбе этих единственных беглецов которым все же удалось вырваться с каторги, сведений нет. Можно сказать с уверенностью лишь то, что они не были пойманы. Вышедшие все же в погоню катера вернулись ни с чем. Но в эмиграции никто не мог дать сведений об их прибытии, которое не могло пройти незамеченным! Остается предположить лишь одно: отважные моряки погибли в пути. Это вполне возможно. Глиссер был хрупким суденышком. Столкновение с льдиной в тумане было бы верною гибелью для него. Попав в шугу, он был бы растерт ею в щепки... Кроме того, вряд ли у беглецов были компас и морская карта. “Безумству смелых поем мы славу”, но высшей славы достоин тот, кто без малейшей надежды на спасение принес себя в жертву их подвигу...

Глава 26.

МУЖИЦКИЙ ХРИСТОС

За кремлем, на пригорке, с которого открывается морской простор, стоит каменный столб. Он был поставлен Петром Великим во время первого его приезда на Белое море, при первой встрече с суровыми, гордыми капитанами фрегатов и каравелл, теми, у кого Не пылью изъеденных хартий, Солью моря пропитана грудь... Кто иглой по разорванной карте Отмечает свой дерзостный путь. Или бунт на борту обнаружив, Из-за пояса рвет пистолет, Так, что золото сыплется с кружев Розоватых брабантских манжет. Дерзостный юноша-царь, вырвавшись на морской простор из плена дворцовых стен нерушимого Третьего Рима, из тумана банного пара с росным ладаном, из-под низких, давящих сводов Грановитовой палаты, увидел здесь иные туманы, клубившиеся над северными пенистыми волнами, а за ними – своды высоких лазурных небес, простертых над дальними, запретными, прелестными

странами... Он, разрывавший свои оковы царственный пленник, увидел здесь путь к мечте... Тогда он приказал утвердить этот столб и высек на его камне своею могучею рукой: «До Амстердама-града... (столько-то) [13] верст. «До Венеции-града... (столько-то) верст. Этот столб стоит и поныне. Свищет вокруг него колючий нордост, вздымает и несет мириады льдистых игл, колет ими зажимающих уши ладонями, куда-то спешащих людей. Свищет он и в кремлевских стенах, злобный, вражеский, воев в зубах вековечных стен, рвет снежные шапки с угрюмых башен, костенит пальцы леденит тело, сковывает душу... Плен. Бессилие. Впереди – тьма... ..Тьма и в переполненном зале соловецкого театра. Не видно и не слышно, как раздвигаются полы занавеса. Тьма и на сцене... Но вот во тьме раздаются чьи-то голоса. Они звучат грустью: Занесет нас зимою метель И запрячет на полгода в щель... Лишь весною найдут рыбаки Соловки, Соловки, Соловки... Один за другим вспыхивают цветные фонарики... Они замирают, снова загораются. Их все больше и больше... в темноте уже вырисовываются неясные силуэты ритмически колышущихся женских фигур, огоньки кружатся, танцуют в уходящей, рассеивающейся побежденной тьме. Ритм песни оживает, она звучит уже лаской, смутной надеждой... Мило нам из щели соловецкой В даль взглянуть с улыбкой ясной, детской... Приходите к нам и слушайте, как тут Песенки веселые поют, поют... Эта пьеска называлась “Светлячки”. Она была написана двумя не-поэтами: Н. К. Литвиным и автором этих строк. Мотивом послужила популярная тогда песенка о “Ню, смеявшейся весело и звонко”. Пьеска была сценически оформлена и поставлена на первом спектакле ХЛАМ'а в 1925 г. младшим режиссером 2-го МХАТ Н. М. Красовским. Когда я заканчивал эту повесть о годах, проведенных на Святом острове, записывая ушедшее уродливое и прекрасное, ничтожное и величавое, безмерно униженное и неудержимо взметывавшееся ввысь прошлое, я прочел уже несколько измененные слова этой песни в повести Г. Андреева. Г. Андреев был на Соловках позже меня. Он видел лишь некоторых из уцелевших соловчан “первого призыва”. Подавляющее большинство уже погибло или рассеялось по разросшимся концлагерям, растворилось в мутных волнах новых “наборов”. Но он видел там эту же пьеску, которая, потеряв свое имя, стала, как он отмечает, традицией. Иные люди... Но песня та же. Почему? Потому, что в ней – мечта узника о свободе, та же мечта, что владела Петром, высекавшим на камне столба: “До Венеции-града... верст”. Над островом завывала метель и тяготела тьма, а здесь, из рассеянной тьмы, выплывала ярко-оранжевая луна на синем тропическом небе и сказочный раджа, он же каторжник Ганс-Милованов, грохотал своим потрясающим басом на мотив из “Жрицы огня”: Соловки открыл монах Савватий, Был тот остров неустроенный пустырь. За Савватием шли толпы черных братии... Так возник великий монастырь! Край наш, край соловецкий, Ты для казров и шпаны прекрасный край! Снова, с усмешкой детской, Песенку про лагерь начинай! Но теперь совсем иные лица Прут и прут сюда со всех сторон. Здесь сплелись быль и небылица И замолк китежный древний звон... Но со всех сторон Советского союза Едут, едут, едут, без конца. Всё смешалось: фрак, армяк и блуза... Не видать знакомого лица! Край наш, край соловецкий, Всегда останется, как был, чудесный край... Раджу сменяла толпа веселых моряков, плясавших джигу и слушавших в тени банана песню-рассказ старого капитана: Это было много лет назад. Порт шумел в вечерний час. Подошел ко мне слуга-мулат, Дал письмо и скрылся с глаз... В той стране, где зелены лианы, В той стране, где губы дев так пряны, Там под тенью манго и банана Поцелуи призрачны и пьяны... Не ту ли песню-мечту о свободных просторах и странах пели дерзостному юноше Петру изъеденные солью дальних морей капитаны заморских фрегатов? Не в память ли ее он водрузил каменный столб? – И снова свищет и беснуется вокруг столба снежная вьюга... Над островом – тьма. – До Венеции-града... верст... Давно, 19 октября 1825 года, в жарко натопленной горнице скромного барского домика села Михайловского лицеист первого выпуска Александр Сергеевич Пушкин писал гусиным пером на листе желтоватой бумаги: Роняет лес багряный свой убор; Сребрит мороз увянувшее поле; Проглянет день, как будто поневоле, И скроется за край окружных гор. Пылай, камин, в моей пустынной келье; А ты, вино, осенней стужи друг, Пролей мне в грудь отрадное похмелье, Минутное забвенье горьких мук. Ярко вспыхивали в печке еловые дрова. Проглядывал поневоле осенний день. Оживала пустынная Михайловская келья. “Минутное забвенье горьких мук” уносило опального лицеиста в те дни, “когда в садах Лицея он безмятежно расцветал”... Через сто лет, 19 октября 1925 года, в жарко натопленной камере шестой роты первого отделения Соловецких концлагерей звучали те же слова. Ярко вспыхивали в печке еловые дрова. Проглядывал поневоле осенний день. Оживала пустынная Соловецкая келья. “Минутное забвенье горьких мук» уносило последних ссыльных лицеистов в те дни, “когда в садах Лицея”... и Сладкая готовилась отрада В обители пустынных вьюг и хлада... “Спаси меня хоть крепостью, хоть Соловками”, – писал Пушкин Жуковскому. Думал ли тогда опальный питомец Лицея, что вековые замшелые стены сурового монастыря замкнут и отрекут от мира многих из числа последних питомцев горячо любимого им “Царскосельского отечества”, а безвестная братская могила – без креста и гробов, – не смыкавшая своего черного зева на каторжном кладбище, станет последним пристанищем некоторых из них? Мог ли он предположить, что пламенные слова его послания к друзьям юности прозвучат там ровно через сто лет и Усладят мученья день печальный И в день его Лицея превратят – для тех немногих, кто среди непредугаданной поэтом, невысказанной даже для его гениального прозрения России останется верным традициям “царем открытого для них царицына чертога”? Стремясь проникнуть в будущее своим вещим взором, Пушкин видел в тот день лишь того из своих однокашников, “кому под старость день Лицея торжествовать придется одному”. Мы не знаем, вспомнил ли эти слова “несчастный друг, средь новых поколений докучный гость, и лишний, и чужой”, – переживший всех лицеистов Пушкинского выпуска светлейший князь Горчаков, но через 42 года после его смерти они с невыразимой трагической силой прозвучали в устах одного из последних питомцев Лицея – Кондратьева, в одной из келий ставшего каторгой Соловецкого монастыря, на потаенном собрании в день годовщины – 19-XI-1925 года. Друзья мои, прекрасен наш союз! Он, как душа, неразделим и вечен, – писал Пушкин ровно за сто лет до этого дня, – и вечный дух величайшего из лицеистов

виталя среди последних из них, загнанных на суровый остров и отринутых обезумевшим народом, тем, в котором “чувства добрые он лирой пробуждал”. Их было немного. Всего 12-15 человек, и страшную правдою прозвучали слова: Еще кого не досчитались мы? Чей глас умолк на братской переключке? Кто не пришел? Кого меж нами нет? Так спрашивал поэт немногих уцелевших, собравшихся в день Лицея “в обители пустынных вод и хлада”, устами каторжника-лицеиста Кондратьева. Каждый год начинавшаяся в мае навигация приносила на Соловки новые наслоения. Они отражали, как капля воды – океан, процессы, происходившие на одной шестой мира. Сначала большинство прибывающих составляли офицеры. Потом – крупные партии повстанцев: среднерусских, украинских и окраинных, грузин и народов Средней Азии – туркмен, узбеков, “фанатиков”, как прозвала их шпана. В разгар НЭП'а – контрабандисты, валютчики, проститутки и нищие, получившее за свою голодную жадность к еде кличку “леопарды”. В 1925 г. красный Ленинград добывал остатки Императорского Петербурга: прибыли “дипломаты” – чиновники министерства иностранных дел, “фараоны” – бывшие полицейские, рядовые и служившие в департаменте, и Лицеисты. К этой последней группе относились не только бывшие питомцы Александровского Лицея, но и правоведа и просто сенатские чиновники. Эта группа была наиболее яркой, имела свое определенное лицо, свои культурные традиции, уходящие корнями к временам первого Пушкинского выпуска. Инкриминированным им “преступлением” была панихида, отслуженная по Царе-Мученике. Служил ее также бывший лицеист, ставший священником, отец Лозино-Лозинский, изящный, утонченный, более напоминавший изысканного аббата XVIII века, чем русского семинара. В этой группе приехали на остров и воспитанники Лицея – сенатский чиновник Кондратьев, талантливый пианист, ученик Сен-Санса барон Штротберг и другие. Утонченность культурной традиции, заметная в большинстве лицеистов и порой становившаяся болезненным гротеском, в Кондратьеве сказывалась особенно ярко. Ей не противоречил ни один его поступок, ни одно его слово, ни один его жест. Одетый в просмоленный овчинный кожух, в какой-то уродливой ушастой шапке, он все же оставался самим собой, изящным светским петербуржцем, именно петербуржцем, а не москвичом или парижанином. Еловая палка в его руке превращалась в тросточку фланера, а огромные тупоносые валенки, казалось, не изменили его походки, выработанной на натертом воском паркете. Но снобом он не был. Столь же, сколь внешность, были утончены и чутки струны его души. Служба в сенате была для Кондратьева клеткой, оковами. Он был рожден не чиновником, не юристом, а артистом, глубоким, чутко отзывавшимся на каждую коснувшуюся его эмоцию. В Петербурге он учился сценическому искусству у Варламова, и знаменитый старик считал его одним из лучших учеников. Но для полной отдачи себя искусству перевоплощения лицеист должен был порвать со своей средой, ее традициями, а быть может даже с семьей, с налаженной обеспеченной жизнью. На это у Кондратьева не было сил. На Соловках соотношение влечения к сцене и отталкивания от нее в душе Кондратьева изменилось. Призвание победило, и, несмотря на осуждения части своих друзей и однокашников, он вступил на “подмостки большевицкого театра”. Опошленные, к сожалению, определения творчества актера: “горел”, “светил”, “внутренний огонь”, как нельзя более подходили к сценическому служению, именно служению Кондратьева. Быть может, яркости его эмоции своеобразно способствовал туберкулез, обостряющий их, как говорят врачи. Кондратьев не только “горел” и “светил”. В силу какого-то таинственного внутреннего процесса он, созвучно духу Святого острова, углублял каждую роль, доходя до каких-то смутных метафизических, даже мистических истоков. Знаменитая реплика Кречинского “сорвалось!” звучала в его устах, как удар Рока, а не крик досады неудачливого игрока. Этой глубиной своего преображения он касался в душах зрителей тех сокровенных струн, о существовании которых они и сами не подозревали... Внутренне он будил духовность. Внешне – осуществлял мечту в иллюзии... В пошленькой переводной комедии “Три вора” он смог столь ярко героизировать банальную роль вора-джентльмена, крадущего из любви к искусству, ради острых переживаний, и вложить в нее столько неподдельной грации, что попавший на “большевицкий” спектакль старичок-дипломат времен чуть ли не канцлера князя Горчакова заплакал подлинными слезами: – Фрак-то, фрак как он носит... Ведь этого больше не увидим... никогда... никогда... А экспансивный воришка Фомка Рулек, выходя из зала, кричал, бешено жестикулируя: – Вот это всамделишный уркаган! Фартовый в три доски! А мы – что? Фартовый в этом случае означало безудержно широкий, могучий, сверхчеловек в его представлении. В обеих оценках звучала тоска по недостижимому. Мечта. О прошлом или о будущем – не все ли равно!.. Актер Кондратьев подарил им иллюзию ее осуществления. Предела своей глубинности он достиг в роли царя Феодора Иоанновича. Пьеса А. Толстого была сильно урезана, не по цензурным соображениям, а по недостатку актеров, но роль самого Феодора стала от этого еще выпуклее, ярче. – А где его мощи лежать? – спросил меня после спектакля тамбовский мужик-повстанец. – Чьи мощи? Какие? – Вот этого царя, какого представляли... – Так он же не святой. И мощей никаких от него нет. – Коли не знаешь, скажи, что не знаешь, – вразумительно и веско ответил повстанец, – а врать зачем? Не может того быть, чтобы от него мощей не осталось!.. И Кондратьев и я имели постоянный пропуск на выход из кремля. Это давало нам возможность уходить даже ночью на берег усталого серебристым туманом Святого озера, в суровую тишь подступающей к нему дебри. Так было и в ночь после постановки сцен из “Царя Феодора Иоанновича”. Стояла середина мая. В укрытых лапами елей низинах и под раскиданными по дебре валунами еще лежали остатки колкого, покрытого льдистой корой снега. Солнце еще надолго пряталось за серую гладью согнавшего лед моря, но ночи уже бледнели. Зимнюю тьму сменял лиловатый сумрак. Сладко пахло липким березовым листом и талой сырой землей. Кондратьев остановился возле высокого креста, одного из многих, поставленных монахами на просекавших лес дорогах. На них, вопреки православному канону, тело Христово было не нарисовано, а вырезано из дерева какими-то безымянными трудниками-художниками. – Когда я готовил роль царя Феодора, я приходил сюда, – тихо, боясь нарушить покой лилового сумрака, проговорил Кондратьев. – Я искал понимания ее до конца, до глубины, у Него... именно вот у

этого, только у Него, а не у другого... – Почему у Этого? И только у Него? – Всмотритесь в Него. Разве Он походит на тех, что вы видели под куполом Исакия, на полотнах Эрмитажа? Нет. Этот совсем иной. Смотрите, как выдаются скулы. И глаза маленькие, даже чуть-чуть косят, а борода редкая, клочковатая... Ведь это мужичонка ледащий из какого-то завязшего в болотах села Терпигорева. Надеть бы ему рваный зипунишко, закинуть за плечи котомку – и пошел бы Он по заметанным пургою, путанным дорогам... – Куда? – Куда? К Своему царству. К тому, что “не от мира сего”... – А где оно, это царство? – Не знаю! И Он не знает. Не знает, а идет. Искал его и в неведомой Опонькой земле, и в сумраке Киевских пещер, у вод Валаамской купели, в строгой тишине Полуночной пустыни, и здесь... Вот сюда дошел и поднялся на крест, гвоздями себя с ним сбил воедино, как плотник доски сбивает. Накрепко. На век. Чтобы не сорвало ни метелью, ни бурей... – И так навек? – Да. “Здесь” – навек. Сошествие с креста – “там”. Вот к этому-то Христу, скуластому, косоглазому, в зипунишке, с котомкой и шли сюда пятьсот лет такие же, в зипунишках и с котомками... – И мы, мы тоже сюда к Нему пришли? – Нет. Мы не пришли, а нас пригнали. Против нашей воли метелью сюда занесло, и в этом непознанное нами Откровение. В грозе и буре, со Зверем, с Конями растапывающими, с Блудницей, растлившей наш разум. Пригнали, чтобы показать: вот Он, о Котором вы позабыли... – Знаете, кому вы созвучны сейчас? – Кому? – Нестерову, художнику, Михаилу Васильевичу. Мне пришлось посидеть с ним в Бутырках дней пять. Его скоро выпустили. Луначарский вызволил, да и делу была грош цена: продал пару картин в чье-то полпредство. Я как раз в это время получил приговор. Конечно, испугался. Соловки... Кровь... Холод, смерть... Все в камере мне сочувствовали, охали... Только Нестеров шепнул: “Не печальтесь! Это к лучшему. Там Христос близко”, – а вечером и потом еще две ночи мне рассказывал, как он приезжал сюда летом почти каждый год и здесь задумал и скомпоновал свое огромное полотно “Святая Русь”. Помните его? На фоне вот этих, по-нездешнему нежных березок, на полянке стоит Христос, а к Нему из лесной чащи, из темной дебри, на Светлую полянку идут, калеки и сермяжники, девушки, старики, отроки – все... – Помню. Он назвал ее также “Приидите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Аз упокою вы”. Только у него всё же не то. Он от Писания Христа показал... И к Нему идут обремененные... А этот безымянный художник слил уже их с Христом, объединил в веру и любви. У этого не “приидите”, а уже пришли и “Я в них”. Вот этот-то безымянный художник и разъяснил мне Феодора. Феодор тоже уже “пришел”. – Поэтому и царевать он не умел? – Да. Поэтому. Потому что “царство его не от мира сего”... К этому царству и шли сюда. К нему и нас пригнали. Ведь все мы – калеки и убогие... Вся Русь. – И Ногтев, и Васьков? – И они! Может быть, еще сильнее нас покалечены. Слово Пригвожденного ко Кресту звучит одною и тою же единственной правдой на всех человеческих языках. Оно звучит и на языке искусства. Актер и лицедей Кондратьев сказал его с “подмосток большевицкого театра”. Достоин ли он имени праведника?

Глава 27.

СКАЗЫ КАМНЕЙ

В те, уже далекие теперь двадцатые годы, нигде, кроме Соловков, не смыкались так плотно последние образы древней, ухидившей в прошлое Руси, с теми новыми формами, которые несла в буре пришедшая советская власть. В стенах, сложенных из обтертых доисторическими льдами камней по указу Правителя Царства Бориса Годунова на Полуночном море, в их твердыне, крепившей силу Первопрестольной Москвы, Красная Москва учредила свой застенок-каторгу. Пылкая фантазия шпаны превратила могилу последнего запорожского кошевого Петра Кольнишевского в гробницу “святого Кудеяра”, “патрона” разбойников, бандитов и прочих уголовников. Невдалеке от нее, на кремлевском дворе, стояла сложенная еще руками монахов пирамида неразорвавшихся бомб, выпущенных по монастырю английской эскадрой в 1855 г. По преданию, их фитили были потушены в воздухе ширококрылыми соловецкими чайками, взятыми за это под особую охрану монастыря. Традиция их охраны перешла и к чекистам: Эйхманс настрого запретил убивать спокойно прогуливавшихся по дворам птиц и этот запрет выполнялся, хотя в белые ночи непрерывный крик чаек изводил заключенных да и в пищу они годились бы с голодухи... кое-что и похуже. Комнаты корпусов-общежитий даже в ротных списках именовались не по-тюремному камерами, а по-монастырски – кельями. Оставшиеся на острове соловецкие монахи были зачислены инструкторами в каторжанские рыболовные артели, на кирпичный завод, на вязку плотов и считались на службе ОГПУ, получая зарплату и паек. В таком же странном сочетании сплетались тонкие, цветистые шелка прошлого с грубым, жестким суровьем новых веяний в душе военкома Соловецкого Особого полка Петра Сухова. Еще недавно был он бравым, боевым вахмистром одного из строгих и блестящих кавалерийских полков, состоял на сверхсрочной службе, знал твердо и непоколебимо, верил сам и другим внедрял веру в то, что “Русское знамя есть священная хоругвь”... Но сменилось знамя. Помимо его, вахмистра Сухова, воли вместо “Спаси, Господи, люди Твоя”... запели “Вставай, проклятьем заклеянный”, вместо царственных величавых орлов нацепили пятиконечные звезды. Лик Спасителя был сорван с древка пробитого бородинскими пулями штандарта, и на том же древке повисла красная тряпица, наскоро сметанная из гусарских штанов штабного писаря. На том же древке... Значит, так надо, и вахмистр Сухов стал служить пришедшим на смену знаменам так же верно и честно, как служил ушедшему. Так же твердо и неуклонно. Когда кончилась война с немцами, вахмистр Сухов пригнал на двор военного комиссариата небольшой табунчик отощавших, запаршивевших от чесотки коней, свалил там же в кучу нерастасканные седла, поставил пустой денежный ящик и древко с красной тряпкой, – всё, что осталось от трехсотлетней истории славного, боевого и блестящего полка. – Получите под расписку, товарищ начальник, а мне позвольте назначение на предмет дальнейшей службы, потому славный ...ский гусарский его бывшего Высочества полк приказал долго жить. Получив

назначение на новый фронт, Сухов, так же, как и прежде, не раздумывая, но выполняя приказ, пошел против нового врага. Были немцы, стали буржуи, кадеты. Это не его, Сухова, дело, кто враг, а вверенный ему эскадрон, теперь уже полк, в полном порядке – и задания выполнены. То, что против него бились теперь не немцы, а русские, не наводило Сухова на размышления. Это был враг. О врагах и в старом и в новом уставе ясно сказано. Только раз в душу его заглянуло сомнение. Он сам об этом так рассказывал: – Уже перед самым окончанием войны, когда Ростов у нас в тылу остался, настигли мы ихний эскадрон... Да какой там к чертям эскадрон! Одно название, десятки рядов не насчитаешь. Разомкнулись в лаву, настигаем. У них кони сморенные, как на стоячих идем. Я впереди, конечно. Жеребец у меня – огонь, – под Воронежем с казенного завода взят, кровный. Достигаю отсталого. Заезжаю слева, как полагается, взял клинком замах. Гляжу, погон-то наш, золотой, просветы небесные, по ним гусарский зигзаг вьется... Один такой во всей кавалерии у нашего полка был. Сумно мне стало. Не рубаю, кричу: “Сдавайся, товарищ полковник, жизнь оставим!” Он обернулся, вижу – наш эскадронный, какой меня к первым двум крестам представлял. Я ему, как другу, кричу: “Сдавайтесь, товарищ, ваше благородие (сам не знаю, как это у меня получилось!)” Он оглянулся и видно тоже мою личность вспомнил. “Серый волк тебе товарищ, иуда-христородавец, отцеубийца”... – кричит... Ну, тут я, конечно, рубанул. Не то, чтобы обидно мне стало, а как иначе? Война! Ночи три он потом мне снился. Я даже пьян напился, хотя вообще на службе пить остерегаюсь и в строю сроду пьяным не был. Оно, так сказать: он, действительно, мне заместо отца на старой службе был. Добром его поминаю... Кончилась война, направили Сухова в совпартшколу. Новый устав. Новая присяга: “Служу трудовому народу”. Господь Бог в ней ни словом не упомянут. Значит – отменен окончательно, вычеркнут из списков, и Сухов Его тоже вычеркнул. Обучающий на занятиях разъяснил по всей науке, что никакого Бога нет и быть не может. Одна поповская выдумка. Значит, так. Правильно! На Соловках комиссару полка приказ за приказом: усилить, углубить антирелигиозную работу, учитывая местонахождение полка в центре распространения религиозного дурмана. Правильно. Здесь и монахи еще целы, а на каждом перекрестке дорог стоят трехметровые Распятия. Чудит товарищ Эйхманс: везде кресты и даже самые малые крестики сняты, а здесь вон какие стоят. Только дощечки понабиты с надписью: “Религия – опиум для народа”. И Спаситель на этом Распятии необыкновенный, навряде статуи крашеной. Таких у нас не бывало. И личностью с нашим не схож, попроще, на Бога не походит, а вроде мужика... Однако, не его это, Сухова, дело. Островом Эйхманс заведует, а у Сухова – полк. Полк в полном порядке. Спаситель же на Распятии деревянный и вреда от него быть не может. Раз, в сумерки, возвращаясь с охоты на соловецких оленей, Сухов выпалил оба заряда в бледно маячившую грудь распятого Христа. – Получи, товарищ! Все шестнадцать картечин в мишени, – подсчитал он. – Кучно бьет двустволочка! Выпалил в Христа – и ничего не случилось! Так-то. Замшелые, источенные ветрами камни Соловецких башенных стен повествуют суровые были об алмазах и смарагдах истового русского благочестия, долгие годы пребывавших в их нерушимом молчании. Камни много расскажут тому, кто захочет прослушать их беззвучную, бессловесную повесть. Соловецкие камни – книга четырех веков. Тот, кто сумеет прочесть эту книгу, узнает о многих трудниках, стекавших сюда “по воле” и “поневоле” со всех концов Святой Руси, чтобы омыть свои души в Соловецкой купели. Эти люди были различны, как и камни в стенах. Иные из них грозными громадами давили друг друга. Так и теперь: камни в стенах словно борются между собой, столкнувшись в твердыне стен, борются так же, как боролись меж собой в ушедших веках создавшие Русь исполины – камни стен ее рухнувшей ныне храмины. Не о них ли хранит в себе память этот нетленный синодик? Могучий и грозный патриарх Никон был тоже в молодости иноком Анзерской пустыни. Не здесь ли окаменел его непреклонный, непреборимый дух? И другая громада стародавней кондовой Руси прикатилась сюда. Ее имя и по сей день сохранила мрачная темница в кремлевской стене – “Аввакумова щель”. А на полке соловецкого антирелигиозного музея теперь лежит иной, меньший по размерам, но столь же твердый камень. В давние времена он лежал в головах сбитого из неструганных и ничем не покрытых жердей ложа чернеца Филиппа Кольчева, инока соловецкого, митрополита Московского царства, столь же грозного и непреклонного, как и сам царь его Иван. На этом камне в часы недолгого монашеского сна покоилась голова, не склонившая свой терновый мученический венец перед державною шапкой Мономаха. Слово святительское стало тогда против царского слова во имя Христовой правды. Стало и победило его в веках. Не один такой камень лежит в соловецких стенах. Камни-люди громоздили эти валуны, камни-люди в жили. Камнем был и соловецкий архимандрит, затворивший врата обители перед поправшим предания древней Руси патриархом. Камнями были и его иноки-воины десять лет продержавшиеся в затворе против стрелы патриаршего воеводы Мещеринова. Много здесь побывало и других таких же камней, не оставивших нам своих имен. Древни, но нетленны сказы соловецких камней и нет им конца... В ряд с замшелыми камнями ушедших веков теперь становятся новые, времен сущих, текущих, столь же твердые и непоколебимые. Одним из таких новых, но столь же несокрушимых как прежние, камней соловецкой обители Духа стал архиепископ, владыка Илларион. С первого же дня его соловецкого жития имя владыки окуталось легендой силы и славы. Рассказывали, что в недалеком еще тогда прошлом он был послан Синодом на усмирение какого-то кавказского монастыря, охваченного безумием проповеди тоже тогда еще не забытого исступленного фанатика монаха Иллиодора – “русского Савонаролы”. Монастырь отказался подчиниться святейшему Синоду и затворился. Применение полицейских мер в этой чисто церковной распри было бы бестактностью. Монастырь не принял молодого еще тогда викария заперев ворота, и не стал слушать его увещаний. Это не остановило воина Христова. Силою своего мощного слова владыка собрал верующих, пошел крестным ходом монастырь и взял его приступом, как крепости-монастыри в стародревние времена. В этой легенде было не зерно, а много правды. Позже мне приходилось слышать ее подтверждение из нескольких различных источников. Но в другой легенде о нем, возникшей к концу первого года его пребывания на Соловках, фактической правды совсем не было, но, вместе с

тем, она крайне интересна и очень ярка для познания этой замечательной личности чисто русского иерарха. В этом плане в ней была своя правда, не фактическая, а внутренняя, как в апокрифе. Рассказывали, что в Кемь приехал нунций Римского Папы с целью использовать трагическое положение православного духовенства ради создания унии. Говорили, что ОГПУ было вынуждено, в силу дипломатических соображений, разрешить ему совещание с заточенными русскими иерархами, которые избрали якобы для переговоров владыку Иллариона. Описывали с яркими, красочными подробностями встречу в Кеми двух князей двух церквей, пышное облачение нунция и убогое рубище Иллариона, повторяли речь посланника Римского Престола и предложенные им тезисы условий соединения церквей, обещания вывезти из Соловков все русское духовенство и гордый трагически-непреклонный ответ владыки, избравшего терновый венец и отвергнувшего предложенную ему тиару кардинала... Спорили даже о таких подробностях, как икона, держа которую, вышел к нунцию владыка Илларион. Но ни капли фактической правды в этом апокрифе не было и не могло быть. Посольство Папы и тем более разрешение на встречу его с заточенными со стороны ОГПУ были абсолютно невозможны, и все бывшие на Соловках иерархи решительно отрицали этот факт. Тем не менее, апокриф родился и жил на острове. Он даже перекинулся на материк: позже я слышал его в Москве. Легенда возникла и жила потому, что люди хотели видеть реальное воплощение духовной силы церкви, ее несокрушимой твердыни, и самым подходящим объектом для этого воплощения был владыка Илларион. Огромная внутренняя сила его проявилась с первых же дней по прибытии на каторгу. Он не был старейшим из заточенных иерархов, но разом получил в их среде признание высокого, если не первенствующего авторитета. Среди верующих мирян эта авторитетность его достигла еще большей высоты: его называли хранителем и местоблюстителем патриаршего престола, возведенным в этот сан тайным завещанием патриарха Тихона, что тоже было апокрифом; говорили и о посулах ему со стороны ГПУ за переход и возглавление созданной этим органом "живой церкви" и о его решительном отказе. Последнее вполне возможно. Подобные предложения не раз делались и высшим иерархам и рядовому духовенству. Силе, исходившей от всегда спокойного, молчаливого владыки Иллариона, не могли противостоять и сами тюремщики: в разговоре с ним они никогда не позволяли себе непристойных шуток, столь распространенных на Соловках, где не только чекисты-охранники, но и большинство уголовников считали какой-то необходимостью то злобно, то с грубым добродушием поиздеваться над "опиумом". Нередко охранники, как бы невзначай, называли его владыкой. Обычно – официальным термином "заключенный". Кличкой "опиум", попом или товарищем – никогда, никто. Владыка Илларион всегда избирался в делегации к начальнику острова Эйхмансу, когда было нужно добиться чего-нибудь трудного, и всегда достигал цели. Именно ему удалось сконцентрировать духовенство в 6-й роте, получить для него некоторое ослабление режима, перевести большинство духовных всех чинов на хозяйственные работы, где они показали свою высокую честность. Он же отстоял волосы и бороды духовных лиц при поголовной стрижке во время сыпнотифозной эпидемии. В этой стрижке не было нужды: духовенство жило чисто. Остричь же стариков-священников значило бы подвергнуть их новым издевательствам и оскорблениям. Устраивая других – и духовенство и мирян – на более легкие работы, владыка Илларион не только не искал должности для себя, но не раз отказывался от предложений со стороны Эйхманса, видевшего и ценившего его большие организаторские способности. Он предпочитал быть простым рыбаком. Думается, что море было близко и родственно стихийности, непомерности натуры этого иерарха, русского князя церкви, именно русского, прямого потомка епископов, архимандритов, игуменов, поучавших и наставлявших князей мира сего, властных в простоте своей и простых во власти, данной им от Бога. Когда первое дыхание весны рушит ледяные покровы, Белое море страшно. Оторвавшись от материкового льда, торосы в пьяном веселье несутся к северу, сталкиваются и разбиваются с потрясающим грохотом, лезут друг на друга, громоздятся в горы и снова рассыпаются. Редкий кормчий решится тогда вывести в море карбас – неуклюжий, но крепкий поморский баркас, разве лишь в случае крайней нужды. Но уж никто не отчалит от берега, когда с виду спокойное море покрыто серою пеленою шуги – мелко, плотно идущего льда. От шуги нет спасения! Крепко ухватит она баркас своими белесыми лапами и унесет туда, на полночь, откуда нет возврата. В один из сумеречных, туманных апрельских дней, на пристани, вблизи бывшей Савватиевской пустыни, а теперь командировки для организованной из остатков соловецких монахов и каторжан рыболовной команды, в неурочный час стояла кучка людей. Были в ней и монахи, и чекисты охраны, и рыбаки из каторжан, в большинстве духовенство. Все, не отрываясь, вглядывались! В даль. По морю, зловеще шурша, ползла шуга. – Пропадут ведь душеньки их, пропадут, – говорил одетый в рваную шинель старый монах, указывая на еле заметную, мелькавшую в льдистой мгле точку, – от шуги не уйдешь... – На всё воля Божия... – Откуда бы они? – Кто ж их знает? Тамо быстринка проходит – море чистое, ну и вышли, несмышленые, а водой-то их прихватило и в шугу занесло... Шуга в себя приняла и напроць не пускает. Такое бывало! Начальник поста, чекист Конев, оторвал от глаз цейсовский бинокль. – Четверо в лодке. Двое гребцов, двое в форме. Должно сам Сухов. – Больше некому. Он охотник смелый и на добычу завистливый, а сейчас белухи идут. Они по сто пуд бывают. Каждому лестно такое чудище взять. Ну, рискнул! Белухами на русском севере называют почти истребленную морскую корову – крупного белого тюленя. – Так не вырваться им, говоришь? – спросил монаха чекист. – Случая такого не бывало, чтобы из шуги на гребном карбасе выходили. Большинство стоявших перекрестилось. Кое-кто прошептал молитву. А там, вдали, мелькала черная точка, то скрываясь во льдах, то вновь показываясь на мгновение. Там шла отчаянная борьба человека со злобной, хитрой стихией. Стихия побеждала. – Да, в такой каше и от берега не отойдешь, куда уж там вырваться, – проговорил чекист, вытирая платком стекла бинокля. – Амба! Пропа! Сухов! Пиши полкового военкома в расход! – Ну, это еще как Бог даст, – прозвучал негромкий, но полный глубокой внутренней силы голос. Все невольно обернулись к невысокому плотному рыбаку с седоватой окладистой бородой. – Кто со мною, во славу Божию, на спасение душ человеческих? – так же тихо и

уверенно продолжал рыбак, обводя глазами толпу и зорко вглядываясь в глаза каждого. – Ты, отец Спиридон, ты, отец Тихон, да вот этих соловецких двое... Так и ладно будет. Волоките карбас на море! – Не позволю! – вдруг взорвался чекист. – Без охраны и разрешения начальства в море не выпущу! – Начальство, вон оно, в шуге, а от охраны мы не отказываемся. Садись в баркас, товарищ Конев! Чекист как-то разом сжался, обмяк и молча отошел от берега. – Готово? – Баркас на воде, владыка! – С Богом! Владыка Илларион стал у рулевого правила, и лодка, медленно пробиваясь сквозь заторы, отошла от берега. Спустились сумерки. Их сменила студеная, ветреная соловецкая ночь, но никто не ушел с пристани. Забегали в тепло, грелись и снова возвращались. Нечто единое и великое спаяло этих людей. Всех без различия, даже чекиста с биноклем. Шепотом говорили между собой, шепотом молились Богу. Верили и сомневались. Сомневались и верили. – Никто, как Бог! – Без Его воли шуга не отпустит. Сторожко вслушивались в ночные шорохи моря, буравили глазами нависшую над ним тьму. Еще шептали. Еще молились. Но лишь тогда, когда солнце разогнало стену прибрежного тумана, увидели возвращавшуюся лодку и в ней не четырех, а девять человек. И тогда все, кто был на пристани, – монахи, каторжники, охранники, – все без различия, крестясь, опустили на колени. – Истинное чудо! Спас Господь! – Спас Господь! – сказал и владыка Илларион, вытаскивая из карбаса окончательно обессилевшего Сухова. Пасха в том году была поздняя, в мае, когда нежаркое северное солнце уже подолгу висело на сером, бледном небе. Весна наступила, и я, состоявший тогда по своей каторжной должности в распоряжении военкома Особого Соловецкого полка Сухова, однажды, когда тихо и сладостно пахуче распускались почки на худосочных соловецких березках, шел с ним мимо того Распятая, в которое он выпустил оба заряда. Капли весенних дождей и таявшего снега скоплялись в ранах-углублениях от картечи и стекали с них темными струйками. Грудь Распятого словно кровоточила. Вдруг, неожиданно для меня, Сухов сдернул буденовку, остановился и торопливо, размахисто перекрестился. – Ты смотри... чтоб ни кому ни слова... А то в карцере сгною! День-то какой сегодня, знаешь? Суббота... Страстная... В наползавших белесых соловецких сумерках смутно бледнел лик Распятого Христа, русского, сермяжного, в рабском виде и исходившего землю Свою и здесь, на ее полуночной окраине, расстрелянного поклонившимся Ему теперь убийцей... Мне показалось, что свет неземной улыбки скользнул по бледному Лику Христа. – Спас Господь! – повторил я слова владыки Иллариона, сказанные им на берегу. – Спас тогда и теперь!..

ЧАСТЬ ПЯТАЯ.

НА ТРОПЕ К КИТЕЖУ.

Глава 28.

САМОЕ СТРАШНОЕ

Соловецкий парижанин Миша Егоров умел устраиваться во всех случаях жизни: размахисто, смачно жить до революции, неплохо прокатиться и прожуировать в Париже при революции. Не смутили его и Соловки. Когда отстроили новый театральный зал с глубокою сценой, “карманами”, софитами, костюмерной, бутафорской и прочими атрибутами настоящего профессионального театра потребовался и директор. Им стал Миша. Директором он был дельным; замоскворецкая купеческая сметка помогала; работал для театра, не забывая себя. Прежде всего, он отыскал себе квартиру, удобную, уютную, скрытую от лишних глаз и довольно оригинальную. Это был небольшой подвал под сценой. Миша эффектно декорировал его сценическим барахлом, расставил театральную мебель, повесил картины и получился апартамент, похожий не на соловецкую камеру-келью, а на номер элегантного отеля или студию модного художника. Гости, конечно, повалили валом, но Миша пускал к себе с разбором, и скоро создалась небольшая группа “завсегдатаев подполья”, получивших кличку “фантомов” в честь героя какого-то бульварного французского романа, пользовавшегося успехом у соловецких любителей легкого чтения. Состав “фантомов” был пестрым: большинство московская интеллигентская молодежь с налетом богемы, обычным в те годы, но были и ссыльные интеллигенты-чекисты, вовлеченные в русло интеллектуально-духовной жизни каторги. В “подполье” говорили свободно. Присутствие ссыльных чекистов никого не смущало. Знали: эти не “стукнут”, хоть и чекисты, но “свои”. Самой интересной фигурой среди них был тот, кого я назову здесь условно Отен. Его настоящая фамилия была чисто польской, шляхетской, но, очевидно, род уже давно обрусел и Отен был православным, польски не говорил. По профессии он был инженером-металлургом, кажется, хорошо знавшим свое дело, хотя и молодым. На Соловках Отен заведывал чугунно-литейной мастерской – должность по соловецкой иерархии неважная, нехлебная. Но среди чекистов-правленцев и охраны он пользовался большим авторитетом. Видимо, в прошлом он имел какие-то специальные заслуги и чекистские связи его не порвались. Из специфически польских черт Отен сохранил в себе лишь одну – типично польскую, не русскую, несмотря на его православие, – религиозность. Он верил экстатически вплоть до изуверства, тайно говел по несколько раз в году и фанатично выполнял посты и епитимьи, которые, вероятно, сам на себя накладывал. Русские так не молятся, не пролеживают ночи, раскинувшись крестом на холодном полу, не бичуют себя... не постятся по рациону – один сухарь в день... У нас – земные поклоны и внутреннее устремление в себя, а он давил на себя извне, словно борясь, преодолевая и истязая какую-то иную, угнездившуюся в нем, но чуждую ему личность. О его религиозности, конечно, знали в правлении, однако, допускали и доверия не лишали. В некоторых случаях ЧК смотрит сквозь пальцы на подобные “чудачества”, вернее, смотрела тогда. Теперь – вряд ли... Музыка вообще и особенно религиозная музыка

действовала на Отена потрясающе. Иногда он затаскивал в пустой клуб, в часы, когда тот бывал закрыт, ученика Сен-Санса барона Штромберга и заставлял его играть Глюка, Баха, Генделя. После этих сеансов при запертых дверях милейший и талантливый, но недалекий Штромберг разводил руками: – Я боюсь, говорю вам без шуток, боюсь его! Это сумасшедший! Положительно сумасшедший... Он бесится под музыку. Это ужасно! Под музыку можно танцевать, петь, ну, пить вино... Но хлестать себя ремнем!.. Нет, он сумасшедший! И, вместе с тем, в личной, повседневной внешней жизни Отен был необычайно аккуратен, практичен и даже стяжатель. Не получая помощи с материка, он жил на Соловках “богато”, всегда был хорошо одет, в чистом и даже щегольском белье; его койка блистала редкостью Соловков – простынями, наволочками и покрывалом на подушке... Заманчивое содержимое Мишиных парижских чемоданов постепенно, вещь за вещь перешло к Отену; через него по высокой цене можно было достать водку и прочие радости из закрытого распределителя, сбить утаенный золотой крестик, цепочку, колечко, коронку с зуба... * * * Однажды поздним зимним вечером – в подполье засиживались до двух-трех часов ночи – там шел жестокий спор. Тема его: преимущества русской духовной музыки над западной... Спорили с пеной у рта, – по-русски; доказывая, пели; притащили оставшуюся от монахов маленькую фисгармонию, служившую, вероятно, регенту хора, и услужливый Штромберг, сам не принимавший участия в споре, играл на ней то Баха, то Бортнянского, то Чиморозу, то Венявского. Отен был одним из главных спорщиков, пожалуй, даже самым глубоким и страстным из них. Неожиданно его позвали сверху. Он вышел и, вернувшись, шепнул Мише: – Дай, пожалуйста, на минутку ключ от мастерской. – Зачем тебе? – удивился тот. – Инструмент один срочно нужен. Я с Головкиным пройду... Дай на минутку. Головкин был театральным плотником, декоратором, личностью тоже небезынтересной, помнившим и любившим рассказывать о первых выступлениях молодого Шаляпина на Нижегородской ярмарке. Отен исчез, но часа через полтора вернулся и снова страстно вступил в еще не оконченный спор. В этот момент у спорщиков шел разбор заубойной литургии Иоанна Дамаскина. Прекрасно знавший церковную службу Милованов возглашал своим могучим басом и за священника, и за диакона, и за хор. Штромберг тихо вторил на фисгармонии. – Помилуй мя, Господи, научи мя оправданиям Твоим... Мощные, торжественные, полные сверхчеловеческого трагизма звуки наполняли “подполье”. – Смотри, как Отена разбирает, – шепнул мне Глубоковский. На того было страшно смотреть. Выпрямившись, напрягшись всем телом, как натянутая до предела струна, он вглядывался в пространство огромными, расширенными, остекленевшими глазами. Окружающее для него не существовало. Он видел иной мир, порожденный в его душе взлетами боговдохновенной мелодии... На следующий день, под вечер, когда солнце уже скрылось за темно-синей стеной бора, мы вышли вдвоем с Глубоковским из стен кремля. Наползали лиловые сумерки с тою ясной, мягкой прозрачностью, какая бывает лишь на русском севере в начале осени, когда уютно пахнет грибами и прелым листом. Мы обогнули кремль по берегу зеркального Святого озера и вышли к кладбищу. Во время таких тихих вечерних прогулок мы оба любили заходить туда, бродить между замшелыми, изъеденными червем крестами, древними, русскими, с острым князьком наверху. Надписи не были интересными; на каждом кресте стояло только имя почившего инок, его духовный чин, дата кончины и слова: “Жития его было в обители столько-то лет”. – Смотри, – сказал я Глубоковскому, – как подолгу жили иноки! На каждом кресте 55, 60, 65 лет в обители, меньше 50 и нет... – Спокойно жили, оттого и подолгу. Да и климат здоровый. А знаешь, как от цинги они лечились? Мне Ириарх рассказывал: еловый отвар пили и, взяв увесистое бремечко дров, раз по пятнадцать в день на колокольню поднимались... “Крови разгоняли”, говорит... И помогало. Вот и конец монастырских могил. На краю несколько новых, одни с крестами, другие без крестов. Дальше, впереди, никогда не закрывающийся, отверзлый зев “общей”: свалят мертвецов, слегка засыпят землей и известкой и снова добавляют на следующий день... В “шестнадцатую роту” всегда идет пополнение. – Посмотрим, кто крайний в этой очереди, кого последнего похоронили с крестом? Вот он, на углу общей. Читай, есть надпись. На простом кресте, сбитом из неоструганных еловых обрубков с уже окаменевшими смолистыми слезами, была прибита дощечка, а на ней выжжено раскаленным гвоздем: Генерального штаба полковник Даллер. (умер) 17 ноября 1923 года Я не первый воин, не последний, Будет долго Родина больна. Помяни за раннюю обедню Мила друга верная жена. – Ишь, из Блока эпитафию взяли... Думал ли он, Александр Александрович, что сюда эти строки попадут? А? Вряд ли... Только ведь это, пожалуй, попочетнее, чем в “Весех” и в “Аполлоне” напечатанным быть... Как думаешь? Кто писал, интересно? – Свои, генштабисты, надо полагать. – Вряд ли. Они дальше “земли пухом” не раскочались бы. А, впрочем, разный теперь народ пошел. Ты его знал? – В Бутырках вместе в 78-ой сидели. И приехали сюда вместе. Тебя еще не было тогда. Его Ногтев на приемке из карабина шлепнул. Я за ним третьим стоял. Вторым – Тельнов. – Значит, теперь твоя очередь. Тельнова вчера израсходовали. – Что ты врешь! Я с ним вчера вместе ужин брал! – Ну, и брал... А после ужина его взяли. По предписанию Москвы. А в расход вывели вечером, когда мы у Мишки Гайдна слушали... Очень просто. Так ты говоришь, за Даллером тогда стоял? Страшно было? – Было. – Очень? – Очень. – А хочешь, я тебе самое страшное расскажу? Такое, что пострашнее самой шлепки? Идем. Сесть бы где-нибудь... На гроб разве? По другую сторону разверзтой “общей” белели еле-еле видные в спустившейся тьме неоструганные доски “почетного” гроба, единственного на Соловках. Если друзья умершего хотели проводить его на кладбище, они могли брать этот гроб, доносить в нем покойника до могилы, сбрасывать туда, гроб же ставить на место. У каторжан этот церемониал назывался “прокатить на автобусе”. Мы подошли к гробу. Глубоковский внимательно осмотрел его, приподнял крышку, внутрь заглянул и даже пощелкал пальцем по доскам. – Слажено крепко. Должно быть мужичок какой-нибудь сбивал, плотник рязанский. Шпана бы наскоро, кое-как сколотила... А заметь, стиль-то как эволюционирует! – Какой стиль? Чей? Гроба? – Ясно, гроба, а не ленинского мавзолея! У того по-иному, а здесь смотри: не то гроб, не то ящик, носилки, в каких для мостовых щебень таскают.. Ширина-то какая! Трех уложить можно. Разве такие гробы бывают? А почему? Видишь, держки прибиты, как к носилкам. Сделай его узким, –

взяться будет нельзя. А тут всё приспособлено. Темпы, братец, индустриализация!.. А крышка еще правильная, как у настоящего гроба, с поднятым возглавием. Традиция с прогрессом в гробу сплелась. Здорово! – Знаешь, Глубоковский; что мне вспомнилось: в Риме, в Латеранском музее я собрание первых христианских гробниц смотрел. Там тоже: на гробу высечен Пастырь Добрый с овечкой на плечах, а вокруг крылатые амурчики с виноградными лозами пляшут и козлоногие сатиры за вакханками гоняются... Значит, и тогда тоже сплеталось... Закон такой. – Закон-то закон, а разница большая. Тогда-то Он, Пастырь с овечкой, сатириков-козлов в людей переделывал, Дух Свой вечный в них, в козлов, вкладывал... Даже святые сатиры бывали, если Мережковскому верить. А уж Мессалина в Магдалину преобразалась – это факт, вакханки – в сестер Беатрис, Урсул, там разных – тоже факт... А теперь усыпальница вечная, русская наша домовина – в мусорный ящик преобразилась! Такой же факт, а не реклама. Вот тебе и прогресс! Гуманизм, чорт его задери! Храм – агитпункт, гроб – помойка, могила – свалка, Евангелие – промфинплан... Приехали гуманисты на всех парах к социализму! Осчастливили человечество! Он ткнул гроб ногою, заглянул в яму с белевшей на дне россыпью извести и потянул носом. – Нет, здесь нехорошо. Попахивает из “общей”. Душком грешным несет. Тельновским может быть... со вчерашнего ужина. Ну ее к Аллаху, эту la fosse commune... Правда, забавная игра слов получается? По-русски выходит “коммунистическая”... Лучше уж на частновладельческую, буржуазную могилку сядем. Курить есть? Ну, слушай. Вот, когда я про Тельнова сказал, передернуло тебя? Передернуло, не ври. Я видел. А тебя мертвецом не удивишь. Только не думай, что я тебе “ужасы Чека” или про “комариков” рассказывать буду. Это, брат, бутафория, картон крашенный. Щенячьи забавы, вроде Эдгара По, что про маятник с колодцем выдумал. Подумаешь, удивил! Этакого маятника теперь самый плюгавый чекистишко постыдится: прыгнет у него подследственный в колодец этот – и концы в воду! И вообще никаких “ужасов Чека” в природе нет. Есть иной ужас – русский, всероссийский... Слушай. Помнишь, когда вчера Отена сверху позвали? Помнишь? Штротберг тогда Гайдновский хорал играл... А наверху Отену сказали: “Идем Тельнова шлепать”. Он и собрался в момент. Прямо с Гайдна. Здорово? Только и это чушь, детство. Не в самой шлепке дело. Кстати, и производится здесь эта операция очень гуманно. Выведут из кремля, руки свяжут и идут по лесу... Двое с боков, один сзади... не больше... Никакой излишней торжественности, будни... Ведут, а связанный думает: “Ещё может быть сто метров пройду... не сейчас еще... ну, хоть пятьдесят метров”... А его в затылок – цок! И готов голубчик... Эй-Богу, гуманно! Думаешь, шучу? Но слушай. Не в том ужас, что Отен прямо от Гайдна шлепать пошел. И не в том, что идти его не тянули... добровольно шел... а в том... ..Знаешь, что он у Головкина взял? Клещи и плоскогубцы. Тельновский рот помнишь? Весь в золоте, в коронках... Так вот, для них – клещи, а Отен – в качестве спеца-оператора... он же и коммерческий директор треста... Понял? Дай курить. Глубоковский оторвал кусок газеты, насыпал махорки, завернул, прорвал бумагу, снова завернул и после нескольких жадных затяжек зашептал: – Теперь представь картину: лес, Тельнов еще тепленький лежит, может быть и дергается еще... глаза не закрыты... мутные... сам знаешь, какие бывают у свежих мертвецов... А они – кругом! Трое. Не больше. А то помалу золота на рыло выйдет. Один рот Тельнова растягивает, другой фонариком светит, по лицу желтенький кружочек бегаёт – рука дрожит, а Отен во рту оперирует, то клещами прихватит, то плоскогубцы примерит... Клещи срываются, а он матерится... Но и это еще не страшно. И это – картон. В лучшем случае – Гойя... Тоже щенок был бутафорский, несмышлениш... А вот, когда вернулся к нам Отен и стал “оправдания” слушать, а у самого в кармане зубы тельновские лежат... Вот это страшно! Ведь не ханжил он ни секунды, а действительно, понимаешь, действительно чувствовал Дамаскина и в высь духом своим возносился превыше всех нас! С зубами-то в кармане!.. Ведь такие, как он, за Петром-Пустынником ко! Гробу Христову шли, за Савонаролой – в огонь, за Зосимой – в пустыню Полуночную, с Аввакумом – на дыбу, на колесо... и на колесе ирмосы пели... А у него – зубы в кармане! Нет, брат, чтобы этот узел распутать, дюжину Достоевских надо! Одному не совладать. Федор, блаженный эпилептик, что видел? Нуль с хвостом. “Кедрилу-обжору”! Эко дело – Раскольникову написать! Что он, Раскольников?! Дерьмо с брусничкой... Кисель с миндальным молочком. Раскроил мальчишка череп старушонке ради дурацкого эксперимента и раскис! Даже и деньги позабыл поискать... Грош цена такому преступлению. Это шалость, игра в грех, а не сам грех. Вот если бы он медленно, методично, с оглядкой все комоды у нее пересмотрел, нашел бы заветную укладку, просчитал бы деньги раз, другой, третий, на свет кредитки проверил... а оттуда прямо ко всеобщей и молился бы от души, умилялся бы, духом бы, как Отен, возносился, из старухиных денег за рупь свечку бы поставил... Богородице... Вот когда бы я испугался. – Ты, наверное, скоро с ума сойдешь, Глубоковский! – Я? Ни в жисть, как Алешка Чекмаза говорит. Думаешь, я в глубине переживаю всё это? Нет, брат. Это у меня репортаж. В книжечку памяти записываю, анекдотики царства советского Антихристово собираю. Еще хочешь? Могу. У меня их хватит. С “изюминкой” рассказец, со сдобой, с перчиком. Слушай! В Тамбове присудили к шлепке двух бандитов-мокрятников. Правильно присудили. У каждого человек по двадцать на душе. Тюрьма, конечно, переполнена: все камеры мужичьем набиты – повстанцев дочичали. И в смертной камере два старика сидят Убрать их некуда, да и стоит ли на одну-то ночь! Сунули и бандитов туда же. Вот и решили бандиты последнюю ночь отгулять, с жизнью проститься. Но как? Водки не достанешь. Одно осталось: припугнули стариков и да и усладились их прелестями по тюремному способу... Ловко? Федор-то Михайлович эту “последнюю ночь приговоренного” из сердца своего калеными клещами рвал. А выходит-то все его муки ни к чему. Дело совсем просто стало. Ошибся маленько провидец наш великий. Думаешь, тут и делу конец? Нет, браток, погоди. Дальше хлеще будет. Когда пришли ночью за бандитами: “выходи без вешней которые...” – старики к ним: “Господа-товарищи, вам всё одно не боле часу жисти осталось, а сапожки на вас новехонькие, ахвицерские, хромовые... Вы бы их нам пожаловали, за наше вам угождение... Время летнее, ножек не застудите”... Не веришь? Оба они здесь теперь. Сами рассказывали. Могу их завтра с тобой познакомить. Посмотришь на них: да кто же это? Знаешь, кто? Калиныч с Платоном Каратаевым! –

зашептал он мне на ухо. – Вот кто! Глубоковский захлебнулся прорвавшим его смехом. Он давился им, всхлипывал, кашлял повторяя меж душившими его спазмами: – За сапожки... Платоша Каратаев... за хромовые... Отдышался, вытер слезы, закурил. – Так вот, всякое на Руси бывало! И дыба, и колесо, и “утро казни стрелецкой”, и “сарынь на кичку”, а такого не бывало вовек... А вы с детскими “ужасами Чека” носитесь... идиоты червивые... Маниловы! Нет, ты представь только себе, Ширяев, я ли, ты ли, сунулись бы мы вот с такой темкой в любую редакцию в году этак 1870? Что было бы? Давай этот фарсик разыграем. Пришли бы в “Отечественные записки” к бородатому Щедрину... Он бы нас так “обличил”... и каких-нибудь пескарей, лещей или иную рыбицу с нас бы, с лжецов, выдумщиков, написал. Сунулись бы к Некрасову – приказал бы нас взашей выгнать: стонущего по острогам мужичка, дескать, порочим! К Каткову – вежливоенько выставил бы и вразумительно Марк Аврелия или Сенеку по-латыни процитировал... К Тургеневу – побежал бы в подол Полины Виардо плакать... К Достоевскому – он бы в припадке три дня катался, а поверить... и он не поверил бы... даром, что бесов разглядел! Вот мы и подошли к корню, к сердцевине моих анекдотиков... Их я в сердце своем записываю... В мозгу адским огнем выжигаю, как печать Каинову. Помнишь, году, кажется в двадцать втором сидели мы с тобой в “Домино”. Грузинов с нами денатурку ещё пил... Помнишь? Вышел Клюев на эстраду и по-своему, по-козлиному задьячковил: Всепетая Мать сбежала с иконы, Чтоб вьюгой на Марсовом поле рыдать И с Ольгой Псковской за желтые боны Усатым мадьярам себя продавать... Ты и не заметил этого тогда, проморгал, а меня по сердцу резануло... Да ведь это же “Бесов” продолжение! “Если Бога нет, то какой же я капитан?” или старик Верховенский перед смертью: “Existe-t-elle, la Russie??” Вот тебе и “экзист”! Сбежала она, Русь-то, матушка, “всех скорбящих радости”, прошлась по мукам, да завертела подолом на Марсовом поле... Ольга-то Псковская с Блоковской Катькой пляшет: Больно ножки хороши, Спать с собою положи! Эх, эх, без креста... Тра-та-та... Слушай дальше. Тайну тебе открою. Только договоримся сначала: не лепи на меня этого своего дурацкого ярлыка! Брось эту аптекарскую привычку людей, как флакончики, по полочкам расставлять. Слово мистик забудь. Какой я мистик? Откуда я, богема московская, мог этого снадобья набратся? У Кизеветтера, что ли, у которого Русь-то и на Куликово поле без креста шла? У Таирова или у Филиппова в кофейной? У Морозихи в “заведении”? Выбрось, вычеркни это слово. Так вот. Это мне один монашек тут уж рассказал. Немудрящий такой, вроде юридивого. Нас, каторжников, чиновниками зовет и, хоть убей, понять, что мы – принудиловцы, не может. Рассказал он мне апокриф, вычитанный им в какой-то, очевидно, старообрядческой рукописи: когда Сергей Радоженский созывал рати в Коломну к Дмитрию, послания он князьям писал –рязанским, ярославским, белозерским и прочим... Бесам же очень обидно стало (так и говорит монах – обидно), что Святая Русь утверждается и поганым погибель приходит. Всячески они Святителю пакостили: то в чернила ему нагадят, так что он от смрада дышать не может, то под руку толкнут, то лампаду затушат... Ничего с ними Святитель поделат не может и молит Пречистую Заступницу: – Дай мне силу от проклятых бесов оборониться! Услышала Мать Божия и послала своему молитвеннику мощь наложить заклятие на бесов, больших и малых, на Гога и Магога, сроком на полтысячи лет... На Руси им не быть, а в недрах земных замкнуться. На полтысячи! Теперь считай, по Евтушевскому, без мистики, считай: 1380-й плюс 500, ровно 1880. Кончилось заклятие! Вышли Гог и Магог из каменного затвора! Понеслись бесы по Руси сначала чуть заметной поземкой, а потом разгулялись, разыгрались, засвистали, закрутили метелью... Русские бесы... свойские... Смеешься? – Как же не смеяться-то? Чертячий национализм какой-то или национальное чертобесие! Спятил ты с ума, Глубоковский!.. Уже совсем свихнулся.. амба тебе! – А ты что думал? И бесы у нас свои! Нам немецкий чорт в плаще, со шпагой не годится. Ему делать на Руси нечего. И Демонам-Манфредам, кроме как институткам сниться, занятия нет. Наш бес в лапотках, по болотцу прыгает, с кочки на кочку, с кочки на кочку, а потом с купчихой чаи вприкуску распивать сядет, с мужичонкой лядащим, пьяненьким попляшет... Помнишь, у Мусоргского – трепака как отхватывает! Чувствовал он беса... слышал его пьяненький, а Достовский увидел воочию, ощупал, за хвост поймал. Не иносказательного, не символического, а взаправдишного, из тех, каких Христос в свиней загнал... Тем-то и страшен наш бес, что его не только от человека, но порою и от ангела не отличить. Без плаща, без шпаги, простенький... Жила-была, примерно, Софья Перовская, папе-маме по утрам реверансики делала, косичка с бантиком... французские глаголы зубрила... Ан, глядь, – таким же русачкам-простакам топор, то-есть бомбу в руки всунула: “Иди, убей. Так надо во имя любви”. Подвиг с грехом в одной ступке истолкла. И не сдрейфила, как Раскольников от первой старушки! Раз, два, три, пять... Поезда – под откос, Зимний дворец – к чорту, сотни трупов... кровища хлещет, а им хоть бы что, бесам-то русским в ангельских образах!.. Верили ведь! В “Жертву вечернюю” верили, как весь Синод, вместе взятый, не верит... Вот он, русский-то бес! Это тебе не шляпа с пером... Наш бес всюду пролезет. Мышкой, клопиком, вошкой малою... червяком – точит и точит – и в мозгу, и в сердце... И в постель, и в гроб с тобой ляжет... Слышишь? – схватил он меня за руку. – Что еще? – Вот он, стучит... Крышкой о гроб стучит! Отзывается... Лицо Глубоковского, бледножелтое в свете взошедшей луны, надвинулось на меня в упор. – Слышишь? Слышишь? – хрипел он. – Вот еще, вот, вот... Позади нас, там, где стоял общественный гроб – “автобус”, действительно что-то размеренно и дробно стучало. – В живого чорта не веришь, а оглянуться не оглянешься! Кишка тонка. Эх, ты... свободомыслящий... — Глубоковский засмеялся. – Ишь, побледнел как! Не робей, посмотрим. Наверное, разыгрыв какой-нибудь. Мы встали и повернулись. Гроб, накрытый некрашеной крышкой, был виден ясно; смолистые доски поблескивали в лучах полной луны. Стука больше не было. Но вдруг, крышка медленно приподнялась от изголовья упала на сторону. Из гроба вынырнула фигура мужчины, он стоял на коленях, потом поднялся на ноги, воровато оглянулся по сторонам, подтянул пояс и быстро, почти бегом, зашагал к кремлю. – Только и всего, – разочарованно протянул Глубоковский. – В чем же дело? Ага, вот еще смотри... Из гроба опять кто-то выглянул. На этот раз женщина. Поправила сбившийся платок, одернула юбку и побежала, но в противоположную сторону, к женбараку.

Глубоковский снова закатился смехом, упал на землю, корчился, давился, кашлял. – Вот она – иллюстрация! Черти нашенькие, в живом виде, полностью... бесенятки... блудливые... мелочь... молодежь! В гробу милуются! Ловко придумали! Сам Райва не угадает такого. Днем – покойнички, вечером – любовнички! Это, брат, почище Щедринской купчихи будет... Бородатому обличителю такого не выдумать! Вдруг он вскочил, разом оборвав смех. Округлившись, безумные глаза были устремлены к черневшей громаде кремля. – Еще анекдотик царства советского! Здорово? В гробу... Это ли не сюжетец? Эдгар По от зависти в могиле своей перевернется. Всё запомню, к сердцу суконной ниткой пришью, чтобы бередила, покоя не давала... – Будет время, – захохотал он во весь свой могучий, львиный голос, – придет оно, всё это напишу! Изобразю! Покажу русского беса во всей красе его! Кровь свою с дерьмом собачьим смешаю и этой гнусью писать буду... в назидание грядущему потомству, чорт бы его задрал!.. Покажу ему Китеж-град, революцией преобразенный! Вот... Смотри! – погрозил он кулаком посеребренным лунным сиянием башням кремля. – Любуйся! Премудрая дева Феврония в гробу блудит, а князь Юрий благоверный зубки у покойничков дергает! Отслужили бесы в евангельском виде проскомидию свою дьявольскую... “Сия есть кровь моя нового завета”... Желябовы, Перовские, Засуличи, Каляевы, Дзержинские... Святые бесы... Адовы святители! Кровь свою несли “во оставление грехов”! Революцией Русь преобразали! Вот она, святая, преобразенная... Всё напишу я, бродяга, каторжник Глубоковский! [14] Всё! Последние слова он выкрикнул, исступленно вырвал из себя и, словно выбросив что-то безмерно тяжкое, давившее, угнетавшее, разом обмяк и, обессиленный, сел на могилу. – Устал я... ох, как устал... Курить... дай. – Книжный ты человек, Глубоковский, и самому тебе от этого круто приходится, – сказал я, глядя на капли пота, блестящие на его лбу. – Что значит книжный? – вскинул он на меня глаза. – Точнее вырази. – Не сумею, пожалуй, слова нужного у меня нет... Может быть лучше сказать – зрительный, зрелищный... “Таировский”... Он, должно быть, тебя и испортил. У него, у Таирова, всё от внешнего, снаружи... зрелище. Посмотрит и сердцевину сам выдумает. Так и ты: увидел этих мужиков – хлоп! – Калинычи, Каратаевы! Всунул в них готовое, книжное нутро и анекдотик составил. – А каким же чортом их, по-твоему, фаршировать? – Никаким. У них свой фарш имеется, не калинычевский, не каратаевский, собственный, “созвучный эпохе”, как полагается выражаться. – Про то и анекдоты. – А я тебе про то же другие анекдоты расскажу. Ты Ногтева не застал. При тебе уже Эйхманс был начальником лагеря. Так вот, этот Ногтев был форменная зверюга. Нет, хуже, у волка какая-то волчья этика имеется: он сучонок “в охоте” не трогает, родовой инстинкт выше голода ставит. Костромские мужики их на ночь в лесу привязывают – для щенят и говорили: не было случая, чтобы волки их рвали. А у Ногтева и этого не было. Рожа дурацкая и вся дергается... Так вот... ты о схимнике, последнем русском молчальнике, что и теперь еще здесь в дебре живет, слышал? – Кто ж об этом феномене не знает? Ну? – Говорят, – мне это Блоха рассказывал, уголовник, холуем у Ногтева был, теперь ушел по разгрузке, – сначала монахи скрывали схимника, но, конечно, дознались чекисты и доложили Ногтеву. Тот спьяну обрадовался: – Вот какая петрушка! Самонастоящий святой человек у меня на острове! Поеду к нему и водки с ним выпью! Антиресно! Блоха с ним за коновода. Набрали водки, колбасы. Приехали к землянке. Ногтев вышиб ногою дверь, вваливается, размахивает бутылкой. – Святой опиум! Разговеться пора! Отменили твоего Бога! Наливает стакан и подает схимнику, а тот с колен поднялся и, ни слова не говоря, земной поклон Ногтеву... как покойнику... потом опять к аналою стал. Блоха говорил, что тут Ногтев ее лица спал, перекарежило его”. Представляешь? Говорит: “Выходит, как с марафета задуренный, в двери повернулся: Душу мою, отец, помяни”... Ну, это может быть Блоха и приврал, факт тот, что Ногтев не только оставил схимника в землянке, но на паек его зачислил и службу к нему из монахов приставил. Вот и расшифровывай его по крови, им пролитой, по хамству, по роже, по “зрелищу”... – А ты его видел? – Ногтева? Как же иначе? – Нет, какого там чорта Ногтева! Схимника этого-видел? – Раз. Случайно. Мельком. – Расскажи. – Я с Анзера, от переправы ночью пешком шел... – Чего тебя туда носило? – Тоже анекдот, – засмеялся я, – воспитателем к проституткам меня ВПЧ туда назначило. – Вот это Неверов додумался с большого ума! – захохотал Глубоковский. – Ну, и воспитал? – Воспитать не воспитал, но кое-что получилось. Тоже анекдот, Борька, и того же порядка. На Анзере тогда помещались “мамки”, родившие на Соловках. Они – в главном корпусе, а в амбаре каком-то или бывшем складе монашеском – “бляжий дух”, как прозвала шпана, – проститутки, наловленные в Москве. Хватали их на улицах и на квартирах. Позвонят ночью, вскочит девчонка с постельки, как была, накинёт только манто на рубашку, а ее тут – цоп! “Без вешшей”! Так и сюда приехали: сверху манто, а под ним ничего. Рубашки на обертку ног порвали, туфельки сносились. Обмундирование им, конечно, не дали, тогда никому не давали, ну, а на работу всё-таки попробовали гнать. Только ничего не вышло: такой содом подняли, что сам Райва сбежал. Тогда их заперли в этот барак, без выхода, на половинный паек, как и нищих – “леопардов”. Что в нем творилось – можешь себе представить! Воспитателей из чекистов назначили, но и те отказались: их такой обструкцией встречали, что сам чорт не выдержит. Вшами засыпали, дерьмом мазали... зачерпнет рукой из параша и по морде его... Бунтующие бабы – страшное дело! Да и истерички... Вот меня туда и ахнули. Даже паек “охранный” дали, с мясом. – И тебя вшами осыпали? – А мне что? Сыпняк у меня был, а от вшей всё равно не убережешься. Только не обсыпали. Я вошел в барак один, без начальства, Господи Боже Ты мой! Представляешь, Борис комбинацию из нужника, такого, как в ночной чайной, в “Калоше” – помнишь – был? Из женской бани и Дантова ада в стиле Дорэ? Добавь сюда еще поголовную истерику... Голые... страшные... холод... вонь!.. Сознаюсь – струхнул. Одна выскочила вперед и давай выплясывать. Такого похабства, поверь, я и представить себе не мог. Однако, уже оправился, взял себя в шенкеля и отпустил ей солдатскую прибаутку с тройным загибом. Потешели. Я об Москве заговорил, спросил, где жили... Знакомых общих нашли – Авдотью Семеновну хромую, что в Ермаковке марафетом торговала... Совсем ладно стало. “Ты кто – чекист?” – спрашивают. Нет, говорю, артист. Ну, тут прямо дружба началась. Я им пару армянских анекдотов в лицах представил – фурор! Потом “Страсти-мордасти” прочел –

впечатление слабое, а читаю я их хорошо, люблю эту вещь... – Магдалининскую патронессу соорил... Балда! Литературой вздумал зацепить! Тоже... нашел... – И, представь, зацепил! Только не тем концом. Я им по особому признаку подбирал. “Страсти-мордасти” – провал, а “Манон” – полный сбор с аншлагом! Да как! Ревмя ревели! Я сам обалдел от удивления. – Мелодрама! “Гастошей его звали”, помнишь в “На дне”? – Вот и опять ты через книгу в душу лезешь! А как, по-твоему, любила она, Настька, этого своего выдуманного ею Гастошу? Любила, Борис, может быть крепче Джульетты любила, только Горький не рассмотрел и тебе не показал. – И долго ты с ними валандался? – Всю осень. Месяца четыре. Прочел им “Марью Лусьеву”, “Даму с камелиями” (тоже зацепила!), “Надежду Николаевну”. Даже стенгазету выпустил – “Голос улицы”. Сами писали... стихи больше... А знаешь, кто их еще за сердце взял? Не угадаешь: “Леди Макбет Мценского уезда”. Вот! И все ей сочувствовали, ее жалели... Вот тебе и камуфлет! Я бы у них и остался. Служба хорошая. Занятия – два дня в неделю, пять дней свободен и паек. Да Борин перетянул. Прикрепил к театру с освобождением от работ. У него на “голубые” роли никого не было. Прощались – плакали. Перецеловался со всеми. – Сифилиса не получил? Твое счастье. Ну, мы о проститутках разговорились, а про схимника забыли. Как полагается. Ты о нем расскажи. – Вот, раз осенью, возвращаясь ночью, я сбился с дороги. Пру по папоротникам каким-то – ничего не видать! Вплотную на землянку наскочил и только тогда свет в оконце заметил. Маленькое оконце, в одну шибку. Заглянул – лампада! Я догадался: схимник. Смотрю в окошечко, а взойти боюсь. Не стесняюсь, не деликатничаю, а боюсь, Борис, сам не знаю чего, а боюсь. Когда присмотрелся, вижу гроб на скамье, а перед лампадой – образ. Лица не разбираю, но знаю, что Спас! Другого не может быть. Вспыхнет лампадка – блеснет, прояснится, качнет ветер – енова тьма... А у самого схимника я сперва только бороду увидел. Длинная, седая... вверх и вниз ходит... Это он кланялся. Так я к нему и не вошел, и всю ночь до утра у окошка простоял. Присмотрелся, ясно стал различать и епитрахиль с черепами и тулуп под нею. Стоял и смотрел. А он молился, поклоны клал. До утра. Вот тебе и еще анекдотик: святой соловецкий кремль грехом доверху набит. В Преображенском соборе – содом. И чей тут грех – сам Господь Бог и на Страшном Суде не разберет!.. А под боком, в земляной келье, схимник грех замаливает. Этот самый грех. Какой же иной? Может его лампадка и сюда светит? – Вот он, весь на виду, собор твой Преображенский, в содом, в свалку ныне преображенный, – махнул рукой Глубоковский в сторону кремля, над которым высилась громада собора, – весь во тьме! Гроб! – И у схимника гроб стоял... И Лазарь ожил в гробу... Был ведь Лазарь? – Может и был. Да теперь его нет. И не будет. Взяться неоткуда. И гроб запакошен. Сам видел. Чуть всё это, чуть. – Нет, смотри, – вглядываюсь я в обезглавленный купол, – в окне правой звонницы что-то мерцает... – Со двора отсвет, от фонарей. – Снова нет! Звонница – справа, к стене. Есть там кто-то. Я лазил – там пусто, лестница еле держится... Может отец Никодим забрался всюнощную с кем-нибудь отслужить? Или панихиду? А?

Глава 29.

СХИМНИК УМЕР

Спустя год, я снова временно работал на вязке плотов. Инструктором по вязке был отец Петр, соловецкий инок. Лет уже более тридцати занимался он этим делом. Руки у него были, как дубовые корневища: суковатые, корявые, перекоренные, с твердыми, как железо, ногтями, но крепости в пальцах необычайной; металлические номерные бляшки, потолще серебряного рубля, двумя пальцами в трубки скатывал, а собой был невелик и широк в плечах, человек, как человек. Раз в июле, в субботу, приходит он утром на вязку, потолковал с конвойным и к нам: – Нынче вы, братики, одни работайте... без меня. – Заболел, что ли, отец Петр? – Нет, слава Богу, носит Господь, милует... Иное у нас дело нынче – погребение. – А кто ж у вас, отец, помер? – Схимник наш, молчальник, что в затворе пребывал. Он и преставился Господу, а когда – того не знаем. Сухарики-то ему раз в неделю носили. По субботам. Нынче утречком пришли, вступили в затвор, а он, голубчик, лежит перед образом, лбом в землю уперся... Должно земной поклон клал и в тот самый раз Господь его душеньку принял. Сладостно это, утешно, и честь старцу великая, значит, венец райский заслужил... А стать тому должно еще в среду или во вторник. Сухарики-то старые непоедены и масло в лампаде всё выгорело... – Потухла лампада? – вскрикнул я невольно. – Нет, тлелась еще малым светом. Подлинно – неугасимая. В фитильке малая толика елея оставалась. – И не перетухла? – Не допустили того. Подлили из склянницы с великим бережением, она и снова засияла перед лицом Господа... – Засмердел он, молчальник, али навроче мошшей вышел? – поинтересовался один из нашей артели крестьянин-повстанец. – Нет, быдто духом не отдает... Да и откуда духу в нем взяться? Высох он, как лист, подвижник наш... По своей святой жизни. Утробу свою испостил, кости да кожа. – Такое возможно... Конечно, и от праведной жизни тоже бывает, чтобы, значит, не гнить, бывает, это верно... Хоронили в лесу, около земляной кельи, и нас никого туда не пустили, даже священников, но весть о смерти схимника взволновала многих в кремле. О ней говорили, ощупью искали в ней какого-то сокровенного смысла, тайного знамения. В этих разговорах вспомнили о другой смерти, о мученической кончине несчастного Императора. Вспомнил первым старый-престарый генерал Кострицин, с конца прошлого века уже живший на пенсии не то в Чухломе, не то в Судогде, откуда и взяли его на Соловки за неимением там иной золотопогонной контры. – И нам не мешало бы панихидку по Государе Императоре отслужить. День-то кончины – вот он, через неделку, – сказал он, думая, вероятно, и о своей близкой смерти, которая пришла к нему в этом же году. – А чем это пахнет, если узнают, представляете? – возразил кто-то. Пахло действительно скверно. Всего за месяц до этого на Соловки прибыла значительная по числу группа бывших царскосельских лицеистов. Они были сосланы на большие сроки именно за такую же панихиду по Государе, отслуженную в Петрограде. Шесть или семь инициаторов поминовения были расстреляны. Но желание помолиться о душе царственного мученика здесь, на

острове мучеников, на Голгофе распятой России, было особенно сильно. Группа офицерской молодежи, строго соблюдая тайну, принялась за подготовку. Это было нелегко. Прежде всего – найти священника. Их много, но большинство не рискнет, а за теми, кто нес свою службу Христову пламенно и страстно, за теми – слежка. Предлагали и обсуждали кандидатуры, спорили, но все согласились на “Утешительном попе” – отце Никодиме: он-то не откажется. Провести его в лес тоже легче, он ведь не в шестой роте живет, а с лесорубами. Пропуск добудем. Уговаривать отца Никодима не пришлось. От своей службы он никогда не отказывался. Но о риске его всё же предупредили. – Это всё, как Господь пошлет... Не нашего ума дело, а вы вот что, голубки, расстарайтесь мне крест да епитрахиль достать подостойнее. Моя-то сами знаете какая, для такого случая она как бы и неуважительная. Постарайтесь, сынки! Ребята вы молодые, проворные... Да и кадило не забудьте... Панихида без каждения не годится. Расстарались и достали из музея не раз испытанным способом, при помощи “короля взломщиков” Бедрута; потом тем же способом вернули всё взятое на место, в витрину. Место панихиды? Конечно, “Голгофа” – полянка за Святым озером, в лесной глуши, у каменного креста на крови. Вместо свечей мичман Г-й принес с верфи просмоленной бечевы от морского каната. В заговоре участвовало только 22 человека. Больше собрать боялись. Вышли из кремля все порознь и, сделав большие обходы, к закату собрались на “Голгофе”. * * * О ком говорят слова молитвы? Не о тех ли, кто беззвучно шепчет их? Кто стоит здесь, в лесной храмине, у каменного креста на неостывшей крови? Живущие или тени живших, ушедших в молчание, в тайну небытия? Без возврата в жизнь? ...Это стояли не люди, а их воспоминания о самих себе, память о том, что оторвано с кровью и мясом. В памяти одно – свое, отдельное, личное, особое для каждого; другое – над ним стоящее, общее для всех, неизменное, сверхличное: Россия, Русь, Великая, Могучая, Единая во множестве племен своих – ныне поверженная, кровоточащая, многострадальная. – Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих! Отец Никодим почти шепчет слова молитв, но каждое слово его звучит в ушах, в сердцах собравшихся на поминовение души Первого среди сонма страстотерпцев распятой России, мучеников сущих и грядущих принять свой венец... Отец Никодим, иерей в рубище и на одну лишь ночь вырванной из плена епитрахили, поет беззвучно святые русские песнопения, но все мы слышим разливы невидимого, неведомого хора, все мы вторим ему в своих душах. – Николая, Алексея, Александры, Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии и всех, иже с ними живот свой за Тя. Христе, положивших... – Со святыми упокой, Христе, души раб Твоих... Отец Никодим кадит к древнему каменному кресту, триста лет простоявшему на могиле мучеников за русскую древнюю веру... их имен не знает никто. – Имена же их Ты, Господи, веши!.. Ладон, дали, обступившие церковь-поляну полные тайны соловецкие ели. Они – стены храма. Горящее пламенем заката небо – его купол. Престол – могила мучеников. Стены храма раздвигаются и уходят в безбрежье. Храм – вся Русь, Святая, Неистребимая, Вечная! Здесь, на соловецкой лесной Голгофе – алтарь этого храма. – Иде же несть болезни и печали, но жизнь бесконечная! Бесконечная? Повергающая, преодолевающая и побеждающая смерть? В робко спускавшемся вечернем сумраке догорали огоньки самодельных свечей. Они гасли один за другим. На потемневшем скорбном куполе неба ласково и смиренно засветилась первая звезда, Неугасимая Лампада перед вечным престолом Творца жизни. В земляной келье призванного Богом схимника так же нежно и бледно теплился огонек его неугасимой лампы пред скорбным ликом Спаса. В его тихом сиянии сорок дней и сорок ночей, сменяясь непрерывной чередой, последние иноки умершей обители читали по старой, закапанной воском книге слова боговдохновенного поэта и царя, полные муки покаянные крики истомленного духа, ликующие напевы его веры в грядущее Преображение... Они приходили туда и позже – творить литии. Двадцать два соловецких каторжника в тот час молений о погибших были с тобою, Русь, в бесконечной жизни твоей... С тобой, Мученик-царь, принявший вины и грехи наши на душу свою! – Вечная память!

Глава 30.

ЛАМПАДА ТЕПЛИТСЯ

Спустя несколько лет по выходе из Соловецкого концлагеря, я читал историю русской литературы в советских вузах. Тот, кто представляет себе эту работу хотя бы отдаленно напоминающей, не говорю уж о Московском Императорском университете даже пресловутой эпохи министерства Кассо, но и канувших в вечность времен Магницкого, горько ошибется. Свободная человеческая мысль при Магницком была скована. И только. Но она не была подменена обязательной, преподанной лектору свыше ложью, целой системой извращений, ловких, детально-продуманных подтасовок, сложных, подчиненных единому плану построений. Самое честное, что может делать советский лектор – четко и сухо излагать допущенные цензурой факты и относящиеся к ним положения советской марксистской критики, не крича порожденного социалистической подлостью ура и не раболепствуя перед фетишами гнуснейшего из времен. О прочем – молчание. Мысль студента не только замкнута, как это пытался, но не мог сделать Магницкий, она направлена по определенному пути. Сойти с него – значит, погибнуть почти наверняка. Немногие находят в себе силы для этого подвига. * * * Однажды, когда я проходил по коридору института, меня догнал студент и молча пошел рядом, выжидая выхода из обычной во время перерыва толкучки. Так бывало часто, когда предвиделся внеочередной контроль райкома комсомола или спецотдела НКВД. В этих случаях студенты всегда старались предупредить меня брошенной на ходу фразой. Я ждал ее и теперь, но оказалось иное. – Прочтите, когда у вас будет время, – сунул он мне толстую тетрадь. Конечно, стихи. Это тоже бывало часто и являлось очень тяжелым дополнением к и без того трудной, напряженной, глубоко тягостной, полной компромиссов с совестью работе. Читать в немногие свободные часы топорно и пошло, рифмованные переложения статей “Правды” мало радости, а еще меньше ее в составлении пустых и столь же пошлых рецензий с

советом учиться у Пушкина и Маяковского... Но принять надо. Иначе – обида, возможен и донос. На этот раз дело обстояло лучше: стихи оказались довольно грамотным технически и глубоко искренним подражанием Лермонтову. Эпиграфом к ним стояла его строчка: “Я мало жил, я жил в плену”... Мятажная тоска Лермонтова, томление одиночества, порывы к неведомым далям, скорбные предчувствия, нежная грусть созерцания – всё это было воспринято, прочувствовано автором глубоко, юношески пламенно, чутко, и не его вина в том, что мощный гений ушедшего века подчинил своим формам душу подсоветского юноши. Я решил не писать пустых слов, а, выбрав подходящий момент, поговорить с юным поэтом. Он был хорошим студентом, явно стремился не к получению диплома, а к знаниям, прочитывал не только требуемое программой, но старался, поскольку это было возможно, взять шире, глубже, даже прорваться в запретное. Удобный момент подвернулся довольно скоро. Мы случайно встретились в библиотеке и остались одни в ее задней комнате. Заговорили о Лермонтове и вдруг... – Поймите меня, Борис Николаевич, не советский я человек, не советский, – схватил меня за руку студент, – тяжело мне, ненавижу я всё, дышать нечем и... сам не знаю... чего хочу. Жить хочу! Что мог я тогда ответить крику, воплю этой души, равшейся из плена? Что мог я предложить ей? Фиговый листок компромисса? Юность не приняла бы его. Мудрость углубления в себя, отрешения от окружающей гнуси? Восемнадцатилетнему, по праву своих сил рвущемуся в жизнь? Да и мог ли я говорить прямо, откровенно, без страха за себя и за него? Самым честным было сказать: – Никогда и никому не говорите того, что сказали сейчас. – Да ведь я вам только... – И мне тоже. Студент поднял на меня свои лучистые, голубые, как васильки, широко открытые глаза, потом опустил их на тетрадь. – Ну, а если в редакцию снести... как думаете, напечатают что-нибудь? Я покачал головой. – Не стоит. Только лишний раз тяжело вам станет. – Почему? Напечатали же Никонова? Разве мои стихи много хуже? – Не хуже, а много лучше. Но, вспомните, что писал Никонов? – Да, конечно. Он колхоз восхвалял, а я так не могу. Вот, зарежьте меня на этом месте, всё равно не выйдет. – И не надо, чтобы выходило. Никонов мне тоже свои стихи давал, целых три тетради. Все они одного вашего стихотворения не стоят. Но... берегите вашу ценность в себе, она вам пригодится... в этом поверьте мне! Голубые лучистые глаза снова поднялись на меня. – Когда? – Не знаю. Думаю, что всегда. Всю жизнь, Сегодня, завтра, послезавтра... – Эх, не того мне хочется, не того... Не себе, а людям! Понимаете? Не в себя, а наружу! Больше мы не разговаривали с ним наедине, но на лекциях я всегда видел эти большие, ясные, как лесные озера, устремленные на меня глаза. – Когда же ты скажешь нам правду? – спрашивали они. – Вот это, самое главное, то, для чего нужно жить, стоит жить... хочется жить... Когда? Встречая их лучи, мне становилось стыдно. И за себя и за... Россию. В первые дни войны его, как и большую часть студентов старших курсов, призвали. Мы прощались, говорили пошлые, вязнувшие на зубах, мертвые, пустые, ненужные слова. Потом я узнал, что он был убит в первых же боях. Избранный им эпиграф “я мало жил, я жил в плену” оказался пророческим. *** Так близко, как с этим студентом, за всё время моей педагогической и редакционной работы в Советском Союзе мне приходилось соприкасаться редко. Но попытки к такому сближению, стремление взять от моего опыта прожитой жизни то, что было скрыто от них, замкнуто, запретно, то, чего жадно требовали юные души – было много, чаще всего они шли по руслу поэзии. Иногда она была лишь наивной маскировкой вопросов, давивших изнутри молодежь. – Вот, у меня тут трех строчек не хватает, – протягивает мне вырванный из тетради листок студент. – Вы, наверно, помните. Память у вас замечательная... скажите, я запишу. На листке Гумилев, Есенин (чаще всего появившийся лишь раз в печати и исчезнувший “Черный человек”), Ахматова... Реже М. Волошин. Эти листки бродили по рукам, переписывались друг у друга. Я видел целые тетради таких не запрещенных официально, но изъятых из обращения стихов. Попадались и ненапечатанные стихи, запрещенные, “Ответ Демьяну” и непристойные, колкие эпиграммы Есенина, рожденная еще в 1917 г. “Молитва офицера” и другие неизвестных мне авторов. Такие же тетради в руках советской вузовской молодежи видели и многие мои коллеги, причем все мы сходились, отмечая одну характерную подробность: в конце 20-х и начале 30-х годов подобных тетрадей и листов не было совсем. Во второй половине 30-х годов их число стало быстро возрастать. Собиратели стихов принадлежали обычно к поколениям, рожденным после 1917 г. или немного раньше его. Старшие – в советские вузы принимают до 40 лет – как правило, таких стихов не собирали, за исключением редких единиц из семей старой интеллигенции. Тетради попадались даже и в старших классах средней школы, чаще у мальчиков, чем у девочек. Будучи уже в эмиграции, мы услышали еще об одном ярком и парадоксальном факте того же порядка: единственный сборник стихов А. Ахматовой, вышедших при Советах, был выпущен по приказу Сталина, вызванному просьбой его дочери Светланы. В литературных кругах Москвы он и ходил под кличкой “подарок Светлане”. Светлана Джугашвили принадлежит к тому же поколению... Она тоже была советской студенткой, хотя и особо привилегированной академии. Но из той же академии вышел Климов [15]. За год до войны в программу выпускного класса десятилетки и педагогического училища включили “Войну и мир”. Не подлежавшая оглашению инструкция требовала “заострить внимание учащихся на проявлениях героизма и патриотизма офицеров и солдат”. Образ русского офицера впервые в советской школе получил право на положительную оценку. До того замалчивался даже подвиг Миронова, умело заслоненный великодушием Пугачева. У профессоров и преподавателей развязались руки и языки. И не только у них, но и студенты заговорили своими, а не казенно-рецептурными словами. В педагогическом институте, где я преподавал тогда, я затратил на “Войну и мир” два месяца, в педагогическом училище два с половиной. В общей библиотеке этих учебных заведений был только один комплект этого произведения Л. Толстого, не запрещенного до тех пор, но... ограниченного для обращения. Я забрал все четыре тома себе и выдавал их после лекции строго в очередь на очень короткие сроки. Лучшие места мы читали в классе по моему личному экземпляру. “Война и мир” открыла советскому студенчеству новый мир. До того это исключительное произведение Толстого читали немногие, и вряд ли сам Лев Николаевич мог предположить, что его эпопея-хроника станет в грядущих годах подлинной бомбой революции воспрянувшего Духа

в умах и сердцах русской молодежи. Читали ночами, собираясь в кружки. Рвали книгу друг у друга на час, на полчаса. Синее, беспредельное небо над Аустерлицким полем открылось тем, кто видел в нем до того лишь советскую муть и копоть пятилеток. Нежным цветением отнятой у весны черемухи дохнул первый поцелуй Наташи... Непонятное, еще не осознанное, но влекущее, торжественное таинство духовного преображения призывало к себе со смертного одра князя Андрея... – В начале всего – Слово, и в Слове – Бог! Окончив чтение и разбор “Войны и мира”, я задал контрольную тему: юношам “Формы героизма по “Война и мир”; девушкам – “Формы любви по “Война и мир”. Сначала студенты были озадачены, даже ошеломлены такой необычной для советской школы, еще недавно немыслимой “постановкой вопроса”. Потом... потом, проверяя тетради, я впервые за всё подсоветское время услышал подлинные, звонкие, смелые и радостные голоса юности, прочел слова, найденные в сердцах, а не в передовицах “Комсомольской правды”. * * * Вскоре я услышал их снова. Началась война, пришли немцы. Институт был закрыт. Я выпускал и редактировал первую и самую крупную из выходявших на Северном Кавказе свободных русских газет (цензура немцев касалась лишь военного материала). Бывшие студенты скоро нашли дорогу в редакцию. Статей приносили мало, но много писем, вопросов, требований... и, конечно, стихов! Маски спали. Чары оборотня на короткий, только пятимесячный срок потеряли силу для нашего города. В наскоро оборудованных церквях говели, каялись, исповедывались и причащались. В редакцию несли письма. В большинстве спрашивали, в некоторых тоже исповедывались. Иногда не желали показывать свои лица, приносили, оставляли у входа и скрывались. Требовали ответов на самые разнообразные вопросы, начиная от бытия Божьего и кончая правилами хорошего тона (“стыдно ведь перед немцами, а мы не знаем”...) Во многом и каялись. Чаще всего в грехе вынужденной лжи и другим и себе самому. И во всех этих письмах, вопросах, исповедях светилось вновь вспыхнувшее бледное пламя лампы последнего соловецкого схимника, пробудившейся и оживающей совести – неугасимой лампы Духа. * * * В областном южном городе, где я жил, ко времени прихода немцев осталась только одна церковь, кладбищенская, за полотном железной дороги. В нее приходили лишь те, кому или нечего уже было терять или по возрасту ничего не угрожало. В течение первых двух недель по приходе немцев в городе открылось четыре церкви. К концу месяца во вновь образованной епархии было уже 16 церковных общин. Образовывались и еще, но не хватало священников. Резерв их, таившийся за бухгалтерскими конторками, у прилавков хлебных ларьков и даже в ассенизационном обозе, был исчерпан. Все эти приходы возникали “снизу”: собиралась группа верующих, искали и находили священника, очищали обращенный в склад или клуб храм, украшали его сохраненными на чердаках и в подвалах иконами, освящали, подбирали хор... Прежних полуразрушенных церквей тоже не хватало. Приспосабливали под храмы опустевшие клубы и залы учреждений. Репортеры нашей молодой газеты бывали на службах и давали о них заметки и очерки. В них единогласно отмечался наплыв молодежи. В общинах накапливались полярности – старость и юность, средний возраст составлял меньшинство. Что влекло молодежь в церковь, установить более чем трудно. Это был сложный комплекс чувств, в котором было и стремление к запретному прежде, было неизжитое национально-религиозное глубинное чувство, была и жажда подняться над уровнем повседневности – устремление духа ввысь, но было и простое любопытство, была и потребность в необходимых человеку зрелищности и музыке. Молодежь охотно шла в хоры и прилежно училась церковным напевам и их словам. Ушедшие из жизни поэты-псалмопевцы, творцы проникновенных молитв и выпренных акафистов пробуждались и выходили из могил. Души боговдохновенных слов оживали. Скоро в новых общинах начались крещения взрослых. Сначала крестились одиночки, потом группами. В большинстве это были девушки. Среди них нередко бывшие комсомолки. Некоторых я знал поверхностно по институту, одну из них ближе. Ее звали Таней К. Семья Тани не была религиозной, и она, родившаяся в годы НЭП-а, никогда за всю свою двадцатилетнюю жизнь не была в церкви. О Боге дома не говорили ни за, ни против. Он был просто сам собой, без борений и надрывов вычеркнут из обихода мысли и чувства. В школе, в пионеротряде и позже на собраниях комсомола религию трактовали так, как указано в “учебнике” Ярославского, но говорили о ней только по обязанности, без положительного или отрицательного стимула в самих себе. Представление о Творце мира и человека, вернее лишь мысль о Нем, пришли к Тани из прочитанных ею книг, наиболее ярко со страниц Тургенева. Почему Лиза Калитина в монастырь пошла? – остановила она меня, догнав в коридоре после лекции. – Именно в монастырь, а не за границу куда-нибудь уехала или в Москву? – По понятиям того времени, она совершила грех и пошла его искупать, – ответил я трафаретной фразой. – Какой же грех? В чем он? И как искупать? Зачем? Что такое – искупать? – посыпались на меня ее страстные вопросы. Она говорила быстро и жадно, именно жадно хотела ответов. – Почему вы ничего не сказали об этом на лекции? – Богословие не входит ни в нашу учебную систему, ни в мою компетенцию, – плоско отшутился я, чувствуя, что этой шуткой я бью по какой-то живой ране, но это был всё же самый мягкий и безболезненный из всех возможных ответов. – И о “Живых мощах” ни слова нам не сказали! Даже не упомянули. Почему? – повторила она настойчиво, почти злобно. – В программе их нет, а для работы вне программы нет времени у меня, – ответил я тоже почти со злобой. – Думаешь, не сказал бы иным студентам..., а не вам, диаматовым комсомольцам! – добавил я мысленно. Второй раз я говорил с нею в местном театре на представлении “Гамлета”. Спектакль был средне-провинциальный, сам Гамлет – очень плох, а Офелию играла молодая свежая артистка. Играла трепетно и скромно; Офелия жила. В одном из последних антрактов Таня подошла ко мне и снова посыпались ее требовательные, упорные “почему”. Ее что-то жгло внутри, что-то толкало. Куда? Этого она не знала сама. – Почему она сошла с ума? Почему потонула? Почему Гамлет не поднял дворцовую революцию? Это было бы легко сделать. – Ну, уж с этими вопросами вы лучше к Семену Степановичу обращайтесь, – отмахнулся я, назвав имя коллеги, читавшего европейскую литературу. – Он на Шекспире специализировался. – Обращалась, – ответила Таня уныло, – он нам даже внекурсовой доклад сделал о Гамлете... Только опять ничего

нужного не сказал. Эпоха и среда... отмирающий феодализм и наступление торгового капитала... Это мы и без него знали. Но что ж? Ведь не из-за торгового же капитала Офелия в реку бросилась? – добавила она с горькой усмешкой. В комсомоле Таню считали стойкой в отношении комсомольского жупела – “бытового разложения”, но склонной к “уклонизму” и даже к “бузе”. Поступавшие сверху директивы она встречала или с подлинным энтузиазмом или с протестом, порою даже нескрываемым. Тогда ее приходилось “уламывать”, “дорабатывать” и даже “призывать к порядку” – тяжкий грех для правоверной комсомолки. Репортер, дававший очерк о крещении Тани, с ней самой не говорил, а обратил главное внимание на церемонию и присутствовавших на ней. О Тане он сказал лишь, что в момент крещения “глаза ее светились, и по лицу текли слезы”... Эти слова вряд ли были только риторическим украшением заметки. Я помню синие звезды вопрошающих глаз, устремленные на меня в коридоре института. Да, они могли светиться отблесками Неугасимой Лампады. Тень членского билета ВЛКСМ была не в силах закрыть от Тани ее лучистого сияния.

Глава 31.

ПАВШИЙ НА КЕРЖЕНЦЕ

Поручика Давиденко я встретил впервые в мае 1943 г. в Дабендорфе, близ Берлина, в только что организованном центральном лагере Русской Освободительной Армии. Он сидел в кружке офицеров и с неподражаемым комизмом рассказывал, вернее, импровизировал анекдотический рассказ о допросе армянина его бывшим приятелем – следователем НКВД. В самой теме – часто применявшейся к мужчинам примитивной, но очень мучительной пытке – вряд ли содержалась хоть капля, юмора, но форма, в которую был облечен рассказ, обороты речи, психологические штрихи были насыщены таким искристым неподдельным комизмом, что слушатели хохотали до слез. В авторе-рассказчике ясно чувствовался большой талант, вернее, два: писателя и актера. Как когда-то у Горбунова. Таков был внешний, показной фасад незаурядной натуры поручика Николая Сергеевича Давиденко. Действенный до предела, никогда не пребывавший в состоянии покоя, подвижной, неистощимо игривый, претворявший в пенное вино всё попадавшее в круг его зрения, порою шальной, неуравновешенный, порывистый и разносторонне талантливый. В непрерывном движении пребывало не только его тело, но и его мысль, его душа. Каждое явление окружавшей его жизни немедленно находило в нем отклик. Он не мог оставаться пассивным. Вероятно, этим были обусловлены и разнообразные проявления его одаренной натуры. Углубленная научная работа в области физиологии сочеталась в нем с яркими проявлениями сценического таланта; вступив в журналистику, он проявил себя красочными реалистическими рассказами из военного быта и насыщенными подлинным темпераментом литературно-критическими статьями. Языками он овладевал шутя: немецкий он знал до прибытия в Германию, но незнакомому ему французскому научился за три месяца жизни в Париже, позже итальянский потребовал еще меньше времени, причем учился он им без книг, по слуху... За несколько лет до войны он окончил Ленинградский университет, и его блестящая дипломная работа открыла ему двери в институт академика Павлова. Гениальный старик, зорко присматривавшийся к своим молодым сотрудникам, заметно выделял его. Он уловил кипучий ритм творческих устремлений, хлопотавших в его самом младшем по возрасту ассистенте. Это кипение было созвучно душе старика, оставшейся юной в творчестве до последних дней жизни. Уходивший в могилу ученый приласкал вступающего в науку неопита. Тот отплатил ему любовью, в которой сыновнее чувство тесно сплеталось с преклонением влюбленного. Эту любовь Давиденко пронес сквозь горнило каторги и войны. Об академике Павлове поручик Давиденко не мог говорить так, как о других людях, кроме еще одного старика, позже вступившего в его жизнь. Старый мыслитель был для его ученика не только гениальным физиологом, он осуществлял в себе то, что тогда еще подсознательно, но властно и неудержимо влекло к себе эту пламенную натуру. Павлов был для Давиденко частью той России, которой он не видел своими физическими глазами, но воспринял, ощутил духовным зрением, подсознанием. – В Павлове сочетались все элементы русской научной мысли, – говорил он позже, – дерзостные титанические устремления Ломоносова, пророческое предвидение Менделеева, высокий гуманизм Пирогова... Мозг и сердце пульсировали в нем, сливаясь в единой дивной гармонии. Эта неразрывность и есть основная черта русской, только русской научной мысли. Павлов давал Давиденко самостоятельные темы. Зависть толкнула кого-то из товарищей на донос. В результате тюрьма и Соловки в тот период, когда они уже стали маленькой частью огромной системы социалистического советского рабовладения, утратив свой первоначальный характер свалки недобитых врагов революции. Попав на каторгу, Давиденко воспринял ее, как продолжение своей работы в институте академика И. П. Павлова. Он не мог и не хотел перестроить свой духовный уклад в соответствии с изменением окружающего. – Каторга была для меня гигантской лабораторией, в которой, вместо собак и мышей, под моим наблюдением были живые, подлинные люди. Их рефлексы были обнажены, вскрыты до предела, до полной ясности. Подопытный материал давил меня своим обилием. Я не успевал анализировать и фиксировать его в моем сознании. Мне удалось ясно увидеть, понять лишь два основных рефлекса, вернее, комплекса рефлексов, владевших действиями этой массы. Первый, условный, выработанный рядом наслоений последовательных влияний, это – революция, советчина. Второй, глубинный, заложенный в генах, не подчиненный воздействиям извне – Россия, русскость. Эти комплексы были двумя полярностями, пребывавшими в непрерывной борьбе. Первый давил извне, второй изнутри. Ареной этой борьбы была личность. В духовный строй самого Давиденко каторга внесла прояснение. Подсознательное влечение к России перешло в сознание и оформило в нем путь поиска ее, по которому он пошел, руководствуясь компасом методов, указанных ему Павловым. Вспыхнувшая война его освободила. Каторжным лейтенантам резерва предложили “заслужить, прощение народа”. Воевал Давиденко,

очевидно, на совесть: в плен был взят раненым в большом окружении под Минском. В РОА он вступил одним из первых и скоро был зачислен в отдел пропаганды и в состав редакции газеты “Доброволец”, которым руководил тогда неразгаданный до сих пор капитан Зыков [16], бывший крупный сотрудник “Известий”, зять старого большевика, уничтоженного Сталиным – Бубнова, несомненно, очень талантливый, разносторонний, широко эрудированный журналист, стоявший в резкой оппозиции к Сталину, но не изживший в себе “родимых пятен” марксизма. Чуткий Давиденко разом уловил эту двойственность, скорее почувствовал ее, чем осознал, потому что всей силой одаренной натуры любил и искал подлинную, не фальсифицированную, свободную от чар Оборотня Русь. Смолчать или пойти на компромисс он не мог. Между ним и Зыковым возник конфликт, в который потом был вовлечен сам генерал Власов. Поручик Давиденко к этому времени имел уже некоторую известность, совершив вместе с профессором Гротовым агитационное турне по Франции и Бельгии, где его выступления перед старой русской эмиграцией имели успех. Генерал Власов с этим считался и пытался примирить противников, но не смог угасить разгоревшиеся страсти. Дело кончилось тем, что молодой поручик поспорил с главнокомандующим на его квартире в Далеме и порвал с РОА. С РОА, но не с Россией. К ней, только к ней безраздельно и бесповоротно стремился тридцатилетний ассистент акад. И. П. Павлова, соловецкий каторжник, лейтенант РККА и поручик РОА Давиденко, к ее идейной сущности, к ее основам. К ее нетленному сердцу искал он пути. В этих поисках он добился командировки в Париж и там смог встретиться с некоторыми лицами из ведущего слоя эмиграции двадцатых годов. Он вернулся в Берлин усталый, похудевший, неудовлетворенный. – Ничего! Пусто! Одни утратили ощущение России и построили себе взамен ее эфемерную иллюзию, далекую от реального бытия. Другие пытаются подойти к ней через условное принятие советизма, третьи неопределенно идут к тому, от чего мы уходили, не понимая нас, не анализируя, скользя по поверхности. Ближе всех к ней, быть может, Бердяев. Но у него всё от ума – книжное, отвлеченное... А сердца-то, сердца-то нет... Не бьется оно, не слышно его. * * * Но сердце билось. Это слабое, едва уловимое биение его Давиденко услышал в далеком от России враждебном ей Берлине, на Викториаштрассе 12, в редакции журнала “На казачьем посту”. Там он встретился с тихим, сосредоточенно углубленным в себя, бедно одетым человеком. Этот человек был писателем и солдатом. Солдатом, рыцарем и менестрелем, отдавшим служению идее всю жизнь. В литературе его знали под именем Е. Тарусский. В послужном списке он значился Рышковым. В выкристаллизовавшемся тогда в Берлине небольшом кружке “искателей России” он носил кличку “Рыцарь бедный” и был достоин этого высокого имени. Вслед за этим первым сближением последовало второе, более глубокое, давшее роковой финальный аккорд патетической сонаты короткой жизни искателя России поручика Николая Давиденко. Второй старик, второй осколок разбитой в ее историческом бытии, но нерушимой в идейной сущности России встал на пути Давиденко. Его имя – генерал Петр Николаевич Краснов. Сближение с ним почти точно повторило взаимоотношения академика Павлова с его ассистентом. Та же закатная ласка умудренного долгой жизнью ушедшего из нее старика, та же пылкая влюбленность вступающего в жизнь борца за Россию. Давиденко обобщал, почти сливая воедино, этих двух, так мало схожих по внешним признакам людей. Он чувствовал их внутреннее сходство, неуловимое для менее чутких, чем он сам. В откровенных беседах поручик Давиденко говорил: – Оба они насыщены каждый своей внутренней целостной гармонией. Их чувства и их мысли неразрывны с действиями каждого из них, а эти действия никогда и ни в чем не противоречат их духовной настроенности. Полная гармония и в ней зенит их красоты. Понять до конца И. П. Павлова может только тот, кто отдаст себя до конца во власть мысли, а понять также Краснова способен лишь возведший свое чувство, свой комплекс эмоций на ступень высочайшей напряженности. Какая красочная жизнь прожита этим маленьким, прихрамывающим стариком! Честь, доблесть, подвиг, жертвенность для него не отвлеченные понятия, а действия, поведение, фиксация идеи в факте. Его любовь к России? Ведь она вся излита им в действие. Это не отвлеченный, сухой, книжный и бездушный патриотизм, не пропись, но активное, материальное проявление религиозного восприятия идеи, того, чего не посмел коснуться даже сам Павлов, сказавши об этом в лицо большевику Бухарину. Какая гармония мысли, чувства и действия! Я говорю о его жизни, а не о литературной работе. Литература была для него лишь дополнением, одним из фрагментов... Вот в этой-то одновременно внутренней и внешней гармоничности каждого из них в отдельности и кроется сходство их бесконечно далеких друг другу натур. Они оба части одного и того же, а это целое – Россия в ее идее и бытии. Но они только две ее части. Это далеко еще не всё. Должны быть и иные, столь же гармоничные и активные. Где они? Каковы они? Выражают ли они теперь себя творчески или пребывают в состоянии анабиоза? Или погибли, удушены? Вместе с ген. Красновым, в качестве его ближайшего адъютанта, даже чего-то вроде приемного сына, поручик Давиденко прибыл в Северную Италию. Здесь, весной 1945 г., в предгорьях Фриулийских Альп прозвучали последние аккорды недопетой им песни. Она оборвалась в Лиенце 1-го июня 1945 г., одновременно с биением другого созвучного ей сердца, сердца “Рыцаря бедного” – Евгения Тарусского. “Полный чистой любовью, верный сладостной мечте” уронил тот свой щит с начертанным на нем именем его Дамы – России и молчаливо ушел из жизни: повесился на поясном ремне, выданный англичанами сталинским палачам. Немногим позже ушел из нее расстрелянный ими Давиденко, оставив в залог грядущему горячо любимую красавицу-жену и первенца под ее сердцем... Но эти последние два месяца жизни, проведенные им в “Казачьем стане”, в Северной Италии, были не горением, а взрывом творческой силы Давиденко. Его деятельность развертывалась главным образом в плоскости идейного оформления недолгого по времени, но богатого событиями казачьего движения 1942-45 гг. Вопреки попыткам немцев оторвать казаков от России, он стремился влить их поток в общерусское русло, как одну из главных, наиболее чистых струй. Защищая русскую идею от атак со стороны прогитлеровских самостийников, он был принужден не менее энергично бороться и на другом фланге против псевдонациональных, но маскированных под национализм вылазок неосоветистов. Они

нередко появлялись в Толмечцо и пытались там взорвать традиционную казачью организацию сокращенным повторением пресловутого “приказа № 1”. Против них он вел свои последние бои и одерживал свои последние победы в конце апреля 1945 г. Стержнем его работы в эти последние месяцы жизни было создание курсов пропагандистов, куда он вовлек лучшие слои интеллигенции в кадры лекторов и лучшую молодежь в число слушателей. Ученик академика И. П. Павлова, биолог и физиолог Н. С. Давиденко при помощи первых вкладывал в сознание вторых гены единого исторического и органического бытия России в ее прошлом, настоящем и грядущем. Яркие и пламенные были его статьи в местной газете. Он уехал на север вместе с ген. Красновым. С ним же он был в Лиенце. С ним совершил и последний путь до Москвы. Отягощенная жизненным опытом старость и пламенная, порывистая юность вместе взойшли на Голгофу, под общим крестом подвига жертвенности и любви к родине. * * * Этот путь поручик Давиденко и писатель Тарусский видели и знали прежде, чем вступили на него. Знали и не сделали ни единой попытки от него уклониться. Они прошли по нему с полной ясностью неизбежного конца во имя идеи, которой служили, единой любви и единой ненависти. За несколько дней до крушения итальянского фронта Германии мы – Давиденко, Тарусский и я – лежали на горном уступе под ярким весенним солнцем... Кругом нежно зеленели горы. Подснежники и фиалки пробивались сквозь пелену палой прошлогодней хвои. Жизнь природы вступала в свои державные права. Каждый из нас думал о своем личном близком конце и вместе с тем не верил в неизбежность этого конца. Не мог поверить. Но для того, чтобы говорить именно о нем, мы и зашли в эту горную глушь. – Власовцы оперируют иллюзией «третьей силы», – быстро и страстно, как всегда, говорил Давиденко, – нелепость, граничащая с провокацией. Вернее, то и другое вместе. Новая фаза просоветизма. Полторы дивизии РОА, без базы, без снабжения – “третья сила”, могущая заинтересовать оценщиков торговли пушечным мясом. Дичь! Нелепость! – Значит, конец? – тихо, зная ответ, спросил Тарусский. – Нет еще. По крайней мере для нас, казаков. Есть единственный шанс заинтересовать генерала Александера собою, казаками, пользуясь его личной дружбой с Красновым... Заинтересовать использованием казаков в качестве дешевых колониальных войск... Единственный... – И столь же шаткий, – глухо отозвался Тарусский, – проще и честнее сказать, конец. Петля захлестнута. Это всё... Да и пора... устал я... впереди пусто. – Проклятая! – хлопнул по лиловому цветку цикламена Давиденко. – Кого вы, Николай Сергеевич? Пчелу? Что она вам сделала? – Ненавижу их!.. Вы не биолог и не знаете жизненного процесса пчел, этого страшного предупреждения, данного природой человеку. Предостережения, которого, он не понял. Я расскажу вам вкратце. Обыкновенная пчела – это робот, искусственно созданный их безликим коллективом. Она кастрирована и ограничена в развитии еще будучи личинкой, заложенной в уменьшенную ячейку, на недостаточный корм. “Каждого гения мы задушим в младенчестве”... Шигалевщина в творческом процессе природы. Их “царица” – не вожак, не сильнейший и прекраснейший, как у волков или оленей. Нет, это тот же робот, но лишь приспособленный к продолжению рода. Она любит лишь раз в жизни и потом рождает сотни тысяч, непрерывно, не зная материнства, не заботясь о своих детях. Родильная машина – и только! Семьи нет. Мужчины истребляются по миновании в них надобности. Сокращение лишних ртов. Режим экономии! Пчелы никогда не спят. Вся их жизнь – сплошной непрерывный трудовой процесс. Но их труд чужд творческому устремлению. Они производят лишь стандарты. Не смешивайте их с муравьями. Каждый муравей обладает инициативой. Нет двух одинаковых муравейников, но все соты во всем мире строятся в одной форме, в одних размерах ячеек. Каждый улей – прототип Соловков, прообраз всей прекраснейшей страны советов, всего грядущего коммунистического царства. Их труд направлен лишь на потребу желудка. Даже гнезд для себя, жилищ они строить уже не способны... Святой труд, чорт бы его побрал! Пчела – благодатный символ! Подмена! Дьявольский обман! Свят только творческий труд, ведущий к наджелудочным целям. Библия бесконечно мудра: “в поте лица ешь свой хлеб”... Труд во имя желудка – проклятие! Труд прекрасен не сам по себе, но тем именем, ради которого он совершается. Соловецкие иноки трудились во имя Божие, ради высшей из доступных человеку идей. Они совершали подвиг. Ставшие на их место принудилорцы этой идеи не имели, и труд для них превратился в проклятие, жизнь – в смерть. До концлагеря я не понимал этого. Осмыслил только там, где ужасающая ясность прогрессивно-нормированного рациона была в глаза. Понял и возненавидел. – Ненависть не побеждает, – тихо отозвался Тарусский. – Ненависть и любовь – две стороны одной и той же медали. Они неразрывны. Меж ними нет границы. Всмотритесь в живое: волк, олень, кабан – все наиболее яркие, прекраснейшие виды прежде чем достигнуть победы в любви, ненавидят соперников, борются на смерть, выковывая, воспитывая, создавая себя в кровавых боях. Этот закон простирается и на человека. Через ненависть – к любви! Другого пути нет. Иначе даже не стадо, а вот этот гнусный, позорный коллектив роботов, рой пчел в природе, коммунизм – в человеческом обществе, всесоюзный концлагерь, всемирные Соловки! – Мы боролись, и мы повержены... конец! – Нет, не конец еще! Мы повержены потому, что мы мало любили и недостаточно ненавидели! Надо любить... ..как араб в пустыне, что к воде припадает и пьет, а не рыцарем на картине, что звезды считает и ждет. Так же жадно надо и ненавидеть, а ваша любовь, “Рыцарь бедный”, розовенькая, жиденькая, подсахаренная, вертеровская... грош ей цена! Нет, как Отелло любить надо, с кинжалом, с веревкой в руке, с густой темной кровью в жилах... И густеет уже, темнеет уже эта кровавая любовь, вскипает, настаивается на ненависти... – Где? – Там! – указал Давиденко рукою в сторону, противоположную заходящему солнцу. – На всероссийской Соловецкой каторге... Только там! Оттуда – сквозь ненависть – к любви!

Глава 32.

ЗВОН КИТЕЖА

От Соловков “до Венеции-града... верст” было высечено юношей-царем на истертом, исколотом вьюжными нордостоами каменном столбе... Он мечтал тогда о Венеции, о теплой голубизне южного моря, но до него не добрался. Ему – не пришлось. Я смотрел на столб, читал надпись и не мечтал тогда о Венеции, о солнечном юге, не смел, не мог мечтать... и добрался. Мне – пришлось. Белое море – Неаполитанский залив. Остров Соловки – остров Капри. Сумрачная, строгая скорбь соловецких елей – пышное ликование цветущих олеандров. Призрачные завесы радужного сполоха – жгучая радость палящего солнца Салерно, совсем близкого здесь к напоенной его вином стране. Таков путь человека по земле; начертанный ему в Книге за семью печатями. С него не сойти. Он – жизнь. * *

* Пагани – лучший из всех итальянских лагерей ИРО. Недавно еще, в последние годы войны, здесь был лазарет для американских солдат. Аллеи олеандров, густая роща апельсинов, мандаринов, фигов и в ней – ряды белых коттеджей. Пасха в этом, третьем послевоенном году припала как раз в дни самого сильного цветения. Вся роща белая. Густой дурман торжествующей весны врывается в окна, в открытые двери тихой маленькой часовни, сливается там с запахом ладана и свечей, горящих у Плащаницы... Я сижу на ступеньках церковки. Домой нельзя – жена выгнала: у нее предпасхальная уборка нашего картонного закутка, паравана, поломойка и всё такое прочее... Пальцы у меня красные, желтые, зеленые; это мы с сыном яйца красили... Русь – в роще маслин, фигов и лавров. С собой ее сюда принесли. В крови. В сердце. Уже совсем темно. Кущи деревьев сливаются в сплошную завесу, на которой призрачно белеют пятна неразличимых в сумраке цветов. Эта завеса – кайма пышной мантии синего неба, блистающей переливами звездных алмазов. Быть может, так же светились белым пламенем такие же южные пахучие цветы в ту ночь во тьме Гефсиманского сада? Быть может, их запах так же сливался с ароматом мирры и ладана, доносившимся из гробовой пещеры Иосифа Аримафейского? Рядом со мною на ступеньки садится человек. Я не вижу его лица в темноте, не узнаю его даже при свете зажженной им спички. – Не признаете? – Сознаюсь – нет. Слабая у меня память на лица. В лагерях встречались? – В лагерях... в этих, итальянских. И в других тоже... – снова бледный огонек спички у самого лица. На нем, на простом, обыкновенном, какие каждый день видишь – улыбка. – Опять не признали? – Нет... извините. – Оно и понятно. Это я сам как-то не додумался. Я-то на вас не один раз смотрел, а вы на меня, пожалуй, ни разу... Вы ведь в театре играли “там”. Много разных профессий было у меня в ломаной, ухабистой советской жизни, и сцена не раз выручала. – Где “там”? – Что же, опять не догадываетесь? Да на Соловках на тех же. Я и в одной партии с вами тогда прибыл, а выехал оттуда пораньше. Вы еще оставались. В ИРО-вских лагерях, да и в самой стране советов трудно встретить русского человека, не побывавшего в концлагере или тюрьме, но еще труднее встретить там, а здесь и подавно, своего “годка-первопризывника”... Мало таких осталось. – Так вы еще Ногтева помните? – невольно оживляюсь я. – А как же. И его, и Эйхманса, и Баринова, и Райву, что за бабниками гонялся. Всех. Тех лет не забудешь. Рассказывать о них не люблю, а вот с вами поговорить есть охота. Вспомнить совместное. Это дело другое. – Вы где же работали там? – Сначала в лесу, конечно, а потом в мехмастерской по специальности. Metallist я, слесарь из Луганска. С Ворошиловым на одном заводе служил, с ним же и на фронт пошел. В Первой Конной я был всю войну. Буденный мне самолично орден нацеплял. – И на Соловки угораздили с орденом? – От вас даже слышать смешно. Мало ли с орденами там было? Не таких, как я, а повыше малость. – Верно, что так. Но на что же вас зацепили? – Это рассказ долгий. Но коли время имеете, расскажу. – До заутрени буду здесь сидеть. Часа два, а то и больше. – Ну, и я тоже. Расскажу. Извольте. Мой сосед извлек из кармана горсть окурков, вытряс из них табак, свернул флотскую. Помолчал, как полагается. – Слесарь я. Metallist. На заводе в Луганске с 13 лет работал. А в революцию мне как раз девятнадцатый пошел... Однако, сам я казачьих кровей... – Как же вы из казаков в рабочее, пролетарское звание переключились? Такие переходы очень редки. – Могу рассказать вам это дело. Случай мой действительно редкий в казачестве. Так это было. Когда еще первая революция пошла в 1905 году, батьку моего на усмирение мобилизовали, хотя он уже действительную отслужил и во второй очереди состоял. Попал он в Харьков и там охрану какого-то банка нес. Наскочили на тот банк грабители, аккуратно когда батька на посту стоял, ну и бомбой его разорвало... а нас у матери пятеро, я старшеньким был. Забрала она нас всех и к станичному атаману пошла – насчет вспомоществования просить. Я это, как сейчас помню. Ревет мать ревмя, а атаман ей разъясняет: “Не выть ты должна, а гордиться. Муж твой на своем казачьем посту жизни решил, честь и славу казачью соблюдая. Насчет же вспомоществования – положение общее. Что полагается, получишь. Особого же по своему многосемейному положению не жди. Такого закона нет. Однако, я тебе присоветую в тот банк, где он голову сложил, казну его охраняя, написать. Должны помочь по человечеству. Денег у них невпроворот. Писарь тебе напишет”. Конечно, написали. На другой месяц вызывают опять мать к атаману, и я с ней побежал. Доходим до писаря. Самого-то атамана не было. Вынимает писарь из ящика десять рублей и подает матери. – Вот, – говорит, – тебе банк прислал на твою вдовью справу. Десять рублей!.. Может обувку какую ребятишкам укупишь... Вот она, жизни казачьей цена! Так нас, значит, господа банкиры определяют... Запало мне тогда в сердце это самое слово – банкиры. Кто они такие, я, конечно, по юности своей, понимать не мог, а так мне разумелось, что через них папаня жизни решил и все наши бедствия пошли. А бедствовать пришлось. Вы, конечно, нашей казачьей жизни не знаете, а только скажу вам, что в станице женщине одной, особенно многодетной, прожить невозможно. Ну, и пошло всё прахом. Коня папаниного продали... потом волов обе пары... За конем очень я тогда тосковал. Вороной был, во лбу белая отметина. Вспомню его и сейчас про банкиров вспоминаю... Когда продавать нечего стало, мать сестренку постарше в город в услужение отдала, а меня писарь в Луганск отвез и на завод определил. “Учись, – говорит, – ремеслу. Слава наша казачья, а жизнь – собачья!”. Ну, на заводе, конечно, тоже салом не кормили. Однако, жил до самой революции вполне обыкновенно. С революцией

другая полоса пошла. Когда стали на собраниях программы там и партии объяснять, тут я и узнал, кто они есть – банкиры, ну и, конечно, практический вывод сделал: пошел в Красную армию. – Тут и в Первую Конную попали? – Угадали. Аккурат сам Ворошилов меня и записывал. В ней и душу свою отвел, зlobу свою на банкиров реализовал. – Ну, это дело обычное. Нового мне не расскажете. А на Соловки-то как же вас всё-таки загребли? – Случай такой вышел. Из-за инвалидов. Я, как демобилизовался, обратно на свой завод поступил. Однако, к станку не стал, а в фабзавком комитетчиком определился. Орденоносцев тогда мало было. Почет! Я, хотя и ранен два раза, но всё в целости, а по городу инвалиды ходят безрукие, два безногих, один припадочный, контуженный. Голодные, конечно. Пенсия им какой советская власть давала? Поменьше банковской десятки. Ну, и промышляла братва своими качествами: по учреждениям ходят, собирают... Надо правду сказать: безобразничали тоже много... Зайдут к директору какому, сейчас припадочный симулировать начинает, со стола у него всё сшибет, орет, по полу катается... бывало, что и безногий костылями кого по кумполу хватит... Это всё верно. Бывало. Жалобы на них пошли... Смотрим – не стало инвалидов. Определи их, что ли, куда? По городу, конечно, болтают. Забрали, говорят, в чеку и в расход вывели. У меня же чекист приятелем был. В одном взводе совместно и кадетскую и польскую ломали. Как-то мы с ним выпили, я и спрашиваю: – Куда инвалидов дели? Он смеется: – Не слышал, что ли? В расход главных бузотеров вывели, а прочих отвезли куда-то... в Сибирь, что ли, или в Караганду... – Как в расход, – говорю, – врешь ты, сукин сын, такого быть не может!.. – Дурак ты, – отвечает, – что с ними делать? Они люди всё равно никудашные, а безобразия от них много... – Так ведь вместе же мы с ними против банкиров и офицеров боролись! – Ну, что ж из того? Боролись. А теперь иная линия. Порядочных, и тех, когда надо, шлепаем, а с такими-то канителиться не будем! Я его в морду – раз! – Выходит, – кричу, – мы от банкиров хуже! Обманная она, советская власть! Конечно, выпимши я был, осмелел. Да еще его раза два хватил... Ну, ясно-понятно, хотя и с орденом и с Буденным лично ручкался, а на Соловки отправили. Там-то у меня и поворот мыслей произошел. – Вот это мне поинтересней будет, а инвалидов историй, вроде вашей, я и сам десятков знаю. Коли есть желание, про поворот ваш расскажите. – “Утешительного попа” знавали? – Как не знать, и сказки его слушал. – Так вот, от этих сказок и окончательный поворот произошел, а начало ему даже при вашем личном участии получилось. – При чем же я мог быть? Я и не знал вас тогда. – Мало ли что не знали. А помните, пьеса у вас в театре шла... Название ее позабыл. Дело там было на Кавказе, когда еще Шамиля замиряли, при дедах наших. Полковник один, боевой такой, заслуженный, в летах, конечно, на молоденькой барышне оженился. А барышня-то до того с князьком одним любовь крутила... – Ага! “Старый закал” пьеса называлась? – В точности! “Закал”. И как это я такое индустриальное слово забыл? Борин полковника играл, а вы – князька, полюбовника ейнова. Черкесочка у вас белая была и кубаночка белого же курпея... – Ишь, как вы всё помните! – засмеялся я. – Вот не думал, когда играл... – Оно так и бывает. Не думаешь, а выходит. Всё обдумаешь – ничего не получается. Так вот. Узнал этот полковник, что промеж них опять любовь зачинается, и не ее стал бить, как это полагалось бы по человечеству, а сам нарочно под чеченские пули пошел, чтобы ее, значит, ослобонить от греха и жизнь ей с любовником устроить... – Какое же это отношение к революции имеет? – Обождите. Придем и к революции. От того представления, от конца его, когда полковник этот, уже раненый, другу своему всё объяснял, думка у меня в голове началась про папаню моего и обратно же про банкиров. – Ну, это что-то мне непонятно... – Говорю, обождите. Всё ясно-понятно будет. Я себе так в голове планировал: хорошо, батька мой на посту жизни решился, сполняя свою казачью службу. Понятно. А к чему этот пост, служба эта? Стал бы он за эти десять рублей служить? Ни в жисть! Своего тогда нам вот как хватало. Чего душа хочет! Нет, он знамени своему, присяге, душе своей служил. Опять же инвалиды наши... они за что жизни решились? А сам я за что в Конную пошел? От одной лишь зlobы? Конечно, зlobы этой много во мне скипелось, за банкировы десять рублей, за маманины слезы. Это верно. Зlobу эту я в крови топил. Тоже верно. А только и я не одной зlobой в бой шел. Вот, как этот полковник... Он ведь на жену-то не озлобился, а ее счастья ради подвиг свой смертный совершил. Тут и есть центр удара... Мой собеседник помолчал, оглянулся на двери церкви, откуда еле струился свет немногих бедных лампад, и продолжал... – Есть еще время. Досказать вам успею. Так вот... засела во мне эта думка. Когда меня осудили, я так себе располагал: ладно, оно может и лишнего дали мне, а в корне правильно. Советскую власть я ругал? Ругал. Чекиста побил? Побил. Права советская власть. А вот когда я над полковником этим раздумался, всё по-другому стало. Выходит, я прав, что его по морде саданул. Не я – контра, а он – сволочь! По рассуждению одно, а по душе совсем наоборот. Так и ходил я промеж двух дорог, а по какой идти – не знаю! – Всё-таки я не понимаю вас, причем же тут этот полковник кавказский? – Как же вы понять этого не можете? Очень даже просто. Ведь по закону, что он должен был произвести? Ну, там, побить жену или в чулан ее запереть... не знаю, как у интеллигенции в таком случае полагается, а князька – откомандировать или, того вернее, его под верную пулю послать, да и дело с концом. Шито-крыто. А он сам на смерть пошел. Для спокойя души. А в революции иное: тебя пнули – ты руби, тебя рубанули – стреляй! Изничтожай до корня! За одного – десять к стенке! Так и я за папанину обиду, за эти самые десять рублей сколько порубал? А пришли тогда банкиры тысячу, может совсем мне другой маршрут вышел? Даже обязательно другой. Значит, вся-то революция за десять рублей произошла? За дерьмо это? Да знаете, сколько у меня их на фронте было? Полная кобура! Сам навроде банкира... Вот тут-то, в рассуждении этом, я и с отцом Никодимом познакомился. Дело это так было. Попал я на командировку, в самую что ни на есть дебря нас загнали: один барак, лесорубов человек двадцать, туда же и отца Никодима определили. Вот, запрут нас вечером, он и начнет свои сказки рассказывать, а я, надо вам сказать, от малых лет всякое чтение очень уважал; какая книжка в руки попадет, обязательно всю прочту. Очень нам было всем занимательно отца Никодима слушать. Раз начал он нам про Веру, Надежду, Любовь и Софию, мать их, рассказывать, как они, царя не побоявшись, на своей правде стояли и лютую казнь за нее приняли; вот тут-то и вышел главный поворот. Стой,

думаю, да ведь это же опять полковник тот и батька мой на посту, да и я сам, когда от сердца чекиста по роже хватил... Вот ведь оно самое, только в другом обличье! А отец Никодим дальше рассказывает, как они, значит, в муках на небо смотрели и ангелов там видели. – Извиняюсь, – говорю, – батюшка, ведь это им всё представлялось так, конечно, как бы от мечтания... – Почему же ты так рассуждаешь? – отвечает он мне, – что от мечтания? Видели, значит было!.. – Да откуда же эти ангелы возьмутся? Почему же мы их не видим? – А очень даже просто это, – отвечает мне батюшка, – ты в яме сидишь, что видишь? Одним счетом – ничего! А поднялся из ямки – видней тебе стало! А на гору взшел – еще дальше видишь! На вершину стал – и все пути тебе оттуда открываются. И всех человеков, скотов и прочих творений Божьих в полном виде там себе представляешь... Сверху-то, значит. Вот она, гора-то эта, и есть жизнь человеческая. Трудна она, это, конечно, верно, а на то и дан нам подвиг. У каждого же человека своя гора. Одна – повыше, другая – пониже, а превыше всех – гора Голгофа. И зачал он нам тут опять про разбойника рассказывать, который со Христом на Голгофу взшел и там, через смертную муку, спасение принял. Вот на этом самом месте окончательный поворот и получился. Вижу: разбойник тот самый я есть. Должен я на ту гору взойти. Так мне от рождения назначено. Поняли теперь, как поворот произошел? Однако, будто и к заутрене близко. Надо еще в барак сбегать, разговенье свое принести. А нашу-то заутреню соловецкую помните? Еще бы я не вспомнил ее, эту единственную разрешенную на Соловках заутреню в ветхой кладбищенской церкви. Помню и то, чего не знает мой случайный собеседник. Я работал тогда уже не на плотях, а в театре, издательстве и музее. По этой последней работе и попал в самый клубок подготовки. Владыка Илларион добился от Эйхманса разрешения на службу для всех заключенных, а не только для церковников. Уговорил начальника лагеря дать на эту ночь древние хоругви; кресты и чаши из музея, но об облачениях забыл. Идти и просить второй раз было уже невозможно. Но мы не пали духом. В музей был срочно вызван знаменитый взломщик, наш друг Володя Бедрут. Неистощимый в своих словесных фельетонах Глубоковский отвлекал ими директора музея Васюку Иванова в дальней комнате, а в это время Бедрут оперировал с отмычками, добывая из сундуков и витрин древние драгоценные облачения, среди них – епитрахиль митрополита Филарета Колычева. Утром всё было тем же порядком возвращено на место. Эта заутреня неповторима. Десятки епископов возглавляли крестный ход. Невиданными цветами Святой ночи горели древние светильники, и в их сиянии блистали стяги с Ликом Спасителя и Пречистой Его Матери. Благовеста не было: последний – колокол, уцелевший от разорения монастыря в 1921 г., был снят в 1923 г. Но задолго до полуночи, вдоль сложенной из непомерных валунов кремлевской стены, мимо суровых заснеженных башен, потянулись к ветхой кладбищенской церкви нескончаемые вереницы серых теней. Попасть в самую церковь удалось немногим. Она не смогла вместить даже духовенство. Ведь его томилось тогда в заключении свыше 500 человек. Всё кладбище было покрыто людьми, и часть молящихся стояла уже в соснах, почти вплотную к подступившему бору. Тишина. Истомленные души жаждут блаженного покоя молитвы. Уши напряженно ловят доносящиеся из открытых врат церкви звуки священных песнопений, а по темному небу, радужно переливаясь всеми цветами, бродят столбы сполохов – северного сияния. Вот сомкнулись они в сплошную завесу, засветились огнистой лазурью и всплыли к зениту, ниспадая оттуда, как дивные ризы. Грозным велением облеченного неземной силой Иерарха, могучего, повелевающего стихиями теурга-иерофанта прогремело зачатие-возглас владыки Иллариона: – Да воскреснет Бог и да расточатся врази Его! С ветвей ближних сосен упали хлопья снега, а на вершине звонницы вспыхнул ярким сиянием водруженный там нами в этот день символ Страдания и Воскресения – Святой Животворящий Крест. Из широко распахнутых врат ветхой церкви, сверкая многоцветными огнями, выступил небывалый крестный ход. Семнадцать епископов в облачениях, окруженных светильниками и факелами, более двухсот иереев и столько же монахов, а далее нескончаемые волны тех, чьи сердца и помыслы неслись к Христу Спасителю в эту дивную, незабываемую ночь. Торжественно выплыли из дверей храма блистающие хоругви, сотворенные еще мастерами Великого Новгорода, загорелись пышным многоцветием факелы-светильники – подарок Венецианского Дожа далекому монастырю – хозяину Гиперборейских морей, зацвели освобожденные из плена священные ризы и пелены, вышитые тонкими пальцами Московских великих княжен. – Христос Воскресе! Немногие услышали прозвучавшие в церкви слова Благой Вести, но все почувствовали их сердцами, и гулкой волной пронеслось по снежному безмолвию: – Воистину Воскресе! – Воистину Воскресе! – прозвучало под торжественным огнистым куполом увенчанного сполохом неба. – Воистину Воскресе! – отдалось в снежной тиши векового бора, перенеслось за нерушимые кремлевские стены, к тем, кто не смог выйти из них в эту Святую ночь, к тем, кто обессиленный страданием и болезнью простерт на больничной койке, кто томится в смрадном подземелье “Аввакумовой щели” – историческом соловецком карцере. Крестным знаменем осенили себя обреченные смерти в глухой тьме изолятора. Распухшие, побелевшие губы цинготных, кровоточа, прошептали слова обетованной Вечной Жизни... С победным ликующим пением о поправленной, побежденной смерти шли те, кому она грозила ежечасно, ежеминутно... Пели все... Ликующий хор “сущих во гробех” славил и утверждал свое грядущее неизбежное, непреодолимое силами Зла Воскресение... И рушились стены тюрьмы, воздвигнутой обагренными кровью руками. Кровь, пролитая во имя Любви, дарует жизнь вечную и радостную. Пусть тело томится в плену – Дух свободен и вечен. Нет в мире силы, властной к угашению Его! Ничтожны и бессильны вы, держащие нас в оковах! Духа не закуете, и воскреснет он в вечной жизни Добра и Света! – Христос Воскресе из мертвых, смертью смерть поправ... – пели все, и старый еле передвигающий ноги генерал, и гигант-белорус, и те, кто забыл слова молитвы, и те, кто, быть может, поносил их... Великой силой вечной, неугасимой Истины звучали они в эту ночь... ..И сущим во гробех живот даровав! Радость надежды вливалась в их истомленные сердца. Не вечны, а временны страдания и плен. Бесконечна жизнь Светлого Духа Христова. Умрем мы, но возродимся! Восстанет из пепла и великий монастырь – оплот Земли Русской. Воскреснет Русь, распятая за грехи мира, униженная и поруганная. Страданием очистится она, безмерная и в своем

падении, очистится и воссияет светом Божьей правды. И недаром, не по воле случая, стеклись сюда гонимые, обездоленные, вычеркнутые из жизни со всех концов великой страны. Не сюда ли, в Святой Ковчег русской души, веками нес русский народ свою скорбь и надежду? Не руками ли приходивших по обету в далекий северный монастырь “отработать свой грех”, в прославление святых Зосимы и Савватия, воздвигнуты эти вековечные стены, не сюда ли, в поисках мира и покоя, устремлялись, познав тщету мира, мятежные новгородские ушкуйники... – Приидите ко мне все труждающиеся и обремененные, и Аз упокою вы... Они пришли и слились в едином устремлении в эту Святую ночь, слились в братском поцелуе. Рухнули стены, разделявшие в прошлом петербургского сановника и калужского мужика, князя-рюриковича и Ивана Безродного: в перетлевшем пепле человеческой суетности, лжи и слепоты вспыхнули искры Вечного и Пресветлого. – Христос Воскресе! Эта заутреня была единственной [17], отслуженной на Соловецкой каторге. Позже говорили, что ее разрешение было вызвано желанием ОГПУ блеснуть перед Западом “гуманностью и веротерпимостью”. Ее я не забуду никогда. * * * – Шел я тогда в крестном ходу этом, – шепотом, как великую тайну, рассказывает мне собеседник, – и чувю, что вот на гору свою я взбираюсь, будто сила какая меня несет. А рядом со мною Тельнов. Помните его? В одной роте мы с ним на Соловках были. Часто мы с ним балакали о прежних наших жизнях; он у кадетов в Корниловском полку служил, а я, как вам известно, буденовец. Частенько наши части тогда в бою сталкивались... Может и он по мне бил, может и я по нем... Возможно, и я зубы ему прикладом вышиб... Разве упомнишь? Кровищи на нем не менее, как на мне, было. Сам рассказывал, как наших армейцев в нужнике стрелял... Спорились мы с ним раз, даже до злобы доходило: зачнет он про победы свои рассказывать, обзывает нас краснопузыми, а то и того хуже; мне, конечно, обидно станет. Лаялись, а тут идем рядом. Он оборотился ко мне и говорит: – Христос Воскресе! – Воистину, – отвечаю. Радостно мне стало. Смотрю на него и вижу: он тоже на свою горку лезет. – Шлепнули его, Тельнова, при вас еще? Помните? – Я аккурат в тот год на волю вышел, но это дело знаю. Выходит, он там еще до своей вершинки дошел, а мне далее идти приходится. – И идете? – Сказать точно не могу. Иной раз думаю – иду, а другой раз под низ качусь, по-разному выходит. – И сюда из России на горку шли? – Опять же вам на то не отвечу. Так это получилось. Генерал Книга, наш же действительный буденовец, зачал при открытии войны старых конников собирать в свою особую дивизию. Конечно, и меня к нему направили. Служу. За Донцом стоим. В это самое время наши Киев сдали. Бегут оттелева наши вояки и в одиночку, и бандочками собираются. Нам перенимать их приказано. Хорошо. Приказано – берем. Однако, не злобствуем, как особисты, а по-хорошему, балакаем с ими. Все в один голос твердят: неправильная эта война есть. Супротив самих себя, своего народа нас гонят, и зря мы кровушку свою проливаем. Конечно, и промеж нас разговор пошел. У каждого своя думка. Каждое свое повидал, кто в концлагере сам побывал или родичей имеет, кто в тридцать третьем году голоду хватил... Вот и сговорились мы пятеро подбиться так, чтобы всем разом в разведку идти, начальство, какое будет, ликвидировать и... айда! Взводным у нас тоже старый буденовец был, только не нашего полка. Его очень опасались, по прежнему времени таких шукурами звали. Спуску ни в чем не давал и с политруком дружбу вел. Партиец. Ну, пришлось, как мечтали. Вызвал он раз охотников в ночную облаву. Мы вызвались. Поседали на коней. Годок мой, еще по кадетской войне, веревку себе за пазуху сует: – Я, – говорит мне, – втихую его арканом по калмыцкому способу спешу, а вы тогда помогите... чтобы без шума... Заехали в лес. В балочку небольшую спустились. Тут он взводного и заарканил. Очень ловко вышло, прямо наземь с седла, и сам навалился. Мы с коней и к нему... перекинули аркан на шею, затягивать стали, только тянем недружно... боязно всё же... свой. А он хрипит через силу: – Дайте слово сказать... Приспустили концы. Пусть скажет. Сел взводный на землю и нас матом: – Малахольные вы, растак вашу мать, я же все думки ваши знал, потому и вызывать стал... Тут не более чем за километр речка, туда я вас и вел. Думаю, перейдем вброд, там и разъясню, и через фронт вас поведу, куда и сам направление имею... А вы вот что надумали, мать вашу... Посумневались мы, но всё же порешили меж собой его не кончать, а, связавши, с собою везти. Далее видно будет... Перешли речку. Он нам указывает левой рукой: направо застава особистская, с пулеметом. Выслали дозор – вышло правильно. Тогда мы смелее с ним пошли. Так и оказалось, что правильное его слово: провел нас, как по своему огороду. Вот они, дела-то какие бывают: решаешь человека жизни, а он выходит твой родной есть брат... – У немцев к фон-Панневицу в корпус попали? – Нет, извиняюсь, я за Россию шел... Тоже горка она, Россия. Это понимать надо. Под немецкую команду я не становился. Да и они к тому казаков не неволили. Спервоначала я в полевой охранной отряд вступил. Под начал есаула Сотникова. Знали может или слыхали? – Нет, не приходилось. – Партизан мы ликвидировали. Правильное дело, потому в эту войну партизаны фальшивые были. Крестьянству и прочим жителям от них, кроме вреда и гибели, ничего не получалось. Тут и взводного нашего убили... А когда немцы с Днепра отходили, влились мы в третий полк казачьих формирований полковника Доманова и с ним в Италию пришли. Краснов генерал очень известный был, от него никакая измена быть не могла, нас под свою команду принял. Так оно и вышло... – Дальше всё знаю. Из Лиенца как выскочили? – Не был там. 23-го апреля меня с подводой в Венецию из Толмеццо командировали, покупали там что-то. Там и остались мы с сотником Хмызом при капитуляции. Видно другая Голгофа-горка мне назначена... А Краснов генерал и прочие в Лиенце на ихнюю горку вступили. Каждому – свой путь... И вам – тоже. Вот и батюшка идет. Значит – пока! Побегу, принесу свою паску... Я тоже пошел за своим куличом. Мы возвратились в церковь снова вместе. Он положил на лавку рядом с выпеченным моей женой настоящим российским, даже с барашком наверху, куличом завернутый в бумажку кусок пайкового хлеба и выданное нам ИРО некрашеное яйцо. – Паска у меня слабоватая, по моему холостому положению. Семья ведь там осталась... Ну, да простит Господь, я так полагаю... Прозвучал первый удар нашего маленького железного, неизвестно откуда и кем добытого, нерусского колокола. Ответили ли ему била земляной церкви Преображения, воздвигнутой Святителями Соловецкими? Отозвались ли дивным звоном своим Китежские колокола сокровенных озерных глубин? Ответили. Мой случайный

собеседник в ту ночь, простой, совсем обыкновенный человек, шаг за шагом взбиравшийся на свою горку Голгофу, их слышал...

Глава 33.

СЕДЬМОЙ АНГЕЛ

Прошло двадцать три года, как колючая проволока Кемского пересыльного пункта осталась позади меня. Проверивший мои документы чекист пожал мне руку. Ему оставалось еще два года до срока. – Прощай, не поминай лихом! Не поминай лихом Соловецкую каторгу тогда я не мог. Она была для меня только страшной, зияющей ямой, полной крови, растерзанных тел, раздавленных сердец, разбрызганных мозгов... Стоны, вопли, бред, рыдания еще звучали в моих ушах. Над навсегда покинутым Святым островом смерть, только смерть простирала свои черные крылья... Написать эту повесть я задумал еще на Соловках, на могилах безвестных страдальцев за древнее русское благочестие, на могиле новых мучеников, положивших жизнь свою за Русь... Какую? Ушедшую или грядущую? Ушедшую, величавую, безмерную, дивную в несказанной красоте своей... Так думалось мне тогда, в проникновенной тишине Соловецкой дебри. Так думалось мне и после в раскаленных азиатских песках, в грохоте и сутолоке новостроек, в смраде пота, гниющей человечины и снова крови... Я знал, что, может быть, есть один лишь жребий из тысячи, миллиона, дающий возможность рассказать эту повесть, писал ночами, наглухо заперев двери, а под утро рвал написанное или зарывал в сырую русскую землю, в сухой азиатский песок. Я писал о слезах и крови, страданиях и смерти. Только о них. Образы моих братьев, падающих под пулей угасившего Дух свой безумца или – еще страшнее – другие безумцы, рвущие плотничими клещами золотые зубы изо рта неостывшего еще трупа своей жертвы, и, наконец, самое страшное – плотник, спокойно принимающий возвращенные ему клещи и без страха и содрогания вытирающий с них кровь своим фартуком... Эти бесконечно мучительные отблески пережитого теснили, давили, душили меня, заслоняя всё остальное. Годы шли. В грохоте войны, вихре смерти, новых потоках крови и слез мне выпал единственный из миллиона жребий: я смог рассказать о пережитом. Я снова всмотрелся в ушедшее и теми же глазами увидел иное. Дивная, несказанная прелесть Преображенного Китежа засияла из-за рассеянной пелены кровавого, смрадного тумана. Обновленными золотыми ризами оделись обгорелые купола Соловецкого Преображенского собора, вознеслись в безмерную высь и запели повергнутые на землю колокола. Неземным светом Вечного Духа засияла поруганная, испепеленная, кровью и слезами омытая пустынь Русских Святителей, обитель Веры и Любви. Стоны родили звоны. Страдание – подвиг. Временное сменилось Вечным. * * * Я не художник и не писатель. Мне не дано рождать образов в тайниках своего духа, сплести слова в душистые цветистые венки. Я умею только видеть, слышать и копить в памяти слышанное и виденное. Претворят это скопленное те, кто вступит в жизнь позже. Люди, о которых я рассказал, прошли перед моими глазами, их слова запали мне в сознание. Большая часть этих людей уже ушла из жизни, иные еще в ней. Ушедшие оставили след; одни – темный, смрадный и кровавый; другие – ясный, светлый, радужный, как крылья серафима. По следу устремлялись другие и пробивали тропы. По тропам шли многие. Я видел и слышал. Ломался след – тропа терялась и снова возникала. Тропы свивались, сплетались и вновь расходились. Извечная, неугасимая жизнь ткала свое нескончаемое полотно. * * * Давно-давно над головами двенадцати галилейских рыбаков вспыхнули огоньки Духа. Они расторгли, преодолели тьму. Я не видел их. Огонек лампы последнего на Руси схимника я видел. Он светился пламенем того же Духа. Вокруг тяготела тьма. Пламя возгорается от пламени. Свет идет от света. Пламя и свет неразделимы, извечны, неугасимы. Последний на Руси схимник умер, склоненный в земном поклоне перед своей лампадой на освященном страданием, подвигом и молитвой острове. Его лампада не угасла. Пламя от пламени, свет от света. Тихими тайными светильниками возгорелись иные лампы. Я их видел и сохранил в своей памяти. Духа не угасить. * * * Мне не дано рождать образов, но только видеть рожденное помимо меня. ...Во тьме жил человек и ей служил. Тьма ничем не грозила его телу, но он рассек тьму страданием и подвигом. Свет ничего не сулил его телу, но он пошел к свету. Выход из тьмы грозил ему смертью. Человек преодолел страх тела подвигом Духа... Путь подвига – путь страдания. Человек избрал этот путь. Почему? Кто толкнул и повлек его на преодоление плоти, ее власти и ее страха? Я не создаю образов, но лишь храню в памяти виденное... Имя этого человека – легион. Сквозь тьму – к свету. Через смерть – к жизни. Таков его путь. Почему он пошел по нему? Когда в елей Неугасимой Лампады каплет кровь, ее пламя вздымается ввысь, блистая и сияя всеми переливами небесной радуги – знака обета Вечной Жизни. Оно, как крыло серафима. Терновый венец сплетается с ветвями Неопалимой Купины и ее свет с пламенем горячей в лампаде крови. Подвиг торжествует над страхом. Вечная жизнь Духа побеждает временную плоть. Безмерное высится над мерным, смертию смерть поправ. Так было на Голгофе Иерусалимской. Так было на Голгофе Соловецкой, на острове – храме Преображения, вместившем Голгофу и Фавор, слившем их воедино. Так было на многих иных Голгофах иных стран и земель, по которым легли Китежские тропы, страдные крестные пути к благостной святыне Преображенного града. Путь к Голгофе и Фавору един. Жертва кладет предел страху плоти. Страх умирает на жертвеннике, ибо он – плоть. Дух не ведает страха. Платтен, Дахау, Римини, Лиенц... еще и еще сотни, тысячи, десятки тысяч безымянных Голгоф... От Камчатки до Пиренеев, от Колымы до Ла Рошели... На эти Голгофы всходили те, кто нес в себе искру пламени Духа, всходили отвергшие Тьму, победившие ее в своем сердце. Меня эта чаша миновала. Два раза неведомая мне сила, помимо моей воли, моего разума, сломала и повернула мой путь по земле. Первый раз он лежал в Лиенце, второй – в Римини. Теперь это называют случаем. Прежде называли чудом. Я умею рассказывать только то, что видел сам. В Лиенце я не был. Я не прошел крестного пути к нему. Я не стоял на его Голгофе. Пусть расскажет о ней видевший. * * * Страшная “Тирольская обедня” была совершена 1-го

июня 1945 года. Только две таких литургии знает христианский мир: первую совершали двадцать тысяч мучеников, в Никодимии сожженных; память их св. Церковь установила 28 декабря старого стиля. Вторая литургия совершена тоже двадцатью тысячами мучеников Казачьего Христолюбивого Воинства... Память их будет установлена впоследствии первого июня нового стиля. Служили эту литургию восемнадцать священников; из восемнадцати Чаш причащались на смерть казаки... Танки репатриационных отрядов раздавили церковный помост и разрезали войско на отдельные островки, в которых закипела насильственная посадка на автомашины: Люди бросались под колеса машин, под гусеницы танков, стреляли в своих жен, детей и в себя. Над войском стоял сплошной стон, вслушиваясь в который можно было различить слова: "Христос! Христос!". Отец Николай в ризах, с Чашей, стоял среди волнующегося моря на каком-то высоком столбе – остатке церковного помоста – и был виден всем. Высоким, звенящим тенором, охваченный экстазом мученичества, запел он гибнущему войску песнь брачного веселия: "Святии мученици, добре страдальчествовавши и венчавшиися, молитесь ко Господу"... Голоса сотен казаков и казачек-певчих подхватили брачный гимн... Войско обручалось со своим Небесным Женихом. Цокали машины, работали приклады, лилась кровь... А над всем этим плыл торжественный напев верной до гроба невесты-Церкви, оплакивавшей чад своих... "Доколе, Господи, не мстишь за кровь и слезы?" – спрашивали омывшиеся кровью пролитой за Господа [18]. Эта повесть о людях живших записана среди людей живущих, в лагерях, в скоплениях вырвавшихся из тьмы. Кто они? Мы не в состоянии определить, взвесить их ни по одному из общепринятых измерений. Мы не можем установить ни удельного веса различных социальных групп, ни ступеней культуры, ни религиозных верований, ни даже национальностей российских людей, ушедших от потерявшей свое имя России. Мы вправе утверждать лишь одно: подавляющее большинство этих разноликих, разнородных, разноязычных, разномыслящих, разноречующих людей прошли сквозь колючую проволоку социалистического концлагеря или близко соприкоснулись с нею через своих родственников, друзей, единомышленников. За колючей проволокой, в разросшихся вглубь и ширирь Соловках – страдание, кровь, смерть. Муки тела и томление духа. В этой муке и в этом томлении – пламя лампы последнего схимника. Свет во тьме. Если нужны имена людей из костей и мяса, людей, живущих среди нас, с нами в одной жизни, – их легко услышать, прочесть, найти... Имя им – легион, и число их множится с каждым днем, с каждым часом. Они идут разными тропами, они говорят различными словами, они по-разному видят, слышат, претворяют виденное, мыслят, веруют... Но в каждом из них теплится, то ярко вспыхивая, то почти угасая, частица пламени Неугасимой Лампады Духа. Не будь этого света, они не шли бы и мы не знали бы их. Мы их не видели бы. Множатся светильники, рассекая тьму. Их видят уже многие. Множится и число видящих. Теперь... ..тогда была тьма. Немногие видели в этой тьме догоравшее, как казалось, бледное, задушенное тьмою пламя, пламя лампы последнего русского схимника. Я видел его. Поэтому пронес в своем сердце эту повесть о живших людях, пронес через кровь и огонь, через тьму, через жизнь и смерть. * * * Преображение требует искупления. Искупление – жертвы. Соловки и все рожденные ими, покрывшие Русь Голгофы были жертвенниками искупления, на которые лилась и льется кровь, на которых сияли и сияют многие лампы. Тогда, в непроглядной тьме, была лишь одна. Чтобы воскреснуть духом, надо умереть плотью, надо лечь в гроб. Этим гробом были Соловки. И тогда, в ту жуткую ночь на каторжном кладбище, у развернутой свалки-могилы, мы, Глубоковский и я, видели только гроб, ощущали только смрад, тление тела. Не мы одни. Многие, многие видели только то же и видят и теперь, не услышав Керженских звонов из тайных глубин Святого озера Сущей Святой Руси. * * * "Проказа сошла на него, и стал он чист", – писал евангелист, видевший первый крест на первой Голгофе. "Страданием очистишься", – повторил другой евангелист, позже пришедший в мир, чтобы узреть очами своего духа грядущие Голгофы, грядущие жертвы, грядущее искупление, грядущее преобразование. Безмерно пленительны и безмерно страшны слова пророков. Они просекают тьму грозным огненным мечом Архистратига-Провозвестника и сияют в ней радужной обетования... Они рождаются в пепле сгоревших сердец, в каплях-морях пролитой крови. Из смрадных греховных болот, из темных, зияющих провалищ они вливаются в ясную глубину непорочных святых озер. От тьмы и страха Керженской сечи – к благостному свету Преображенного Китежа. Так указал пророк, не означивший своего имени, ибо имя ему – легион. Сотни лет по глухим лесным тропам шли многие к водам Святого озера, приходили к нему и слушали звоны из его глубин. В тех звонах было обетование. Но когда меч рассек тьму, обуглились души и полилась кровь, – пришел страх и многие пали пред ним, "уверовали в злодейство и поклонились ему". Но звонили в глубинах колокола Обетованного Града и вставали павшие, каялись поклонившиеся. "И приходили к Нему отовсюду"... * * * Поэт, пророк и евангелист, живший в глубине веков на подобном Соловецкому пустынном острове, видел там Ангела. Лицо Ангела было, как солнце, и над головой сияла Радуга. Он сходил с небес, облеченный в облачные ризы. Став ногами на землю и море, Ангел воскликнул голосом, подобным рыканию льва. И семь пророков вторили ему своими голосами. Речь их была тайной. Ангел поднял руку к небу и клялся Живущим во веки веков, Сотворившим небо и всё, что на нем, землю и всё, что на ней, море и всё, что в нем... Он клялся, что придет день, когда возгласит, вострубит Седьмой Ангел, и тогда свершится тайна Божия, о которой Он благовествовал устами рабов Его – пророков. Тайна Преображения... * * * Но перед приходом Седьмого Ангела над миром пронесутся шесть иных. На их крыльях будет страдание и смерть. Через Смерть к Жизни – тайна Преображения. Крылья какого из ангелов раскинуты днесь над нами?

Соловки 1925 – Капри 1950.

Примечания

[1] До революции заключенные в Бутырской тюрьме твердо держались традиции оставлять в ней при выходе или переводе присланные им в тюрьму книги. Это вместе с большими покупками за счет казны создало в Бутырках крупный книжный фонд. ГПУ многое изъяло, но Бутырская библиотека и теперь насчитывает несколько десятков тысяч томов. [2] Все имена и фамилии, приведенные в этой главе, точны. Я не боюсь этого делать, т. к. подавляющее большинство этих лиц уже мертвы. Повредить им я не могу. – Б. Ш. [3] Подробнее о колоритной для того времени фигуре Бориса Пронина, оказавшегося агентом ЧК, читатель может узнать из очерка о нем, данного Г. Ивановым в его интересной книге “Петербургские зимы”, изд. им. Чехова. – Б. Ш. [4] Два московских “кафе поэтов” того времени, в которых собирались и читали свои произведения представители многочисленных тогда поэтических течений: имажинистов, акмеистов, этернистов, ничевоков и пр. Тоже характерное для тех лет явление. – Б. Ш. [5] Слово ссученный, на жаргоне каторги – подхалим, продажная душа – происходит от слова сука. Ссучиться – стать сукой. – Б. Ш. [6] Театр и коллективы ХЛАМ и “Своих” были атомами внутренней свободы в душах людей, уже взятых в железные тиски порабощения и размельчения личности системой социалистических концлагерей. Именно поэтому театр и запал так глубоко в память побывавших на Соловках в те и ближайшие к ним годы, о чем свидетельствует искренняя и яркая повесть Г. Андреева “Соловецкие острова” (“Грани” № 8), в которой он отзывается о соловецком театре 1927 г. с особенной теплотой. – Б. Ш. [7] Даю перевод “блатных” слов: “уркаган” – вор, «кичман» – тюрьма, “малина” – притон, “ширмач” – карманник, “сыграть в ящик” – умереть, “фарт” – удача, а также жребий, судьба, “бан” – вокзал, “малахольные” – одуревшие, “легавый” – полицейский или милиционер. [8] “Колеса” – на жаргоне обувь. [9] «Рыжий» – золотой. [10] “Затырить” – спрятать. [11] К концу отбывания срока В. Шкловский крестился и не скрывал этого. С Соловков он был отправлен в Восточную Сибирь на “вольную” высылку. [12] Давал отпечатки пальцев в сыском отделении или уголовном розыске. – Б. Ш. [13] Сколько именно верст – я помнить, конечно, не могу. – Б. Ш. [14] Эту книгу Глубоковскому написать не пришлось: в половине тридцатых годов он умер, отравившись, в психиатрической больнице. Случайно он отравился или убил себя, не знаю. – Б. Ш. [15] Г. Климов – офицер РККА, перебежчик 1949 года, автор очерка “В Берлинском Кремле” (“Посев”, 1950 г.) и др. Яркий антимарксист. – Б. Ш. [16] Зыков – фамилия, принятая им самим, чему немцы не препятствовали. Настоящая его фамилия до сих пор не установлена. – Б. Ш. [17] По свидетельству Г. Андреева (“Грани”, № 8), прибывшего на Соловки в год моего отъезда оттуда, в дальнейшем заутрени и вообще службы для заключенных не разрешались. – Б. Ш. [18] Б. Захаров, «Отец Сейминут», газета «Русская мысль» № 262, 28/VII-1950 г. – Б. Ш.